

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ВРЕМЯ

3 (19) 2021

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 3 (19) 2021

Бостон
2021

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

Published by **M•GRAPHICS | Boston, MA**

ISSN 2575-9558

Copyright © 2021 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission
to reproduce selections from the journal, email or call to
the publisher (mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778)
or editor-in-chief (guydavid094@gmail.com / 646-270-9615).

Printed in the U.S.A.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(ФРАНЦИЯ)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(ГЕРМАНИЯ)
МАРК ВЕЙЦМАН	(ИЗРАИЛЬ)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(АНГЛИЯ)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(ДАНИЯ)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)



Редакционный совет международного литературного журнала «ВРЕМЕНА» и издательство «M•GRAPHICS» сердечно поздравляют главного редактора, известного журналиста и писателя

ДАВИДА ГАЯ с 80-ЛЕТИЕМ!

Желаем тебе, дорогой друг и коллега, крепкого здоровья, благополучия, новых книг. Надеемся, к нашим поздравлениям присоединятся многие читатели журнала и поклонники творчества юбиляра.

КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ

Дорогой читатель!

Продолжается подписка на журнал на 2021 год (4 номера).
Для получения всех номеров выпишите чек / money-order на сумму **60 долларов**
(почтовые расходы включены) на имя компании-издателя: **M•Graphics**
Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt.11H, Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646-270-9615**. Спасибо!

Вы также можете оформить подписку на нашем вебсайте:
vremena.mgraphics-books.com/subscription

ДАВИД ГАЙ — ЗОЛОТОЕ ПЕРО

О том, что у Давида Гая золотое перо, хорошо знают многочисленные читатели и почитатели его литературного таланта. Но мало кто знает, что он и есть **Золотое Перо**. Такова его «девичья» фамилия: **ГОЛЬДФЕДЕР**. На заре своей журналистской карьеры Давид посчитал нескромным подписывать свои публикации столь обязывающим именем, потому и стал Гаем. Своими романами, повестями, памфлетами, охватывающими такие разные темы, как мучительная любовь Фёдора Достоевского и гибель Минского гетто, жуть бесчеловечной войны в Афганистане, и очень человечный роман о нескольких поколениях одной разветвлённой еврейской семьи «Средь круговращения земного...», полуфантастические романы-памфлеты о нынешних правителях хорошо узнаваемой Советляндии... Давид блестяще оправдал свою фамилию.

Давид Гай — не только один из ведущих современных прозаиков, он неутомимый издатель, редактор, собиратель лучших литературных сил России и русского зарубежья. Тридцать лет он был колумнистом «Вечерней Москвы», а затем, в Америке, редактировал ряд ведущих изданий русского зарубежья. Литературный журнал «Времена» — последнее из многих детищ Давида Гая. Мы, члены редсовета журнала, поздравляем Давида с замечательным юбилеем, желаем крепкого здоровья и творческих сил на многие годы, дабы «Времена» никогда не кончались.

Эллайда Трубецкая

День рождения твой. Здесь цветы, где-то стон.
 Человечество вновь перешло Рубикон!
 В масках прячутся страхи, писать не могу.
 Застревают слова как машины в снегу.
 Поднесла жизнь «подарок», сводящий с ума...
 Обойдут тебя всё же печаль и сума.
 Пожалее судьба и отринет беду.
 Не раздавит, не даст поскользнуться на льду.
 Я пыталась писать к юбилею сонет.
 Не ждала ни похвал, ни звенящих монет.
 Лишь молила я Музу: «Приди хоть на миг.
 Дай свободу словам от оков и вериг».

Вдруг склонились опять предо мной падежи.
 Не обижен и ты — слов кладёшь витражи.
 Метроном тебе дан, чтобы ритм отбивал.
 Не шутил Бог, когда на Парнас приглашал.
 Лишь Кассандре ведомо, что будет потом.
 То ль Всевышний спасёт, то ль огреет кнутом.
 Пожелаю тебе жить, храня божий дар.
 Чтоб улавливал темы священный радар.
 Пусть пребудут с тобою и мудрость и пыл.
 Чтоб душевный огонь никогда не остыл.

Марина Тюрина-Оберландер:

Я жизни без Давида Гая
 теперь себе не полагаю.
 Уже как десять лет мы вместе,
 сперва во «Времени и месте»,
 куда свои стихотворенья
 я посылала без стеснения.
 Снискав *Пера Златого* милость,
 потом за это поплатилась
 и с новым запуском «Времён»
 пашу как бобик.
 Правда, Он
 со мною очень благороден,
 даёт мне текст, который годен
 по смыслу,
 далее — тире,
 дефисы, точки, интервалы
 и опечатки — *s'il vous plait* —
 всё это под моё начало...

Давид, я так тебя люблю,
 что в Новый год пахать готова
 на благо праведного слова,
 а кто не верит — вразумлю!

Юрий Солодкин:

Не будь у нас Давида Гая,
 Была бы жизнь совсем другая.
 С ним много лет мы были вместе.
 Сошлись во «Времени и Месте».
 А следом наши имена
 Соединили «Времена».
 Писатель, журналист, редактор,
 Он энергичен, как реактор.
 Ему не занимать отваги,
 Он рыцарь, преданный бумаге.
 А то, что восемьдесят лет,
 Так у «Времён» волнения нет.
 Ведь годы прожитые эти
 К ста двадцати всего две трети.
 Лишь треть осталась. Пустяки!
 В сто двадцать будут вновь стихи,
 И он услышит от меня:
 Хорошего желаю дня!

29 июля 2021 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Игорь ЯРКЕВИЧ <i>БЕЗНАДЁЖНАЯ ПРАВДА</i>	8
Давид ГАЙ <i>ДЖЕКПОТ (главы из романа)</i>	44
Михаил ГОНЧАРОВ <i>ДВА РАССКАЗА</i>	96
Джейкоб ЛЕВИН <i>УСПЕХ</i>	109
Юрий ОКУНЕВ <i>КЕНОТАФ (главы из романа)</i>	118
Галина МАМЫКО <i>СТРАШНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ</i>	138
Семён РЕЗНИК <i>СТАРЫЙ ЕВРЕЙ ИЗ ТАБАЧНОГО КИОСКА</i>	153

ПОЭЗИЯ

Виталий МАМАЙ	36
Геннадий КАЦОВ	84
Леопольд ЭПШТЕЙН	193
Сергей ХАЗАНОВ	212

СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ

Алексей ОРЛОВ <i>МОЗЕС ЭЗЕКИЛЬ И ДРУГИЕ (главы из новой книги)</i>	168
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ФРУМКИН

ПЕСНИ ВЕРНУЛИСЬ, ЗАПАХИ ИСЧЕЗЛИ. КРОМЕ ОДНОГО... 182

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Максим Д. Шраер

КОЗЬЕ МОЛОКО И МРАМОРНЫЕ ЛЬВЫ 203

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Зоя ПОЛЕВАЯ

ГРИГОРИЙ ФАЛЬКОВИЧ: «В МОЙ КОСМОС ДОРОГА ОТКРЫТА». . 220

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Илья ГАБАЙ

ЧУЖАЯ БОЛЬ КАК СВОЯ 244

ДЕНЬГИ

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

ТАЙНА БИТКОИНА (ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ) 263

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ВЫСОКАЯ НОТА 289

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

ЧУЖОЙ В КРЕМЛЕ 292

Борис САНДЛЕР

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ—ПАМЯТЬ. 294

НОВИНКИ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 301

Игорь ЯРКЕВИЧ

БЕЗНАДЁЖНАЯ ПРАВДА

ОТ РЕДАКЦИИ:

Игорь Яркевич (1962–2020) — русский писатель, сценарист. Печатался с 1991 года. Вначале сотрудничал с прессой российского андеграунда. В 1994 году назван журналом «Огонёк» лучшим писателем года. Мнение критики колеблется по всему диапазону — от «живого классика» до «самого страшного и скандального писателя» в современной литературе.

По сценарию Игоря Яркевича снят фильм «Частные хроники. Монолог» (1999, режиссёр Виталий Манский).

Лауреат премии «Нонконформизм-2011» (с формулировкой «за новые типы прозаического мышления, стиля и языка»).

Умер 29 июля 2020 года на 58-м году жизни.

«К Яркевичу можно было в полном объёме применить словосочетание «неоценённый современниками», потому что он был абсолютно выдающимся явлением, но на него должно было работать общество, которое бы пестовало это явление, продюсировало бы его. У него самого не было времени на это. По большому счёту, Яркевич стоит в одном ряду с Сорокиным и Пелевиным, а, может быть, в каких-то проявлениях своей революционности и андеграундности превышает эти такие брендовые и состоявшиеся имена», — писал Виталий Манский.

Исполнился год как ушёл из жизни Игорь Яркевич, один из самых своеобразных, необычных русских писателей.

Он насквозь литературен. Что бы он ни говорил, о чём бы ни писал, разговор всё равно и всегда сведётся к русской литературе. Как начинается его рассказ «Доля, ключи, риэлтор, мебель»? Правильно,

как у классика: «Все психически адекватные люди адекватны одинаково. Все психически неадекватные люди неадекватны по-разному».

У Игоря Яркевича не так просто отделить прозу от эссеистики. Технически — да, в эссе почти нет мата, почти нет разговоров. Но даже и в эссе есть и мат, и разговоры. А рассказы



его — не сюжетная беллетристика в духе постоянно упоминаемого им Прилепина. В рассказах его всегда есть концепция, философский взгляд и яростная тенденция. Говорит герой с девушкой, а о чём говорит? Да всё о том же — о России, о русской литературе, о коррупции:

«Пора уже очистить коррупцию от мифа воровства и стагнации. Коррупция — двигатель русского прогресса. Коррупция — лучший русский танк и самый главный русский ангел. Коррупция — основная русская граница. С коррупцией нам ничего не страшно. Без коррупции нас трижды съедят. Сначала нас съедят китайцы. Но всё не съедят. Китайский рот не сможет съесть всю Россию. Но потом, что не съели китайцы, съедят узбеки. Но и узбеки тоже всё не съедят. Но потом придут американцы и доедят всё, что не съели китайцы и узбеки. Коррупция их не остановит. Они в любом случае съедят всю Россию. Но всё-таки коррупция их остановит и не даст им съесть всю Россию».

Хотя есть у Яркевича и классическая русская проза, с сюжетом. Упомянутый рассказ «Доля, ключи, риэлтор, мебель» — чем не триллер. Я-то знаю, чем там всё закончилось, потому что был свидетелем истории, но читателю явно же будет интересно. Как в классической сюжетной и даже остросюжетной прозе. На литературу Яркевич всё равно так или иначе выйдет, окажется внутри русских вопросов, сам не понимая, как там оказался. Рассказ «Вонючие люди» идёт от прозы Венедикта Ерофеева и Высоцкого («Дельфины и психи», кто не знаком, обратите внимание, совсем другого Высоцкого узнаете). Яркевич

ценил Ерофеева, мы много с ним говорили и про упомянутый рассказ Высоцкого.

И Ерофеев, и Высоцкий писали, побывав в больнице, знали, что писали. Кардиология, описанная Яркевичем, — сугубо его кардиология. Соседи по палате — сугубо его соседи. И их разговоры. Но он и здесь не откажется от литературы:

«Например, шарият. Красивое слово. На шар похоже. И на пролетариат. Только красивее. И ещё аврат. Тоже красивое слово. На аврал похоже. И на отвар. И ещё на овраг. Я эти слова теперь часто повторяю. Красиво звучат. И по смыслу тоже красивые слова».

Тогда в кардиологии Игоря Яркевича спасли.

Второй приступ он не пережил, не проснулся.

«Всё правда, — пишет Яркевич. — Безднадёжная русская правда».

Тут не поспоришь. Потому и правда, что безнадёжная и русская. Другой правды он не знал, другой правды, наверное, и нет вовсе.

Эссе Яркевича не вполне эссе.

Они ещё и рассказы. Как в прозе он стремится к рассуждениям, к тенденции, так и в эссеистике у него бьёт ключом сюжет. И какой!.. *«Настасья Филипповна стала комиссаром. У Чапаева, а потом на Балтфлоте. Чапаев заразил её туберкулёзом, а она в ответ заразилась сифилисом весь Кронштадт, вскочила на бронепоезд и сгорела в огне революции».*

Яркевич подготовил к публикации несколько книг прозы и эссеистики. Они собраны в отдельные файлы, есть даже оглавление. Эссе «История оппозиционера» и «История патриота», скорее всего, планировались им для книги «История советской дуры». Но они написаны совсем незадолго до смерти, и включить их туда он не успел. Куда он собирался включить «Русскую женщину на грани нервного срыва», мне сказать трудно.

Наверное, потихоньку собирал ещё одну книжку.

«Если России когда-нибудь не будет, то не потому, что упадут цены на нефть. И не потому, что её изнутри съест коррупция. И даже не потому, что на Россию упадёт метеорит.»

Всё это ерунда.

Если России когда-нибудь не будет, то только потому, что русская женщина накроет её своим нервным срывом».

Что будет с Россией — никто не знает, особенно сама Россия.

«Он *литературоцентричен*, — пишет Яркевич про «патриота» из одноимённого эссе, — *но устал от русских писателей*».

Он и сам такой, Игорь Яркевич.

Издавать его надо, издавать и печатать.

Евгений Лесин

В ТЕКСТАХ ПУБЛИКУЕМЫХ НИЖЕ РАССКАЗАХ И. ЯРКЕВИЧА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА

РАССКАЗЫ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ КНИГИ «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»

Меня обманули! — говорил я Кате. — Мне говорили, что всё будет хорошо! Что имеет смысл не жалеть себя ради литературы! Что в итоге всё образуется! Ни хуя не образовалось и никакого смысла!

— Надо всё начать сначала. — успокаивала меня Катя. — Забыть про амбиции, про постмодернизм, про эту несчастную литературу, про то, что всё просрали, про вечный сон русского социума, про реванш русской бюрократии, про новый бесконечный путинский застой, про возраст, про алкоголь, про замкнутый русский круг, да вообще про всё, — и начать сначала.

Она была права. Всё закончилось, всё ебнулось, полетело, ушло, уехало, растворилось. Литература умерла. И на этот раз навсегда. Всё, связанное с литературой, остопиздело. Социальная жизнь тоже ебнулась. Надо было начинать всё совсем в другой плоскости.

— Можно уехать в деревню, — продолжала Катя. — Свежий тургеневский воздух, народный дух, загнивающая красота русской природы, всякая другая деревенская хуйня — разве это не прекрасно?! В конце

концов, импортозамещение — это утопия, но ведь можно же своими руками вырастить огурец или там какой-нибудь ебанный помидор!

Я задумался. Тут есть доля истины. Именно сейчас, когда литература умерла, литературные мифы могут внезапно ожить. И этот тоже — миф единения с природой и народом, единения с русской деревней, которая там, на природе, всё ещё могла сохраниться. Не будет цивилизации с её компьютерами и банкоматами, гламурными ресторанами и ночными клубами, только природа, народ и здоровая энергетика сельского труда. И где, возможно, всё ещё прячется русская идея.

Возможно, в деревне можно ещё встретить литературу. Литература много раз писала о деревне и наверняка оставила там какие-нибудь свои следы. Деревня может напомнить литературу. Может быть её эхом и тенью. Но заменить литературу или стать литературой деревня всё равно не сможет.

— Хватит напиваться и бесконечно пересматривать французское кино шестидесятых-семидесятых годов! Хватит, — продолжала Катя. — Есть ещё и религия, и мистика, и харизма духа! Почему бы тебе не поехать в Тибет?

И она снова права. Где-то там, среди буддийских колокольчиков и жёлтого халата далай-ламы, заунывных мантр, тай-цзы и палочек для еды как раз и найдётся то, что заменит и навсегда умершую литературу, русские амбиции и путинский застой.

Тибет лучше литературы. Намного лучше. Литература не стоит одной тропинки Тибета. Ведь это же Тибет! Тибет, еб твою мать! О Тибет!

Но и Тибет не сможет заменить собой литературу.

— Русский патриотизм, — продолжала Катя, — надо освободить от агрессии и вечного русского недовольства всем миром. Патриотизм пора сделать нейтральным — без империализма и милитаризма. Только берёзки и цветочки. Только квас, водка, щи и пирожки с мясом. Только Чайковский и Левитан — и никаких там Жуковых и Сталиных! Проклятые русские вопросы должны прозвучать тихо и душевно — как романс. Займись этим. Сделай русский патриотизм спокойным.

И снова она права. Пора уже вдохнуть в русский патриотизм новую энергию, сделать его безопасным, помирить с ним Украину и Европу. Но сначала надо сделать русский патриотизм более объёмным. Надо

соединить его с западной коммерцией, Голливудом и криптовалютой. Русский патриотизм слишком одинок. Его уже пора вписать в большой и сложный мир, где бы он чувствовал себя уютно. Хватит уже ему одному быть против всех.

Но даже если русский патриотизм будет безопасным и нейтральным, и даже если он будет состоять только из кваса, водки, шопинга и криптовалюты, он всё равно не сможет стать литературой. Он почти дотянется до литературы, но потом всё же не дотянется, сорвётся и покатится обратно в пещеру патриотизма.

— В конце концов, — продолжала Катя, — пора разбудить Арктику. Почему бы тебе не заняться Арктикой? В Арктике можно убрать снег и лёд. Не весь, конечно, но много. Пустить в Баренцево море и море Лаптевых тёплую воду и сделать их похожими на Гольфстрим. Литература же умерла? Умерла! Вот Арктика и заменит тебе литературу.

И снова всё так. Хотя Арктика безо льда и снега, с вечнозелёной травой и с тёплой водой Баренцева моря напоминает большевистскую утопию с её мировыми революциями и яблонями на Марсе.

Арктику не разбудить. Большевистской утопии никогда не было. Её не было даже тогда, когда о ней говорил Ленин, писала газета «Правда» и её знала наизусть каждая советская пизда. Но всё же она была, хотя её уже все забыли. Но её ещё можно вспомнить и разбудить ею Арктику. И даже не только Арктику. Её можно использовать, чтобы вложить новый смысл в русскую жизнь.

Арктику уже можно сравнить с литературой. Арктика такая же холодная и бескрайняя, как и литература. Но всё же Арктика не литература и никогда ею не станет.

— А гей-парад? — не унималась Катя. — Гей-брак — ещё рано, но хотя бы гей-парад! Гей-парад уже можно вставлять в русскую жизнь. Среди патриотов России немало гомосексуалистов. Им вполне могут разрешить гей-парад без ущерба для русской идеи и духовных скреп.

И опять она права. Патриоты России не стесняются гомосексуализма, хотя и не выставляют его напоказ. Им разрешат гей-парад. Но им тоже не разрешат гей-парад. Им не разрешат гей-парад другие патриоты России, которые стесняются гомосексуализма и прячутся от него за стеной закона о гей-пропаганде.

Гей-парад ближе всех к литературе. Ближе Арктики и русского патриотизма. Ближе даже Тибета. Гей-парад может заменить литературу

ру. Но не заменит. Всё равно гей-парад не литература и никогда ею не будет.

— А что ты сделал для русского феминизма? — продолжала Катя. — Ни хуя ничего не сделал. Для тебя русский феминизм — это только Ксения Собчак! Но феминизм — это не только Ксения Собчак! Русская женщина вовсе не кончается на Ксении Собчак! Ксения Собчак — это только начало и только этап в развитии русской женщины! Если Ксения Собчак уже всё сказала и через всё прошла, то русская женщина ещё через многое сможет пройти и многое сказать.

С Катей невозможно спорить. Мы действительно на пороге взрыва феминизма. Мы уже много раз были на пороге взрыва феминизма. Но взрыва всё не было. Вместо взрыва была только Ксения Собчак. Но теперь до взрыва феминизма уже недалеко. Феминизм взорвётся русской женщиной, которая устала и от Путина, и от патриотизма, и от духовных скреп, которая уже не выдержит всего этого и взорвётся феминизмом.

В феминизме всё хорошо. Тем более в феминизме, который взорвётся русской женщиной. Но даже русская женщина во взрыве феминизма не сможет заменить литературу, которая умерла.

— Почему бы тебе не пойти к Прилепину во МХАТ? — Катя уже не могла остановиться. — Вы знакомы, он к тебе хорошо относится. Он к тебе относится плохо. Он никогда не предложит тебе пойти к нему во МХАТ. И ты сам никогда не пойдёшь к нему во МХАТ. Но точки пересечения найти можно.

Я снова согласился с Катей. Театр, как и Арктику, не разбудишь. Театр, как и литература, тоже навсегда умер. Но точки пересечения должны быть.

Но только не между литературой и театром. Ведь они умерли. Точек пересечения между теми, кто умер, уже быть не может.

— Коррупция! — не успокаивалась Катя. — Ты можешь заняться и коррупцией. Пора уже очистить коррупцию от мифа воровства и стагнации. Коррупция — двигатель русского прогресса. Коррупция — лучший русский танк и самый главный русский ангел. Коррупция — основная русская граница. С коррупцией нам ничего не страшно. Без коррупции нас трижды съедят. Сначала нас съедят китайцы. Но всё не съедят. Китайский рот не сможет съесть всю Россию. Но потом, что не съели китайцы, съедят узбеки. Но и узбеки тоже всё не съедят. Но потом придут американцы и доедят всё, что не съели китайцы и уз-

беки. Коррупция их не остановит. Они в любом случае съедят всю Россию. Но всё-таки коррупция их остановит и не даст им съесть всю Россию.

Всё так и есть. Коррупция — лучшее русское изобретение. Лучше таблицы Менделеева и гранёного стакана. Коррупция для врагов России страшнее ракеты «Авангард». Коррупция сама съест любого врага России. Через границу коррупции не перейдёт никто.

Но и коррупция тоже не всесильна. У коррупции есть предел — коррупция не может оживить литературу. Коррупция при всей своей силе может дать только имитацию литературы. Но оживить литературу уже не может даже коррупция.

— Ещё оппозиция! — продолжала Катя. — Ты совсем забыл про оппозицию! Впереди новый восход оппозиции. Начинается пенсионная реформа. Растут цены и тарифы ЖКХ. Русский социум уже не может слышать про наш Крым. Он пока ещё делает вид, что может, но на самом деле уже не может! И скоро перестанет делать вид. Мы ещё увидим другую Россию! Как ту, что была в девятьсот семнадцатом. И как ту, что была в девяносто первом. Или даже как ту, что была в две тысячи одиннадцатом! Социум уже готов к подъёму, оппозиция — к новому восходу. Но в оппозиции есть лакуна — между Навальным и Ксенией Собчак. И ты вполне можешь занять эту лакуну! Ты не можешь пройти мимо этой лакуны!

Всё правда. Безнадёжная русская правда. Другая Россия совсем рядом. Но никто не увидит другую Россию. Потому что её не будет. Она будет. Но это будет всё та же самая Россия. Русский социум навсегда запутался в самом себе и поэтому будет терпеть все удовольствия патриотизма. Русская бюрократия будет метаться между Путиным, санкциями Запада, страхом русского социума и тенью Гаагского трибунала. Русская экономика будет катиться вниз, пока не скатится туда совсем. Русская оппозиция будет метаться между популизмом прямого действия и русской метафизикой и застрянет между ними навсегда.

Всё застрянет, будет метаться и катиться вниз.

В оппозиции есть лакуна. Но эту лакуну может занять только литература. Но литература умерла. Поэтому лакуну в оппозиции не займёт никто.

— Умерла литература — и хуй с ней! — устало сказала Катя. — Но ты же не хочешь в русскую пропасть! Поэтому и нужно что-то делать. Хотя бы на уровне имитации.

Я не хочу в русскую пропасть. И туда никто не хочет. Но уже поздно. Уже всё покатило в русскую пропасть — и Тибет, и Арктика, и оппозиция. Русская пропасть бесконечна как космос. Там не за что зацепиться. Там невозможно удержаться. Из русской пропасти уже не выйдешь наверх. Но из неё вполне вероятно выбраться наверх. Даже, если умерла литература.

Если литература умерла, то придумать уже ничего нельзя.

Но всё же что-то придумать ещё можно.

ДОЛЯ, КЛЮЧИ, РИЭЛТОР, МЕБЕЛЬ

Все психически адекватные люди адекватны одинаково. Все психически неадекватные люди неадекватны по-разному. Всегда непонятно, где и как их снесёт и на них накатит. Когда у них ремиссия, а когда обострение. Когда из-за туч ебнутости прольётся дождь вменяемости, а потом снова будет опять всё то же самое.

Тётя и дядя оставили квартиру по наследству мне и Марине.

Марина была мне кем-то вроде троюродной сестры.

Всё началось с оформления наследства в нотариальной конторе. Уже прошло полгода, как мы сдали нотариусу документы на наследство, собрали все справки, и пришло время закончить дела с нотариусом и получить документы на квартиру.

И тут Марину снесло.

В этом сила ебнутых — никогда не знаешь, когда их снесёт.

Марину снесло на доле. В нашем случае оформлять полученную нами квартиру по наследству было всё равно — что по долям, что по половинам. В нашем случае половина была равна доле, только по половинам было немного дешевле. До этого Марина свою ебнутость так не показывала.

Получение квартиры я подготовил по половинам.

Тут она себя показала. Она дозвонилась до нотариальной конторы. Она там всех поставила на уши. Она поменяла половинки на доли.

Доля вызывала у неё уважение. А половина — страх. Нотариус поменял ей половины на доли.

Но она всё равно боялась. Поэтому она взяла с собой в нотариальную контору свою совсем уже ебнутую дочь. Чтобы дочь помогла ей, если я вдруг откажусь от оформления квартиры по долям.

Марина была иногда ебнутая, но иногда всё-таки нормальная. Дочь была ебнутая всегда. Марина была психопаткой, а её дочь — шизофреничкой. Поэтому разница между Мариной и её дочкой была такой же, как между психопатией и параноидальной шизофренией.

У меня уже был большой опыт общения с ебнутыми. Только это меня и спасло.

Дочь была похожа на большую рыхлую бабочку. Говорила она ужасно. Так говорят люди, живущие очень далеко от Москвы.

Дочь набросилась на меня сразу. Она сказала мне всё, что хотела сказать Марина, но не решалась. Дочь сказала про старую и еле живую мебель, которую я хотел выбросить, но Марина была против, потому что мебель они хотят взять на дачу. Дочь потребовала у меня ключи, которые у Марины были, но дочь сказала, что Марина их потеряла. И ещё дочь сказала, что у них есть свой риэлтор, который продаст их долю отдельно.

Насчёт риэлтора она врала, но я не стал спорить.

Дочь считала себя защитником Марины от меня. «Наша семья», — говорила она. «Наш риэлтор», — постоянно повторяла она.

В нотариальной конторе на меня смотрели с сочувствием. Там поняли, что я нахожусь под конвоем дух ебнутых баб.

Когда для оформления долей мы сели за стол, то дочери места не было. Я предложил ей сесть на мой стул. «Я от матери не отойду», — ответила она.

Мы оформили доли и пошли смотреть квартиру.

Больше всего дочь злило, что я — писатель и не хожу каждый день на работу. «Наша семья работает», — постоянно повторяла она мне.

Когда мы подошли к квартире, и я дал им ключи, выяснилось, что дверь они открыть не могут. Дверь действительно сложно открывалась.

Но их это не смутило. Для них самое важное было иметь ключи.

Я сказал, что я тоже не знаю, как открыть.

В квартиру мы так и не зашли.

Я наконец узнал про Марину. Она работала обслугой в Кремле, сидела где-то там на охране, и имела небольшое воинское звание.

Дочь работала бухгалтером.

Высшего образования у них не было.

У Марины был ещё сын. Он тоже был ебнутый. Но в другую сторону. Он был ебнутый на религии.

Когда тётки не стало, он мне позвонил. Он хотел отпевать тётю по всем канонам в церкви.

Я его еле успокоил.

Тётю быстро отпели в ритуальном зале на кладбище.

На похороны тётки он не пришёл. Дочери тоже там не было.

Дальше в делах по квартире был перерыв. Мы не общались. Мы сдали документы в регистрационную палату.

Дочь мне неожиданно позвонила. Она что-то прочитала из моей прозы в Интернете. Она хотела узнать — как можно такое писать и как можно такое печатать.

Она мне снова сказала, что их семья работает и что у их семьи есть риэлтор, с которым у их семьи есть договор и который будет продавать их долю.

Я снова сделал вид, что верю в их риэлтора и в договор, которых, естественно, не было.

Ебнутые всегда врут и разыгрывают какие-то сцены. Ебнутым кажется, что они хорошие актёры.

Я понял, что они боятся того риэлтора, которого нашёл я. Они боялись, что мой риэлтор их втянет в аферу.

С ними было бесполезно спорить. Их можно было только успокаивать.

В этом опять же сила ебнутых — их интересует, прежде всего, выяснение отношений. Предмет разговора где-то на заднем плане. Но в литературной среде много ебнутых, я уже их хорошо знал, и интуитивно понимал, как с ними надо себя вести.

Я не мог их послать на хуй. Разрыва нельзя было допускать. Я должен был привести Марину на сделку и продать с ней всю квартиру, а не доли.

Доли стоили очень мало, и продать их тоже было практически невозможно.

Я объяснил это Марине и её дочери. Но они всё равно твердили о продаже по долям.

Они всего боялись и поэтому задавали дикие вопросы — Кто купит квартиру? Не аферисты ли? Как мы будем делить деньги? Как мы сможем поделить деньги, если мне деньги нужны для жизни, а им — для покупки квартиры?

Механизма продажи квартиры они не знали совсем. Придумав, что у них есть договор с их риэлтором, они больше про механизм продажи квартиры ничего знать не хотели.

Они хотели только выяснять отношения со мной.

Я держался, отношения не выяснял и успокаивал их как мог.

С ебнутыми только так и можно. Никаких выяснений отношений. Только успокаивать их и успокаивать. Иначе они испугаются и убегут.

Дальше мы с риэлтором Серёжей, которого Марина с дочерью называла моим риэлтором, взялись за продажу квартиры.

Я расслабился и просто делал всё, что говорил Серёжа.

Цену на квартиру мы поставили скромную — 10 миллионов. Тогда в Москве за трехкомнатную квартиру недалеко от метро почти в центре это было не так много. Но больше ставить было нельзя. Квартира была в среднем состоянии, там нужен был ремонт. К тому же был плохой дом. Такие дома называют «пятиэтажка с лифтом и мусоропроводом». Очень узкий подъезд. Один лифт. Квартиры на лестничной клетке были вплотную друг к другу, как в пятиэтажках.

Поэтому более высокую цену ставить было нельзя. За более высокую цену квартиру просто бы не купили.

И ещё было неизвестно, купят ли за эту цену.

Но купили. Покупатель нашёлся. Мы с Серёжей быстро всё сделали — за несколько недель.

Дальше требовалась Марина. Без неё уже было никак нельзя.

Я позвонил Марине и сказал, что мне надо с ней серьёзно поговорить о квартире.

Марина испугалась и выдвинула вперёд свою совсем уже ебнутую дочь. Но я теперь был к этому готов.

Дочь мне позвонила на следующее утро.

Дочь мне сказала, что Марину срочно вызвали на работу, поэтому позвонить она не могла. Я снова сделал вид, что поверил, хотя Марина пару месяцев назад вышла на пенсию. У неё тогда была целая истерика.

Затем она спросила: «Что случилось?» Я ей всё сказал. Что есть покупатели на квартиру. Что они готовы купить квартиру за 10 миллионов. Дочь перепугалась. Она спросила — Не аферисты ли поку-

патели? И что их риэлтор сказал, что квартира стоит больше. Она снова спряталась за придуманного риэлтора. Я её успокоил. Я теперь только успокаивал. Это самый лучший формат разговора с ебнутыми — чтобы они ничего не боялись. Покупатели не аферисты. Квартира в плохом состоянии и эта цена — максимальная. Дочь сказала, что я не хожу на работу и зарабатываю деньги нечестным путём. И опять я её успокоил. Литература — это тоже работа. Только работа дома. Всё хорошо. Дочь снова выдвинула придуманного риэлтора, с которым у них якобы договор. Я объяснил ей, что тогда Марина получит несколько сот тысяч рублей, а не 5 миллионов. Тогда дочь сказала, что их семья на даче. Тогда я сказал, что хуй с ним со всем. Квартиру мне одному не продать. С моей долей мне больше делать нечего. Я подарю свою долю узбеку Мухабару. Он не Мухабар, но больше Мухабар, чем кто-либо другой. Но тогда их семья не сможет продать их долю, потому что Мухабар будет в квартире жить. Также пусть их семья учит узбекский, потому что Мухабар по-русски не говорит совсем. Дочь сникла. Она больше всего боялась, что во время продажи квартиры я все деньги заберу себе. Я её успокоил, что это невозможно. В банке нам разделят деньги на две равных половины, Марина уберёт свою половину в свою ячейку, а я в свою. Ещё она не понимала, как мы будем с деньгами. Ведь Марине деньги нужны для покупки квартиры, а мне — для жизни. И снова мне удалось её успокоить. Получить деньги мы можем только вдвоём, а для этого нужно продать квартиру целиком, а не пол-квартиры, а тратить уже отдельно. Ещё она боялась, что я буду на Марину давить. Она мне всё время говорила, что я на Марину давлю. И опять я её успокоил. Я — интеллигентный парень и никогда ни на кого не давил. Успокоил я её и насчёт мебели. Всю мебель в квартире они могут забрать себе, когда захотят.

Мебель была совсем старой и раздолбанная. Она разваливалась от малейшего прикосновения. На неё было страшно смотреть. Мебель Марина хотела забрать только назло мне, потому что я хотел её выбросить.

Насчёт договора я её тоже успокоил. Договора с риэлтором нет, но он и не нужен. Нет никаких законов, заставляющих иметь договор с риэлтором или риэлторской компанией. Мы просто отдадим риэлтору деньги, и притом не три процента, как хотел их придуманный риэлтор, а полтора.

Ещё она спросила про ключи. Я сказал, что с ключами всё в порядке. Я научился пользоваться ключами.

Дочь успокоилась и взяла у меня телефон моего риэлтора, хотя раньше о нем и слышать не хотела. Так мы договорились с риэлтором. Позвонить должны они ему, а не он им, чтобы они не приняли это за давление.

Она позвонила риэлтору. Марина пришла на сделку. Сделка состоялась.

Во время сделки дочь несколько раз звонила Марине. Она её спрашивала, не убили ли её и не давлю ли я на неё. Марина уже успокоилась. Она отвечала, что не убили и не давлю.

Когда мы с Мариной ходили по Москве, мы несколько раз встречали моих знакомых. Марина сразу убегала. Она боялась разговоров с деятелями культуры.

Москвы она не знала совсем. Она всю жизнь жила в Тёплом Стане и знала только Тёплый Стан. Там же она хотела купить квартиру возле бывшего расстрельного полигона Комиссарка.

Марина говорила на языке сталинских коммуналок. Квитанции ЖКХ она называла «жировками». Как-то мы с ней заговорили о кино, и она сказала, что Марина Ладынина хорошо сыграла в «Кубанских казаках».

Что ещё в кино она смотрела после «Кубанских казаков», я так и не узнал.

Там ещё была целая истории. Дядя и тётя не хотели оставлять наследство, но потом всё-таки оставили. Моя мама их уговорила. Дядя к этому времени был уже под крылом домашнего безумия. Он принимал огромное количество таблеток. Он был врачом, поэтому сам себе прописывал таблетки, которые сам и принимал. Я пытался показать его психиатрам, но это было невозможно. Психиатров он боялся. Когда его отводили к другим врачам, он их называл «скрытыми психиатрами». Ещё он их обвинял в антисемитизме. Когда он учился в медицинском институте, началось дело врачей, и он это запомнил на всю жизнь. Своё отчество «Рафаилович» он поменял на «Рафаэлович», но нотариусы, когда я получал наследство, этого не заметили. Если бы заметили, пришлось бы действовать через суд. Однажды дядя принял слишком много таблеток, и его не стало. На похоронах дяди я впервые увидел Марину. Тогда она скрывала, что она ебнутая. Это стратегия поведения ебнутых — они скрывают свою ебнутость, пока наконец её не покажут. Тётя осталась одна. Потом она тоже сошла с ума. Она

всё путала и постоянно говорила о еде. Летом 2010 года, когда в Москве была ненормально сильная жара, а Лужков сбежал из Москвы, она перестала отвечать по телефону. Мама к ней приехала. Тётя была без сознания. Тётю отвезли в больницу. Я сам оказался в больнице, и мама разрывалась между двумя больницами. Тётя в сознание уже не пришла. Она всё время лежала. Она последние полтора года провела в состоянии синильной деменции. Мы с мамой нашли ей двух мигрантов, мужа и жену, которые за ней ухаживали и в этой квартире жили. Они привезли туда сына. Когда тёти не стало, они не захотели уходить. Им там понравилось. Трехкомнатная квартира недалеко от центра и рядом с метро — что ещё надо?

Мне удалось уговорить их уйти.

Марина за тётей не ухаживала. Она ничего об этом не знала. Марину не трогали.

Марина, когда тётя оставила наследство, приехала к ней и бросила ей ключи от квартиры. «Мне пол-квартиры не нужно», — сказала она.

Поэтому потом она мне устроила истерику насчёт ключей.

Марина с моим риэлтором купила квартиру в Комиссарке. Я ей сказал, что этого делать не надо. Надо подождать. Цены на недвижимость скоро упадут, и она сможет купить квартиру раза в два-три дешевле. А разницу в деньгах потратить на лечение. Она сможет вылечить дочь от шизофрении и себя от психопатии.

Но это было безнадёжно. Она купила квартиру.

Цены на недвижимость упали через два года. Всё изменилось. Доллар вырос. Цены на нефть упали. Потом наш Крым и санкции. Квартирный рынок в Москве просел, а в центре наступил квартирный коллапс.

Теперь мы бы так быстро квартиру не продали.

Больше я своих троюродных родственников не видел. Они навсегда остались в мире жирюков и Марины Ладыниной.

Комиссарка вошла в Новую Москву. Скоро там будет метро.

ВОНЮЧИЕ ЛЮДИ

В кардиологии лежать, конечно, скучно.

В травматологии веселее. Там они все помоложе. Там они ходят с костылями и с повязками на голове. Там они все какие-то ебнутые. Там они не помнят, как их зовут и как они сюда попали. Там они забывают этаж, на котором лежат.

В кардиологии говорят только о политике.

В травматологии говорят о спорте и сексе.

В травматологии всё забыли.

В кардиологии помнят всё.

— Я Лужкова ненавижу! — кричал Володя. Володя всегда кричал, когда говорил. Он не специально кричал. Он просто так говорил. — Лужков — Кац! Кац! Кац! Кац! Кац — Кац! А не Лужков! Поэтому он к евреям пошёл! Я сам по телевизору видел. Он у евреев в синагоге на празднике был. А за неделю до этого к православным ходил в церковь. Он там крестные поклоны клал. А через неделю после этого уже в ермолке у евреев в синагоге был. Одно слово — Кац! Когда я в армии служил, у нас там тоже Кац был. Но он хороший парень был. Он и на еврея был не похож. Никогда не скажешь, что еврей! У него всегда можно было закурить или займы взять.

Есть народный антисемитизм. Есть. Без него нельзя. В нём есть определённая польза. У него длинная история. Без него сложно представить русский контекст.

— Когда я в МГУ работал, там тоже Кац был, — продолжал Володя. — Вот про того скажешь, что еврей. Он хитрый был. И жадный. Он в столовой всегда самое дорогое брал — пиво, сливки и запечённую рыбу в кляре. Он только с евреями дружил. И с парторгом. И с ментами. А больше ни с кем не дружил. Он театральными билетами спекулировал. И книгами. Но жена русская была.

— И у нас на работе тоже Кац был, — вспомнил Серёжа. — Такой мудака! Даже странно, что еврей. Евреи ведь умные все. А он мудака был. Я думаю, он и не еврей был. Слишком он большой мудака, чтобы евреем быть.

— В жизни вообще многое сложно, — подтвердил Саша. — Свитер надо снимать, а гондон — надевать. Телевизор надо спереди включать,

а компьютер — сзади. Суп надо ложкой есть, а котлету — вилкой. Простыню надо снизу класть, а одеяло — сверху. Такая морока! Сплошной геморрой! Х.. знает что!

— В жизни многое сложно, — согласился Володя. — Одни зубы выпадают, — другие — нет. Одни части тела болят, а другие — не болят. Поди пойми!

— В жизни часто всё непонятно, — вздохнул Володя. — Что не хочешь, — то делаешь. Что хочешь, — то не делаешь. А потом делаешь и то, и то. Что хочешь и что не хочешь. Я однажды человека изнасиловал, хотя не хотел совсем. Женщину. Она некрасивая была. И пожилая уже очень. Она меня тяжёлую сумку домой попросила отнести. Я сумку ей отнёс. А потом изнасиловал. Хотя и не хотел. Но я уже пьяный очень был. Мне уже все равно было кого е... Хоть кого, кто рядом есть. Но она спокойно отнеслась. Она только собакой потом стала. Она стала выть, гавкать и укусила меня. Но обиды на меня у неё не было.

...

— Когда Лужков ушёл, в Москве лучше жить стало. В Москве совсем по-другому стало, — Володя тоже присел на кровати. — Лучше. Сразу. Намного. Скоро пробки меньше станут. А потом исчезнут совсем. Поэтому я, как только из больницы выйду, я по Москве гулять пойду.

— А я выпью много, — Саша потянулся. — У меня уже всё готово. Водка есть. Много водки. Закуска хорошая есть. Много. Рыба солёная есть. Есть мясо копчёное. Огурцы там всякие есть. Свежий посол. И пизда одна знакомая есть. Я с ней, правда, ебаться совсем не хочу. И она со мной не хочет. Но она может рядом посидеть, пока я много пить буду.

— А я буду телевизор смотреть. Ну, не знаю, — задумался Асан. — Может, ещё что делать буду. Но в основном буду телевизор смотреть. Всё подряд. И «Культуру» тоже. Я «Культуру» не смотрю. Там обычно хуйня всякая идёт. Но у меня «Культуру» жена смотрит. Она считает, что там по-русски хорошо говорят. А ей самой по-русски надо хорошо говорить. Она сейчас в школе русский язык преподаёт. Она и так в школе русский язык лучше всех знает. Кроме неё, в школе никто по-русски стихов наизусть читать не может. Запомнить не могут. Но она ещё лучше русский хочет знать. Мне, конечно, всё равно. Я русский как знаю, — так и знаю. Мне лучше не надо. Но я теперь «Культуру» тоже буду смотреть. Вместе с женой. Так жене тоже лучше будет. Она жалуется, что ей тяжело одной «Культуру»

смотреть. Там, конечно, по-русски хорошо говорят, но только при этом мозги сильно ебут.

— А я после больницы курить брошу. И пить. Я о здоровье думать буду,— твёрдо сказал Володя.— И о России. Я русский гимн выучу. Я русскую историю буду изучать. И в церковь православную буду ходить. Я буду с коррупцией бороться. Я совсем другую жизнь начну. Настоящую жизнь.

— А мне мусульманские слова всё больше нравятся,— Серёжа посмотрел по сторонам.— Сам от себя не ожидал. Раньше не нравились. Не обижайся, Асан. Раньше меня от них тошнило. Ну, не тошнило. Но как-то очень было неприятно. А теперь всё больше нравиться стали. Например, шариат. Красивое слово. На шар похоже. И на пролетариат. Только красивее. И ещё аврат. Тоже красивое слово. На аврал похоже. И на отвар. И ещё на овраг. Я эти слова теперь часто повторяю. Красиво звучат. И по смыслу тоже красивые слова.

В кардиологии скучно. И ещё воняет. Воняют не только люди. Воняют и слова. Врачи не дают мыться. Врачи считают, что так лучше для здоровья,— если не мыться.

Хотя душ в кардиологии есть.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

Я совсем перестал писать о мужчинах. Я перестал их понимать и чувствовать. Я уже не знаю, чем они отличаются. Чем оппозиционер отличается от педофила, а православный радикал — от гомосексуалиста. Они все для меня на одно лицо. У всех одно и то же содержание — немного Путина, немного русской литературы, немного вечного русского самоуничтожения и много тяжёлой мужской спермы, которой нет выхода наружу.

Русский мужчина в состоянии стагнации навсегда.

То ли дело русская женщина! Она всегда в движении. Всегда на грани и за гранью. Всегда в экстазе. Всегда готова, как курица, драться за своих цыплят. А когда у неё нет цыплят, она всегда готова драться тоже.

Русская женщина всегда всем недовольна. И не только окружающим её русским мужским миром, но и собой тоже. Она всегда недово-

леко от нервного срыва. Какое-то время она это скрывает. Она ведёт себя прилично. Она делает вид, что она всем довольна. Но потом она уже не может дальше терпеть и уходит под знамёна нервного срыва.

Так у неё было с самого начала.

Татьяна Ларина полюбила Онегина. Но потом она в нем разочаровалась. Она поняла, что он её не стоит. И тогда она написала Онегину письмо, где рассказала, что ей приснился медведь, и что Онегин — идиот, но она всё равно его любит. Потом она вышла замуж за другого мужчину, который тоже был идиот и тоже её не стоил. Но ей уже было всё равно. Все они идиоты и все её не стоят, а замуж когда-то же надо выходить.

Княжна Мери, когда приехала на Кавказ, то полюбила Печорина. Но потом она поняла, что Печорин — такой же идиот, как Онегин, которого княжна Мери любила раньше, и к тому же гомосексуалист. И совсем не разбирается в кавказском вопросе. В общем, Печорин стал её раздражать. Тогда она вызвала Печорина на дуэль потому, что он её раздражал, и ещё изменял ей с другим гусаром.

Бэла тоже сначала полюбила Печорина. Но потом поняла, что он гомосексуалист. Тогда она стала шахидкой и готовилась взорвать Ермолова, но потом ушла от радикального ислама. Бэла заинтересовалась русской литературой. Но про себя у Лермонтова ей не понравилось. Потом она влюбилась в Гоголя, но Гоголь от неё сбежал.

Потом был перерыв. Всё было тихо. Она вроде бы успокоилась. Но однажды русская женщина снова сорвалась. Однажды она выпила. Когда она выпила, то не нашла дороги до дома. Но потом всё-таки нашла. Там она подожгла избу, где спали муж и дети, потому что они ей надоели. Потом она решила покататься на коне, который испугался пьяной бабы и ускакал. Потом она ударила топором соседку, у которой взяла деньги в долг. Соседка с долгом не торопила, но всё равно смотреть соседке в глаза было как-то неловко. Потом зарезала одного из двух любовников, которые ей к тому времени уже надоели оба, и расцарапала всё лицо другому. Потом столкнула в реку свекровь. Потом пьяная бросилась под поезд. Потом было ещё что-то в таком же роде, но она уже этого не помнит. Утром она протрезвела, пришла в ужас и тогда попыталась всё исправить. Потушила горящую избу. Вынесла из избы мужа и детей. Поймала ускакавшего коня. Вытащила из воды свекровь. Перевязала горло любовнику. Протёрла одеколоном расцарапанное лицо другому любовнику. Вызвала

соседке «скорую помощь». Но всё исправить оказалось невозможно. Тогда она снова пришла в ужас и бросилась под поезд уже трезвая. А потом со стыда утопилась. Потом русские писатели попытались всё это замазать и написали, что она не пила, избу не поджигала и коня не пугала — изба загорелась сама, и конь тоже испугался сам. А русская женщина избу потушила и коня остановила на скаку сразу, как только это случилось, а не потом, уже утром. Любовника зарезала не она, а наоборот — любовник зарезал её. И соседку топором ударила не она, а вообще мужчина. А свекровь в воду упала сама. И под поезд она тоже бросилась не пьяная, а в здравом уме, не выдержав тупика экзистенциальных проблем. А алкоголь и нервный срыв тут ни при чём.

Некоторое время всё было тихо.

Но потом Настасья Филипповна стала собирать деньги на революцию. Настасье Филипповне надоел русский мужчина с его тяжёлой спермой и вечные проблемы русского мира, и Настасья Филипповна собиралась изменить эту ситуацию революцией. А на революцию нужны деньги. И Настасья Филипповна стала собирать на неё деньги. Настасье Филипповне охотно давали деньги на революцию. Настасья Филипповна была умная и красивая. Поэтому ей сочувствовали в её желании изменить ситуацию с тяжёлой спермой и вечными проблемами революцией. Денег Настасья Филипповна собрала много. Но однажды у Настасьи Филипповны было видение. Видение того мира, который будет после революции. Всё будет то же самое. Всё та же тяжёлая сперма русского мужчины и вечные проблемы русского мира. Революция ничего не поменяет. И Настасья Филипповна бросила в огонь все надежды на революцию вместе с деньгами, которые она на революцию собрала.

Но потом Настасье Филипповне приснился сон. Очень лёгкий сон. Что тяжёлая сперма русского мужского мира станет такой же лёгкой после революции, как её сон. В общем, революция будет не зря. И Настасья Филипповна снова стала собирать деньги на революцию. И снова собрала на революцию денег. Но потом всё то же самое — видение, в котором революция ничего не изменила после революции, крах надежд на революцию, нервный срыв и сжигание денег, собранных на революцию, в огне. И так это всё повторялось несколько раз, пока Настасья Филипповна, в очередной раз собрав деньги на революцию, не ушла от нервного срыва. Настасья Филипповна взяла себя

в руки. Сжала зубы. Собрала в кулак всю волю и деньги, собранные на революцию, не сожгла, а действительно отдала их на революцию. И вот она, революция! Естественно, после революции было всё так же, как и до неё. Всё та же тяжёлая сперма и всё те же вечные проблемы. Русский мужчина и русский мир устояли. Их снова надо было менять. Но у Настасьи Филипповны уже не было сил на новый сбор денег для новой революции. Она тоже не железная, чтобы вот так вот без конца собирать и собирать деньги на революцию!

Настасья Филипповна не выдержала. Она снова довела себя до нервного срыва. Если в огне революции не сгорели тяжёлая сперма русского мужчины и все остальные вечные проблемы русского мира, тогда она сама сгорит в огне революции.

Настасья Филипповна стала комиссаром. У Чапаева, а потом на Балтфлоте. Чапаев заразил её туберкулёзом, а она в ответ заразилась сифилисом весь Кронштадт, вскочила на бронепоезд и сгорела в огне революции.

И снова был некоторый перерыв, когда русская женщина вела себя достойно и не бросалась на людей под знаменем нервного срыва.

Но потом Грушенька стала министром культуры СССР. Грушенька ценила советскую власть. Грушенька понимала, что только при советской власти она, простая баба, дура дурой, клуша клушей, жопа жопой, могла подняться так высоко. И поэтому Грушенька на посту министра культуры не жалела себя. Она разрывалась между советской бюрократией и советской творческой интеллигенцией. Она не уставала их мирить. Она доказывала советской бюрократии, что советская творческая интеллигенция не представляет себя без советской власти, хотя и позволяет себе иногда некоторые оппозиционные вольности. Она хотела, чтобы советская творческая интеллигенция могла полностью выразить себя, но при этом не забывала про идеалы советской власти и вообще поменьше пила. У Грушеньки была сложная, но интересная работа. Грушенька была вся на виду. Её любила бюрократия. Её уважала интеллигенция. Её любили и уважали все.

Но в какой-то момент Грушеньке всё надоело. Надоели интриги и банкеты брежневского Кремля. Надоел провинциализм творческой интеллигенции. Надоело лирическое бляение Окуджавы. Надоело большое рыхлое тело Зыкиной и её квазинародные песни. Надоело успокаивать Плисецкую после каждого аборта. Надоело

пьянство Высоцкого. Надоели пудовые ксероксы Солженицына. Надоело высокомерие Тарковского и его занудные фильмы. Надоела многозначительность Смоктуновского. Надоел скепсис Галича. Надоели доклады в ЦК КПССС и антисоветские анекдоты. Надоели Громыко, Суслов, Любимов, Аркадий Северный и Сахаров. Всё надоело. Всё стало поперёк горла. Она больше не хотела себя тратить на этих совершенно ничтожных людей и быть заложницей их комплексов и амбиций.

Тогда она выпила, села в автомобиль нервного срыва и отпустила тормоза. Наехала на Брежнева и Окуджаву. Брежневу она сказала, что он наследник Сталина, а Окуджаве — что он лирический козёл. Наехала и на Плисецкую. Плисецкой она сказала, что от её лебедя уже всех тошнит, и что той уже давно пора родить, а не мучить себя и людей балетом. Потом разбила молотком скульптуру Неизвестного. Пошла на фильм Тарковского и стала нарочно на весь зал громко храпеть. Потом пришла домой, ещё выпила и перерезала себе вены. А потом ещё и застрелилась, — чтобы было надёжней. Чтобы больше никого из них не слышать и не видеть — ни бюрократию, ни интеллигенцию. Чтобы они раз и навсегда оставили её в покое.

Потом снова какое-то время было всё спокойно. Русская женщина примирилась со всеми вечными проблемами русского социума и его тяжёлой мужской спермой.

После каждого нервного срыва русской женщины Россия приходит в себя. Зализывает раны. Приводит в порядок экономику. Восстанавливает инфраструктуру. Всё налаживается.

Но потом всё начинается снова.

Потом нервные срывы пошли один за другим. Вечные проблемы остались такими же вечными, а тяжёлая сперма не стала менее тяжёлой. Вечные проблемы и тяжёлая сперма снова вывели русскую женщину из себя, и она опять села за руль автомобиля нервного срыва.

Жена генерала Рохлина убила своего мужа генерала Рохлина.

Алла Пугачёва вышла замуж за Галкина.

Дуня Смирнова вышла замуж за Чубайса.

Дарья Донцова стала писать детективы.

Маша Арбатова вышла замуж за индуса.

Ирина Пороховщикова повесилась.

Пуссирайот попросили Богородицу прогнать Путина.

Ксения Собчак ушла из гламура в оппозицию.

Лейла Соколова взяла в руки хлыст и выпорола подругу.

Екатерина Заул задавила пятерых на автобусной остановке в Подмосковье.

Ульяна Скойбеда пожалела, что немцы не из всех евреев сделали абажуры.

Елена Мизулина написала закон против гомосексуализма.

Людмила Путина развелась со своим мужем Путиным.

И это далеко не все нервные срывы русской женщины, а только самые важные из них.

Россия живёт в мире от нервного срыва русской женщины до следующего её срыва.

Но этот мир очень ненадёжен. Каждый новый нервный срыв может оказаться последним.

Если России когда-нибудь не будет, то не потому, что упадут цены на нефть. И не потому, что её изнутри съест коррупция. И даже не потому, что на Россию упадёт метеорит.

Всё это ерунда.

Если России когда-нибудь не будет, то только потому, что русская женщина накроет её своим нервным срывом.

ИСТОРИЯ ПАТРИОТА

Русских не любят. Русских никогда не любили. Русских не будут любить никогда.

Тут много причин.

Русские сами виноваты. Русские делают всё, чтобы их не любили — русские выбирают на третий срок Путина, русские плохо играют в футбол и плохо поют эстрадные шлягеры, а когда здороваются, то не рады тому, с кем здороваются, — русские, когда говорят «Здравствуйте», смотрят не прямо в глаза, а куда-то в сторону и вбок. Ещё у русских помойка на каждом углу. Конечно, после всего этого русских вряд ли можно полюбить.

Ещё русские неправильно стратегически используют Достоевского. Русские считают, что Достоевского надо навязывать всем, кто тянется к России. После Достоевского они уже не смогут не любить Россию. На

самом деле всё наоборот. После Достоевского все, кто к России тянутся, уже к России больше не тянутся.

Россию и русских все ругают. К русским постоянно какие-то претензии. То у русских русское выражение лица, при котором от русских непонятно чего ждать — не то русские ударят топором, как Раскольников, не то станут говорить о чем-то таком духовном, как академик Сахаров или священник Кураев. А от других, можно подумать, всегда знаешь, чего ждать. Тоже не знаешь. То русские много пьют. Как будто бы другие много не пьют! Тоже много пьют. Но русские много пьют не потому, что хотят много пить, а потому, что у них много причин, чтобы много пить. А у других таких причин нет. А у русских есть. То русских упрекают, что они посадили Ходорковского. Но так случайно получилось. И с Пуссирайот тоже случайно. А кто кого случайно не сажает? Все сажают. А претензии опять же только к русским. То русские мало работают. Почему мало? Русские много работают. Другие, — например, панды, — вообще не работают. И никто им это не ставит в вину, а, наоборот, все с ними носятся и хотят сняться на их фоне. А на фоне русских никто сниматься не хочет. Хотя русские работают значительно больше панд. То русские постоянно выбирают в Президенты одного и того же Путина. Но русские за Путина не держатся. Просто у них пока нет никого лучше Путина. Как только кто-нибудь найдётся — сразу выберут его.

Русские привыкли, что их ругают. Они давно не обращают на это внимания. Лишь бы платили деньги за нефть и газ, а там пусть ругают.

Не привык только русский патриот.

Русскому патриоту неприятно, когда Россию ругают. Россия выиграла войну. Россия написала «Евгения Онегина». Россия сняла «Андрея Рублёва». Россия придумала водку и всё, что вокруг водки — чёрный хлеб, гранёный стакан и пьяный русский бред. За всё это России можно простить то, чем Россию обычно попрекают — скверный запах изо рта, Путина и помойку на каждом углу.

Доводы патриота в защиту России довольно банальны, но справедливы — Россия спасла мир от монголо-татар, фашистов, русских писателей и Стаса Михайлова. Россия приняла весь их удар на себя. Что было бы, если бы татаро-монголы прошли дальше в Европу? Если бы фашисты дошли до Урала? А если бы русские писатели заполнили русской литературой весь мир? А если бы Стас Михайлов вышел в Ев-

ропу? Так нет, не вышли, не дошли, не прошли, не заполнили. Потому что Россия их взяла и растворила в себе.

Русский патриот — сложное явление. Ему сложно не только с Россией. Ему и с самим собой тоже сложно. Он православный, но не верит в Бога. Он православный только потому, что в России все православные, хотя в Бога тоже не верят. Он антикоммунист, но с коммунистами ему хорошо. Он не гомосексуалист, но с гомосексуалистами ему тоже почти хорошо. Он литературоцентричен, но устал от русских писателей. Он в них не верит, как не верит и в Бога. Он не любит русский пейзаж, потому что тоже устал от него, как от русских писателей. Сколько времени одно и то же — лес, поле, серое небо, водка, Путин, помойка на каждом углу. Поневоле устанешь.

В России всем сложно. А русскому патриоту в России сложнее всех. Ему сложнее, чем оппозиционеру, гомосексуалисту, лилипуту или негру. Хотя его не сажают так надолго, как оппозиционера, не унижают так, как гомосексуалиста, не смотрят на него свысока, как на лилипута, и не кидают в него, как в негра, бананом, но не любят ещё больше их.

Русские не любят своих патриотов.

Русские не верят патриотам. Они убеждены — русские патриоты совсем не русские. Они только говорят, что они русские. А внутри каждого из тех, кто называет себя патриотом, живёт Бог знает кто — олигарх, китаец или даже негр. Патриотизмом они только прикрывают свою нерусскую сущность. К тому же русские слишком хорошо знают, что Россию любить невозможно. Можно любить только отдельные её части. И то тоже нельзя. А любить всю Россию целиком тем более нельзя.

Больше всего русского патриота раздражает Москва.

Москва — русский город. Тогда почему их здесь столько? Почему они тут? Кому всё это надо — чебурек, манты, тархун, хинкали, шашлык, аврат, халяль, весь Кавказ, минарет, калмык, узбек, Ибрагимбек, галушка, бульба, карпаччо, пицца, синагога, кошер, Алан, Сослан — зачем? Тем более они все сами говорят, как им здесь неуютно. Но тогда почему они здесь? Почему они окружили русского патриота со всех сторон?

Но русский патриот не унывает и продолжает бороться с врагами. Их много. Враги русского патриота — это все, кроме русских. Прежде всего Средняя Азия и Кавказ. Раньше были евреи, но теперь он к евреям относится хорошо. Китайцы — тоже главные враги, но пока рус-

ский националист к ним не готов. Тем более, что китайцев вокруг ещё не так много, и они не так раздражают.

Когда-нибудь всё ещё будет. Русские войдут в Европу, а Средняя Азия и Кавказ уйдут за Урал. Стас Михайлов будет главным брендом мировой музыки, а русский писатель — трендом мира.

Русские люди не умеют гордиться Россией. Русские вещи и русские звери это делать умеют.

Я знаю только одного патриота России, в котором был собран во едино весь русский патриотизм. Это мой школьный ранец, который я носил с первого по третий класс. Он был готов за Россию в огонь, воду и под землю. Он не мог без России. Он был сама Россия.

Он был непонятного цвета, как и Россия. Россия — цвета водки. Но не белая. Ранец тоже был цвета России. Но не белый. Он носил в себе Россию. Россия была букварь. Потом Россия была мой самый первый учебник литературы. Россия была пенал, где были карандаш и ручка.

Ранец был терпелив, как Россия. Ранец терпел, когда я его засовывал под парту, забывал в троллейбусе или использовал вместо штанги во время футбола во дворе. Ранец любил Россию и готов был всё это терпеть. Потому что всё это происходило в России. Ранец был горд, что он за спиной русского школьника младших классов. Что им русский школьник ударил по голове свою одноклассницу. И пытался плечиками ранца задушить другую одноклассницу по фамилии Мамуд. Не потому что она — Мамуд. А потому, что она на физкультуре толкнула меня под козла, где я едва не разбил очки. Ранец гордился тем, что он попал в самый центр русского детства. Что он участвует в воспитании будущего русского писателя. Он не хотел быть кейсом или рюкзаком. Или инкассаторской сумкой. Он в их сторону не смотрел. Он хотел быть только русским ранцем русского школьника с физкультурными тапочками, пеналом, диктантом по чистописанию и русским детством внутри.

Других патриотов я не видел. Хотя видел. Это заяц из «Ну, погоди!». Заяц был безнадёжным патриотом. Он не завидовал Тому и Джерри. Он не обиделся, когда в Госдуме его назвали гомосексуалистом. Он хотел быть только русским зайцем в русском мультфильме.

Ещё два русских патриота — это водка и мусоропровод. Они всем в России довольны. Они всем в России гордятся. Они никому не завидуют из своих западных аналогов. Они не представляют себя без России. Они не представляют Россию без них.

Водка знает, что только Россия даёт ей полную возможность самореализации. Где ещё водку будут пить столько, сколько в России? Нигде. Во всем мире водку немного отопьют, а потом про неё забудут. Потом займутся чем-нибудь ещё. А в России водку будут пить, пить, пить, а даже если когда не будут временно её пить, то всё равно про неё не забудут.

Мусоропровод тоже знает, что как бы русские ни оставляли помойку на каждом углу, всё равно они без мусоропровода не смогут. Рано или поздно русские будут оставлять мусор только в мусоропроводе. Что весь русский мусор будет принадлежать ему одному.

Мусоропровод верит в своё большое будущее в России.

Все остальные только делают вид, что они патриоты, а потом выясняется, что они относятся к России хуже русофобов.

Русский космический корабль — не патриот России. Он бы хотел взлететь из другой страны. Про Россию он всё знает. Он знает, что далеко он из неё не улетит. Совсем немного полетит — и потом упадёт.

Все остальные — не патриоты. Русский футболист тоже не патриот России. Он знает, что Россия не рождена для футбола.

Большой театр тоже не патриот России. Россия заставляет его танцевать и петь. А он танцевать не хочет. Он хочет только петь и не отвлекаться на танец.

Православие тоже не патриот. Раньше было патриотом. Но потом перестало.

Белый медведь тоже не патриот. Он завидует панде. Вот панде хорошо — целый день жуй бамбук и наслаждайся жизнью. А тут, в России, как идиот. Целый день прыгай по этим долбаным льдинам.

И Северный Ледовитый океан тоже не патриот. Он не любит Россию. Россия перенесла его из Чёрного моря, где он когда-то находился, далеко на север и заставила его течь. В качестве Чёрного моря ему было удобнее. В нём плескались женщины, разные там дельфины и вкусная рыба кефаль. А теперь в нём, когда он Северный Ледовитый Океан, плавают только подводные лодки, которые своими отходами совсем испачкали внутреннюю среду.

У русского патриота есть одна слабость. Даже не слабость, совсем ерунда. Мелочь. Пустяк. О нём даже не стоит и вспоминать. Ерунда, о которой не стоит и говорить. Эти пустяк и ерунда — насилие. Русский патриот к нему склонен и с ним дружит.

Насилие — лучший друг русского патриотизма. Других друзей у патриота всё равно нет. Поэтому патриот всегда оправдывает своего друга. Оправдывает Ленина, Сталина, Петра I, майора Евсюкова и русского бюрократа — ментов, судей и политиков. Русский патриот сам знает им цену. Как от них пострадали сами русские. Но всё равно их оправдывает. Всё равно он их считает теми дровами, без которых русский костёр не горит. Потому что они русские.

Когда-нибудь у русского патриота будут другие друзья. Лучшим другом патриота будет мусоропровод. Патриот окончательно устанет от России, спрячется у мусоропровода внутри и будет там заниматься спасением России.

Возможно, даже спасёт.

Публикации Нинель Яркевич

Виталий МАМАЙ
URBI ET ORBI (ГОРОДУ И МИРУ)

АГАДА́ (LET MY PEOPLE GO)

Над кромкой Иудейских гор заря.
Но темнота, и холод, и промозглость
ещё сопротивляются, царя
в остатках форта древнего царя...
Из окон раздаётся Go down, Moses,
труба Луи сгоняет сизаря
с одной из плоских невысоких крыш.
Край неба ясен, яркок, медно-рыж,
пророчит день — из ветреных, хороших,
прозрачных дней с дымком от жжёных крошек,
из тех, что наступают раз в году,
из тех, когда читает Агаду
потомок беспокойный Моисеев,
о распрях эллинистов и ессеев
под светлый праздник позабыв едва...
Как остро в этот миг звучат слова
из вечного молитвенного свода,
как на зубах песком хрустит свобода
и снова расступаются моря,
дно обнажая, камни, якоря
да тычущие пальцами рулей
в бездонность неба рёбра кораблей,
и никому не кажутся простыми
ни сорок лет, ни сорок дней в пустыне...

Но, схваченное праздничной тесьмой,
минует время, выйдет день восьмой,
за ним вернутся будни, и тогда
на полку встанет на́ год Агада,
и дух свободы, как во время оно,
оха́ют и вожди, и холоуи...
Но ты сквозь атмосферные слои,
сквозь время дуй в трубу свою, Луи,
да так, чтоб донеслось до фараона.

САЙМОН

...Игнорируя синагогу, Саймон молится у стены.
Саймон больше не верит Богу со времён мировой войны.
Он для Саймона кровью пьян.

От чекистских расстрельных ям
до Берлина с вождём, который сделал идолом крематорий,
как же часто и как же много крови льют во владеньях Бога...
...Саймон молится у стены. Все родные унесены
той войной. Не протянешь рук им.

Равнодушный кирпичный Бруклин,
слёз следы на пигментных пятнах,

слов обрывочных и невнятных
шорох тонет в машинном гаме, листья носятся под ногами,
залит светом внутри драгстор, осень, Саймону скоро сто,
сын двадцатого века Саймон,

двадцать первый оформлен займом,
сколько лет — и всё войны, войны, человека не победишь...
...Как бы мама была довольна тем, что Сёмка прочёл кадиш.¹

¹ Кадиш (*арам.*) — еврейская молитва, в одной из форм поминальная.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Какие краски, боже мой, какие кисти!
Как галеон, что чудом выжил при конкисте,
грузёный золотом, под мерное стаккато
прибойных волн плывёт на заднике заката
большое облако, темнеет, иссякая,
пространство с севера на юг пересекая,
плывёт бесснежную, безветренной зимою,
плывёт по греческому Средиземноморью.
Какое время, боже мой, какие нравы!
Кинжалы боле не в ходу, плащи, отравы,
иное в моде амплуа, другая роль... Да,
прошли те дни, где воин был важней герольда,
где лучник был стократ ценней жреца-проныры,
не те красавицы пошли, не те турниры,
и что осталось в этой эре безлошадной,
как не бездумно созерцать, скажи, глашатай...
Какие ритмы, боже мой, какие ноты!
Язык становится сухим, ушли длинноты,
никто не нижет больше бусы да мониста,
зануда-писарь напрочь выжил романиста,
удел стареющих шутов теперь не в схиме,
их выбирают королями шутовскими,
но что над этим горевать, судьбу итожа...
Остались те же облака, и море то же,
солёный воздух, рваных мыслей ахинея,
и солнце снова тонет где-то в Пиренеях,
и что ему до наших войн, до кривды-правды...
Невольно в голову взбредёт, что Шпенглер прав был,
что все пути предрешены, ходы и тропы,
и это всё-таки закат... Закат Европы.

ОКРЕСТНОСТИ НАЗАРЕТА. РОЖДЕСТВО

Станный для диктора
радионовостей иврит,
угловатый, с налётом
халебского акцента.
Где-то перед прогнозом
погоды он говорит,
что из-за праздника
въезд в Назарет закрыт,
пробка
от перекрёстка ха-Мусахим
до центра,
и после этого о погоде...
Погода, мол,
полностью характерная для сезона.
Кстати, простуда?
Поможет — о чудо! —
не сам Господь,
но его парацетамол,
если купить панацею
в аптечной сети Ицика Мосензона.
Вроде так просто —
и всё же немного жаль.
Раньше казалось —
и жизнь, и простуда
сложней и глубже.
В пробке сигналият,
разноязыко кричат: «Езжай!»
Годы не возвращаются,
как их ни провожай.
Краешек неба с крестом
отражается и в придорожной луже,
и в лимузине,
и в зеркале старой Субару...

На ней-то, похоже, с лет
сорок местные дэвы
лепёшки свои месили.
И пацанёнок глазастый
вдоль пробки
куда-то торопится на осле.
Жаль, не на белом осле месиии.

Июнь

Город большая сцена, в городе тридцать один в тени,
кто бы ты ни был, механик светила, действуй, закатывай,
не тяни,
бог ты, творец, судия ты, неважно, да хоть и чёрт,
только крути лебёдку, иначе город расплавится и стечёт
в море, дымящийся, будто в плоской посудине огненная руда.
Морю давно не впервой проглатывать города,
море не мы, оно не мечтает на несколько лет вперёд.
Море однажды навечно все города отберёт,
но в этот вечер оно котёнком — трогателен, но резв —
ластится к берегу, тихо мурлычет, трётся о волнорез,
неторопливый бриз треплет радужный флаг над кафе «Ханой»,
солнце меняет угол атаки, красит фасады хной,
время бежит быстрее, как ни гонись за ним,
время съедает не только нас, но, видимо, и денем,
ибо шорты на девушках, загорелых и всесезонных,
с каждым летом короче, и скоро ходить без оных
будут, или от шорт останется только пояс...
Девушки, впрочем, ходят, не беспокоясь,
так, как они, улыбается только счастливая голь и юнь...
Город большая сцена. На сцене идёт июнь.

Н.В.

*«Если бы Вы знали, с какою радостью
я бросил Швейцарию и полетел в мою
душеньку, в мою красавицу Италию».*

Н.В. Гоголь

Небо бездонно, счастье бездомно... Ах, Николай Васильич,
душенька ваша, красавица-донна, bella Italia сиречь,
в славе и в сраме, в борделе и храме тучна и плодovита,
вместе со всеми своими дарами снова у ног пиита.
Виа Систина, церковь, вестимо, лестница вниз, на площадь,
полдень блаженнее Августина, ветер листву полощет.
Столик, чернила, судьба очинила перья, влекла по миру...
Это ль несчастье — не возвращаться в Северную Пальмиру?
«Мёртвые души». Давят и душат нравы Петрова града.
Жить под жандармом... В Риме задаром можно дышать. И правда,
те же здесь сини, в отчизне Россини, звёзды видать в криницах...
Кто виноват, что о жизни России пишется в заграницах?
Суетность века, кофе у «Греко», вязкое, непростое
бытописание имярека не подорвёт устоев,
косность и жадность, и беспардонность сгинут не в одночасье...
Неба бездонность. Даже бездомность...
Здесь и бездомность — счастье.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

У царя шесть десятков жён и восемьдесят наложниц,
хохотушек, затейниц, певиц, танцовщиц, безбожниц,
у царя и дворец, и войско, и деньги, и тонкий льняной хитон.
На рассвете, когда тоска режет сердце острее ножниц,
закипает смола в преисподней и явственно тянет серным,
он идёт к своим длинноногим сернам
и пасёт это стадо. Усердно пасёт притом.
У царя есть власть. И она не кажется лишней цацкой.
Вот на днях принимал послов от царицы Савской,
козлоногой, по слухам, но умной и жаждущей ласки царской...
Что ни день, у царя дела.
И ночами он тоже не спит, радея
о народе, о благе для Иудеи,
но не о любви, даже если бы и была.
Где-то рядом с дворцом, в садах, свежа, весела, умыта
предрассветной росой, смеётся юная Суламита.
Ей тринадцать. И мир её светел. Вчера, к тому же,
мать сказала, что надо бы думать уже о муже.
Суламита смешно и задумчиво морщит нос,
глядя на облака. И откуда их ветер нёс,
из моавской земли или из Эдома?
Ах, сидела бы ты, Суламита, дома,
не глядела на облака. Не в них
прочитается твой жених,
не вольётся и в плеск ручья...
Суламита, ещё ничья,
слушай Бога ли, мудреца ль,
только не ходи рядом с той дорогой,
по которой поедет царь...

URBI ET ORBI

Может быть, это конец времён. Или же
только начало иных, совершенно иных многоборий.
Пламя свечей сегодня привычно вылижет
тысячелетние тени в величественном соборе.
Urbi et orbi, толпой подхвачено и усилено,
переплывёт из собора на площадь и в мир,
во дворцы и хижины.
Но ни один конклав, как, впрочем, и ни один консилиум,
не исцелял больных, не воскрешал из мёртвых,
не утешал обиженных.
Разум, конечно, светильник, только увлётся генами и бозонами.
Зло тем временем обрастает ракетами, телеканалами и полками,
зло всё богаче, всесильнее, организованней...
А добро остаётся всё с теми же голыми кулаками.
Может быть, это конец времён. Но если в свечах,
и в шелках, и в золоте
может ещё отразиться мир совершенно другой,
грязный, опасный, нищий —
чёрт побери, делайте что-то, бейте в колокола,
организовывайте,
ибо лодка одна, и если она окажется
кверху днищем...

Некому будет даже предаться скорби.
Urbi et orbi.

ОБ АВТОРЕ

Виталий Мамай родился в 1971 году в Кременчуге (Украина). Работал в периодических изданиях, занимался рекламой. Журналист, переводчик. С 1998 года живёт в Израиле, в Тель-Авиве.

Сборники стихов «Фигура речи» (2014), «Элиев мост» (2017). Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Новый Берег», «Этажи», «Эмигрантская лира», «Перископ».

Давид ГАЙ ДЖЕКПОТ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

ОТ РЕДАКЦИИ

Герой «Джекпота» волей обстоятельств в 90-е годы эмигрировал из России в США. Сменив профессию (в Москве Константин Ситников был сценаристом научно-популярного кино), он, казалось бы, достаточно благополучно живёт в Нью-Йорке.

Однако, натура сложная, импульсивная, он не адаптируется к окружающей его действительности и в то же время отторгает многое, что происходит на родине. Словно отплыл от одного берега и не приплыл к другому.

И надо же такому случиться: он выигрывает в лотерею главный приз — джекпот, в одночасье став миллионером... Автор описывает последние три года жизни героя, исполненные неожиданных, порой невероятных, головокружительных, событий. Трата денег, любовные истории, путешествия... — и сочинение книги о проживаемом моменте. В романе философские размышления соседствуют с элементами детектива.

Хотя действие романа происходит в 90-е и в начале двухтысячных, текст словно написан о дне сегодняшнем. С некоторыми мыслями героя кое-кто из читателей, возможно, не согласится, но звучат они остро актуально.

Роман подготовлен к печати известным издательством «Алетейя» (Санкт-Петербург, Россия).

Yes!!! Да, да, да!!! Толчком и обмиранием, горла судорожным перехватом, ударами пульса, гулками и редкими, как при брадикардии, выпученными, все ещё не верящими зрачками — провозвестниками невозможного, неправдоподобного, несбыточного, примстившегося — и уже реального. Чуда. Три карты, три карты... Германн здесь ни при чём. Здесь — Шесть Цифр. Слепой жребий, прихоть судьбы, выбор из десятков миллионов, лежащих спать и просыпающихся с одной и той же потаённой мыслью: а вдруг?.. Алчущих, страждущих, надеющихся. Почему выбор пал на меня, почему? Награда за долготерпение, веру в успех? Другие куда больше меня терпели, верили. Я и играл-то словно понарошку, по привычке, без азарта и страсти, вяло-безучастно. Компенсация за жизненные потери, утраты? Жена — единственная подлинная утрата, никакими деньгами, даже такими сумасшедшими, не возместить. Остальное — не в счёт. Проверка, испытание, дьявольский план искушения? Но кому я нужен там, наверху? Пылинка макрокосма. Узрели меня, выделили из мириад таких же пылинок ради чего, с какой целью? *I always knew I would win!* (Я всегда знал, что выиграю!) Но я-то не знал! Не ведал, не рассчитывал, не предполагал. Следовательно, выделили по ошибке. По недосмотру небесной канцелярии. Следовательно, нужно остерегаться. Всех и вся. Машин на дорогах. Самолётов в небе. Кораблей в море. Прохожих в переулках. Сосулек и кирпичей. Дальних странствий. Коротких свиданий. Врачей и лекарств. Еды в ресторанах. Женщин и мужчин. Стариков и детей. Собак и лошадей. Правды и лжи. Признаний и утаиваний. Ножей и пистолетов. Ненависти и любви. Жизни и смерти. И всего остального, могущего в любой миг обернуться *расплатой*. Ибо всё в нашем мире уравновешено, и если даётся тебе непомерно много, то и отнимается столько же.

Ну, братец, это ты загнул. По-твоему, нет баловней судьбы, одариваемых сверх меры просто так, ни за что? Есть, и немало. Впрочем, куда меньше, чем тех, на кого несчастья сваливаются беспричинно, одно за другим. Ты включён в разряд счастливицков. Цени и перестань мерехлюндии разводить. Радуйся жизни, возможностей у тебя теперь — хоть отбавляй.

Чем напряжённей напряжение, тем расслабленней расслабление, и чем круглее угол, тем углее круг...

Он просыпается без омерзительного верещания заходящегося в прорклизме будильника. Чувство времени развито в нём отменно, он никогда никуда не опаздывает и потому никогда никуда не спешит. Скучное достоинство, рад бы променять на разгильдяйство, расхлябанность, игривую легкомысленность — до определённого предела, конечно, — ан не выходит. В святящемся окошке таймера видеомагнитофона — без пяти семь. Других хронометров в спальне нет, за исключением часов наручных на прикроватном трюмо, лень за ними вялую со сна руку тянуть, и надобности нет — таймер всё показывает. На самом деле без пяти шесть: когда сезонное время менялось, час добавился, поправлять не стал, ну и ладно, так удобнее даже. Приятно сознавать, что в окружающем тебя замкнутом мире на шестьдесят минут, три тысячи шестьсот секунд меньше, а значит, возможность появляется, в постели донеживаясь, впустить разрозненные мыслишки в голову.

Чем напряжённей напряжение... Экая белиберда. Кто придумал, интересно? И что в виду имел — работу, секс? Наверное, не работу. По поводу работы зубоскалить — вроде как дурью маяться. Наличие её даёт в Америке возможность худо-бедно жить. Любить её не за что, однако всуе лучше не упоминать, а то, не дай бог, потеряешь. Секс — другое дело, тут сколько угодно лясы точи. В нём как в спорте: для победы иногда одного-двух сантиметров не хватает.

Тоска зелёная, неохота в госпиталь тащиться. В той стране, откуда он приехал, это больницей называют. А здесь — госпиталь. Больница от корня «боль». А госпиталь от какого корня? *На свете нет такой тоски, которой снег бы не вылечивал...* Когда выпадет снег в Нью-Йорке, и выпадет ли? Осень потрясающая стоит, совсем как в Подмосковье, по утрам сметает он с капота «Тойоты» жёлтые узорчатые листья. Листья падают с клена-ясеня... А по снегу соскучился. Какие были сугробы тогда в Переделкине! Решил попрощаться с Пастернаком, увязал по пояс, пробираясь к могиле у трёх сосен. Последняя зима перед отбытием в эмиграцию, девять лет назад. Раньше декабря снега в Нью-Йорке не жди. Где-нибудь перед Рождеством наверняка ураган обрушится, езда ужасная будет, если вообще машины с места стронутся. Для американцев снегопад концу света подобен.

Тем расслабленней расслабление... Враки. Не бывает расслабления, когда ты в капкане и выход один — через «не могу» учиться и работать, работать и учиться. Тому, что так далеко от сути твоей и что поминальным звоном звучит по прежней жизни. Технолог по радиоизо-

топной медицине. Брр... Тебе под полтинник, у тебя семья, ты самый старший в группе таких же иммигрантов: индусов, русских, филиппинцев, ещё там кого-то. Ты приехал и понял, что ничего не знаешь и не понимаешь в стране этой. В тебе страх угнезвился (который покинул, мнится, совсем недавно, а многих и вовсе не покидает). Что делать, чем заниматься? Не кропать же, как в России, сценарии научно-популярных фильмов — тут они без надобности. В «Новом русском слове» через две недели после приезда статью напечатал. На полосу. «Психоз» называлась. О состоянии умов в России. Семьдесят пять баксов гонорар. Плюнул и пошёл на курсы технологов. Один знакомый надоумил, спасибо ему.

...Дни несутся стремглав, одинаковые до омерзения. Костя почти не играет в лотерею. Порой пропускает по две недели, а это четыре розыгрыша. Купленное по случаю пособие некой Гейл Ховард для наивно верящих в систему идиотов он, перебирая содержимое полок, запрятывает подальше. Пусть вообще на глаза не попадается. Всю эту её пресловутую систему Костя наизусть знает. Комбинации составлять всегда из шести цифр, изучать выигравшие варианты и использовать наиболее часто встречающиеся цифры, избегать их повторения в двузначных числах, например 27 и 37, метать на единицу число, если в предыдущих выигрышах оно несколько раз присутствовало, скажем 15 на 14 или 16, ну и прочая хрень. А главное, верить в удачу, в своё счастье. «Сила вашего воображения может влиять на хороший или плохой результат...» Вот так. И уж категорически не советует Гейл уповать на слепой компьютерный выбор — «квик пик». Понятно, если играть «квик пик», то советы и рекомендации крашеной блондинки (так она смотрится на фотографии) смело можно похерить. Что Костя и делает. В те дни, когда всё же не забывает сыграть, даёт киоскёру только одну комбинацию: 5, 15, 21, 24, 29, 31, остальные же пять — только «квик пик», по воле компьютера. Тратит Костя на это три доллара.

На сей раз вновь забывает проверить результат в своём киоске. Раньше за ним такое водилось крайне редко — видно, полностью разувверился в успехе. На работе спохватывается и осаживает себя — чего волноваться, всё едино впустую.

Газеты в этот день он не покупает, так что проверить результат негде. Поедет домой — проверит. Домой Костя попадает в половине десятого — герлфренд уговорила в кино пойти. Киоск закрыт. Утром бежит в корейскую лавку неподалёку — обед без свежих овощей он

не признаёт. Набивает пакеты помидорами, огурцами, перцем и зеленью. На неделю хватит. И опять в спешке забывает в киоск заскочить. Только после работы, на обратном пути домой, всхомянулся. Останавливается у киоска, берёт желто-розовую бумажку и в карман куртки — посмотрит дома.

И только после ужина, на диване напротив телевизора, достаёт Костя две бумажки одинакового колера и начинает колонки цифр сверять. Глаз автоматически, в доли секунды, фиксирует: две цифры угадал, одну угадал, опять одну, а тут и вовсе пустышка. Пятая комбинация, «квик пик», предпоследняя. Что-то мерещится. Ну да, первые три цифры вроде совпадают с выигрышными. Ещё раз проверяет — всё точно. Смешное совпадение, так не бывает, Гейл Ховард начисто такую возможность отрицает, а тут против правил: 12, 13, 14. Такое только бездушная железка по имени компьютер выдать может. Человеку даже спяну в голову не придёт подряд идущие цифры расположить. Жазимает большим пальцем правой руки остальные цифры. До этого камерой в радужной оболочке в тысячную долю секунды успевает схватить, запечатлеть схожесть, идентичность результата и его, Кости, комбинации, вслепую машиной отобранной, но как поверить?! Невозможно поверить. Так не бывает. Я ошибся, расхолаживает себя, чтобы после не переживать, по миллиметрику отодвигает подушечку пальца, вот уже ясно проступают очертания четвёртой цифры: 2. Ещё миллиметрик, ещё — и к двойке четвёрка прибавляется. 24. Чёрт возьми, совпадает! Следующая выигрышная цифра — 37. Подушечка пальца неслышно ползёт, дыхание останавливается. Совпадает! С ума сойти! Остаётся последняя. Боже, неужто ты есть на свете?! Есть, несомненно есть, иначе был бы ты, Константин Ильич Ситников, уже мертвецом, не дожившим считанные часы до своего дня рождения, если бы не успели три года назад сделать тебе операцию на открытом сердце. Но чтобы так быть обласканным Божьей милостью... За что благодать, за какие такие заслуги перед человечеством?! Ползёт подушечка пальца, а изнутри рвётся сумасшедшее, на части раздирающее ликование.

Кружит Костя по комнате растерянно, что-то невнятное, несвязное бормочет, грудь со шрамиком посередине распирают восторг и невысказанный, неведомый ранее сладкий ужас. Не знает, что делать, звонить ли кому, бежать ли куда. Бумажку желто-розовую на ладони держит, не знает, где ей место найти. Снова и снова сверяет цифры:

слева направо и наоборот. Нет, не сон это... Звонить. Куда, кому? Дочери, подруге своей из госпиталя, другу Дане — редактору огромной нью-йоркской русской газеты? Потом, потом. Сколько же выиграл? В квиточке, или как там его назвать, оглушающая цифра — 27 миллионов. Одному ему, единственному, счастье выпало, в билете отражено.

Решает позвонить дочери. Долго готовится к разговору, прикидывает, какой фразой начать, оглушить сразу или подвести постепенно. Так ни на чём и не останавливается, набирает Динин номер.

— Привет, дочка!

— Хай, пап, как дела? Как себя чувствуешь? Сердце не беспокоит? Между прочим, ты обещал отфаксать формулу счастья. Забыл, небось?

— Не забыл. Послезавтра pošлю, она у меня в госпитале.

— А почему не завтра? — Дотошная Дина желает счастье получить безотлагательно.

Вычитал Костя в газете про английских учёных, формулу счастья открывших. Опросили тысячу гавриков и вывели формулу. К слову пришлось, рассказывает Дине, та загорается: вынь да положи немедленно. А он замотался и не послал по факсу. Вспоминает дочура сейчас, считает должным попенять.

— Завтра у меня отгул. Кстати, ты сидишь или стоишь? Сядь поудобнее, обопришь о что-нибудь и послушай.

— Не томи, у меня дел куча, надо ужин мужикам готовить.

— Подождут мужики. Тут такое дело... Понимаешь, я... как бы это сказать... в общем, двадцать семь миллионов выиграл. В лотерею. Джекпот, словом.

На другом конце провода недовольное сопение:

— Нашёл время для шуток. Говорю: занята безумно, а ты с ерундой всякой.

— Дина, я серьёзно, я абсолютно серьёзно. Ты — дочь миллионера.

Пауза.

— Пап, ты что? В самом деле? — никак не может врубиться. — Двадцать семь? Нет, ты шутишь... Марио, Марио!.. — И далее на английском: — Иди сюда скорей! Да скорей же! — И как из пулемёта, выстреливает новость сногшибательную — Костя слышит в трубку. — И когда получишь? — восторженно и одновременно уже делово.

— Полагаю, в течение месяца. Проверят билет — не фальшивый ли, разные там бюрократические штуки-дряки. Только не двадцать семь, а девять получу.

— Ну, папка, ты — гигант! — не может успокоиться дочь. — Анбиливэбл! Невероятно! Марио передаёт тебе поздравления. А почему только девять?

— Половину сразу забирают, потому что я на кэш (наличные) играл. Если по-другому играть, небольшую часть сразу дают, а оставшийся выигрыш на равные доли делят и выплачивают в течение двадцати шести лет. Я сразу все деньги получу, но минус половину. Ещё часть на налоги уйдёт. Вот и выйдет девять. Примерно, конечно.

— Ну и правильно! Кто знает, проживём ли столько.

Чувствует, что сморозила глупость — Костя, естественно, не проживёт, пытается загладить и опять ликующе:

— Ну, папка, ты молодец! Поздравляю! И мои поздравляют! Глеб, дедушка двадцать семь миллионов выиграл. В лото. Представляешь?!

После ахов и охов договариваются в ближайшее воскресенье увидеться, поговорить, обсудить. О чём говорить и что обсудить — ежу понятно. Дине её доля причитается. И большая. Сколько, Костя ещё не решил.

Следующий день, выходной, уходит у Кости на выяснение, как дальше с билетом поступать. На Интернетe находит сайт нью-йоркской лотереи, образец формы для заполнения, распечатывает его. Можно, судя по объяснениям, форму получить и у киоскёра, билет счастливый продавшего, однако Костя предпочитает безличный Интернет. Не хочет светиться, нигде и никак.

Заполняет форму, обращает внимание на сноску: оказывается, по правилам обязан он принять участие в пресс-конференции, коль чиновники сочтут сие необходимым. Победитель также не имеет права препятствовать фото- и видеосъёмкам в целях рекламы. Вот тебе и «не светиться»... Ладно, подписывай, Костя, и не ломай голову: как будет, так будет. Правила не изменишь.

Вкладывает форму в конверт, кладёт туда билет и покамест не заклеивает. Звонит в городской офис лотереи, чтобы уточнить: письмом отправлять или лично можно доставить. Только письмом, говорят. Бежит на почту, заверяет нотариально подпись свою — процедура минутная, заклеивает конверт, пишет адрес: *New York Lottery, P. O. Box 7533, Schenectady, NY 12301-7533*, приклеивает две марки и опускает в ящик.

С Богом, как говорится.

В воскресенье Дина приезжает. Одна. Чмокает Костю в щеку, заливаётся смехом, не сидит на месте, скачет по комнате, не своя какая-то. Нервная реакция, видно. Неотразимо красива дочь, только зачем-то волосы подрезала. Взбудораженная, радостно-взвинченная, то и дело хохочет, а в глазах насторожённость, взгляд вопрошающий, испытующий. Костя показывает копию билета, бледно-розовый квиточек с результатом, вырезку из «Поста» с номерами джекпота. Смотрит Дина, сравнивает, колокольчато заливаётся, снова целует Костю.

За эти пару дней решил Костя — Дине и внуку (ну и зятю Марио, конечно) даст два миллиона. Почему столько, сам не знает. Втемяшилось — и всё. Объявляет и видит, как улыбка Динина натянутой становится, взгляд уже не вопрошающий, а новый, сухой, строгий даже.

— А налоги? — уточняет делово. Вроде смиряется с суммой, но, кажется, не сильно довольна.

Более всего хотел бы Костя избежать денежных выяснений. Нет у него аргументов относительно суммы, Дине и её семейству предназначенных. И, однако, скверно себя почувствует, униженно, если дочь, презрев приличия, начнёт канючить, требовать больше. Сильнее, острее разочарования быть не может. Неужто кошка между ними пробежит из-за этих миллионов? Боится этого Костя, ибо знает: Дина деньги любит. Как любила их Полина. Жена покойная, правда, никогда не выговаривала Косте и не намекала даже, что мало в дом приносит. Выговаривать, кстати, и не за что было — только в первые лет десять совместной жизни получка инженерная была, после же крутился Костя на четырёх студиях, кроме научно-популярных лент, учебные заказы лепил, не чурался. Часто до шестисот выходило в месяц, меньше четырёх сотен — никогда. Но видел, как Полина расцветала, когда показывал сберкнижку с новыми начислениями. А тратить не очень любила. Прижимистая. Дина в неё. Вот и сейчас налогами интересуется. Хорошо, не задаёт иных вопросов. Можно дух перевести.

На всякий случай у Кости ответ был заранее приготовлен — специально со своим бухгалтером говорил. Эзопом, конечно. Тот разъяснил: налоги платить Косте придётся за все подарки денежные, начиная с десяти тысяч.

— Может, выигрыш на двоих, на троих оформить? Тогда тэксы меньше (налоги, значит), — Дина о своём.

— Так не ты же их платишь, Диночка. И потом поздно — я билет уже отправил.

Халява с неба свалилась, а она налогами озабочена. Этого не шибко практичному Косте не понять. Хватит дочери денег до конца жизни, и внуку останется. И потом, Костя завещание составит — всё Дине и Глебу. Как это у Рабле... «Денег у меня нет, долгов много, всё остальное раздайте бедным...» Здесь всё наоборот. Про завещание словно бы случайно обмолвливается. И первый удар ниже пояса: не произносит Дина приличествующих моменту слов касательно завещания — дескать, чего об этом думать, ещё успеется, ты вон какой у нас молодец или что-то в этом роде (принято так меж людьми, тем более близкими), — а совсем об ином, кровно её интересующем:

— А если женишься?

Да, не слишком тактично. Прежде про гипотетическую женитьбу Костину не заговаривала, ни словом, ни намёком. Сейчас обеспокоена самой возможностью такого оборота.

— На ком, доченька? Нет вокруг достойных претенденток на обладание таким сокровищем, как твой отец, — и ловит себя на двусмысленности сказанного.

— Теперь как раз и найдутся, — Дина не упускает момента.

Дина интересуется, что Костя делать будет с оставшимися деньгами. Пожимает плечами — ещё не знает. Купит жильё, дачу, машину хорошую.

— Только со сток-маркетом осторожнее, там сейчас ловить нечего.

Умница дочка, печётся об отцовских миллионах, то бишь о своих. Нормально. В душе Костя другого и не ожидал.

В конце разговора показывает Дине листочек с ожидаемой ею формулой счастья. По факсу не перегнал, честно сказать, забыл, отдаёт лично в руки дочкины. Дина берёт и внимательно, по-детски шевеля губами, читает. Потом хмыкает:

— Я думала, это серьёзно, а это... ерунда какая-то.

Ну, ерундой Костя это не назвал бы. Всё ж таки опросили англичане несколько тысяч человек, на ответах формулу вывели. Помнит Костя наизусть: $P + (5 \times E) + (3 \times H)$. P означает личностную характеристику: мировоззрение, возможность адаптироваться к новым условиям, способность переносить невзгоды; E — бытие, то есть состояние здоровья, финансовую стабильность, наличие друзей и пр.; H — индекс высших стандартов: самоуважения, амбиций и даже чувства юмора. Не ерунда, составляющие верные, однако формулы всяческие перечёркивает кантовское: «Счастье есть идеал не разума, а воображения». Спроси

себя, счастлив ли ты, и ты перестанешь быть счастливым. Между счастьем и несчастьем — пропасть, в ней мы и живём.

— Без денег счастья не бывает, — резюмирует Дина, возвращая листочек как бы за ненадобностью.

...Странно, непривычно не вставать спозаранок, не варить кашу, не мчаться на работу, с которой он уволился. Воистину, праздный человек есть корова, поедающая время, как жвачку. Набраться терпения: всё самое важное и значительное в Костиной жизни лишь начинается. Но разве Костя бездельничает? День-деньской занят: связывается с риэлторами, подыскивающими жильё ему в Манхэттене (только там, и нигде больше, решает окончательно), знакомый владелец дачи в Поконо помогает с приобретением дома по соседству. Костя договаривается о покупке «BMW» последней модели. И страховку медицинскую оформляет — «амбрелла» называется, зонтик. Покрывает любые заболевания, сколь угодно долгое пребывание в госпитале, лекарства. Дорогушая, под тысячу ежемесячно, он ведь в зоне риска, учитывая операцию на сердце и три бэйпаса. Позволить может себе иметь амбреллу. Он *всё может* себе позволить. Дел, короче, невпроворот. А что не встаёт без пяти шесть — так нужда отпала.

И ещё одно занятие удовольствие доставляет и одновременно сомнения рождает — список составлять тех, кому он деньгами поможет. Готов на это до полумиллиона пожертвовать. Начинает вписывать в блокнот имена близких друзей и останавливается. Почему эти, а не другие? Понятно — по степени близости Кости к ним. В конце концов, он же дарит, жертвует, ему и определять. Правильно. Почему одному такая сумма, а другому в два раза меньше? И этому находит Костя объяснение: в зависимости от их достатка. Главное, он не милостыню подаёт. В сущности, милостыня — просто деньги свои раздавать, быть добрым, щедрым. Но кто сказал, что твои это, Костя, деньги? Разве не высшая сила слепо или зряче — сие значения не имеет — выбрала тебя и сверх меры одарила? Следовательно, доверено тебе потратить деньги на тех, кто нуждается, а не просто раздать первым встречным-поперечным. Он и не раздаёт. Значит, поступает верно.

Июнь-июль уходят у Кости на покупку жилья. Не сходит он с ума, не перебирает без конца варианты, не привередничает, памятуя истину: лучшее — враг хорошего. Закончить процедуру обустройства по

возможности скорее, освободиться от груза неизбежных обременительных забот и начать жить так, как хочется, представляется. Как — он ещё не знает, но страстно жаждет момент этот приблизить.

Из предложенных вариантов в нижнем Манхэттене квартиру выбирает на Даунинг стрит. В самом названии приманчивость, созвучие с Европой, будто не в Нью-Йорке находится, а в Лондоне, с первого взгляда Костю влюбившем в себя. Улица вся в зелени, уютная, домашняя, короткая, между Ворик с одной стороны и Бликер и 6-й авеню с другой. Дома невысокие, в красном кирпиче и тоже на лондонские чем-то смахивают, во всяком случае, Косте так представляется.

С вашими деньгами и польститься на этот район? — кто-то наверняка головой покрутит и губы скривит, за непрактичного чудака Костю примет, а он рад-радёшенек, и нет ему никакого дела до мнения чужого.

Квартира — загляденье: высокие, под четыре метра, потолки, огромная, овальной формы гостиная-зала, три спальни, одна его, Кости, вторая гостевая, третью оборудует под кабинет, купит или на заказ сделает массивный антикварный письменный стол и тёмные шкафы книжные под потолок. В хорошем состоянии квартира, достаточно косметического ремонта — покрасить, отциклевать, и не более того; жил до него тут какой-то финансист с Уолл-стрит, вышел на пенсию, переехал в Сан-Диего, где, говорят, лучший в Америке климат, и решил продать жильё нью-йоркское.

Обходится покупка в миллион восемьсот кругом-бегом. Заём в банке под проценты Косте, слава богу, брать не нужно — оплачивает сразу и полностью, оттого и экономит на цене.

И с Поконо вопрос решается — недорогая дача деревянная, опять-таки без претензий, одноэтажная, но в отличном состоянии, а главное, наособицу, посреди леса. И снова не обременяет себя Костя выбором мучительным: нравится — не нравится; берёт, что предлагают, убеждённый — это как раз то, что ищет. Сам собой доволен: в этом смысле лёгкий он человек, во главу угла обустройство быта никогда не ставил, ни в Москве, ни здесь. Неохота время и нервы тратить на ерунду всякую.

В один из вечеров навещает его Даня. Садятся в гостиной у огромного, плоского, в полстены телевизора, Костя гоняет программы,

ищет какой-нибудь фильм, Дания досадливо машет: выключай, ничего путного всё равно не показывают, и неожиданно:

— А ты по-прежнему монашествуешь, бабой в доме не пахнет. Не надоело?

— А тебе?

— Увы, всё не те попадают. Я уж разувериваться начал в себе и в них.

— Есть идеи по моему поводу?— спрашивает без энтузиазма, просто так.

— Надо начать тебя в свет выводить, не то зачахнешь в своём Манхэттене в отрыве от русской действительности. Я пораскину сети. Посмотри, кстати, объявления в нашей газете. И со службами знакомств стоит связаться. Хотя... Имею кое-какой опыт по этой части: нормальных женщин там не найти. Обращаются туда немолодые, без особых достоинств. Большинство—корыстные, хотят, чтобы их содержали. Ты можешь себе позволить, только зачем... Возраст свой обязательно убавляют лет на пять-семь. И дуры набитые, тебе с ними скучно будет. Меня с одной познакомили, в первый раз, понятно, не дала—надо форс держать, во второй осталась ночевать, в разгар утех любовных шепчет: «Ляжь на меня...»

— Не все же такие, есть, наверное, и красивые, умные.

— Наверное... Только я не встречал. Дам тебе совет. Жену ты по объявлениям и у маклеров брачных не найдёшь. Да и зачем тебе жена? С твоими возможностями... Дай объявление сам. Мол, солидный джентльмен ищет молодую, красивую, сексапильную для приятного времяпрепровождения. Увидишь, сколько желающих откликнется.

Сказал—и забыл. А в Костю запало. И вправду, почему не попробовать? И в тот же вечер, после ухода Дани, безотлагательно составляет объявление. Текст выглядит так: «Состоятельный русский американец ищет молодую леди для совместного посещения театров, концертов, музеев и для зарубежных путешествий. Телефон...» Даёт свой мобильник: 917 и так далее. Звонит Дане, тот уже успел вернуться в свой Бруклин, зачитывает текст, друг-редактор в целом одобряет: «Судя по оперативности исполнения, идея моя зажгла героя-любownika», предлагает убрать «музеи»—«совсем уж смешно выглядит, ты ещё библиотеки упомяни...». Убрать так убрать. И насчёт «молодой леди» выражает сомнения: «Надо конкретнее, иначе сорокалетние кинутся, за молодых захотят сойти. Как Жванецкий говаривал: «Все жен-

щины делятся на молодых и остальных». «Остальные» тебе ни к чему. Пиши — «до 25 лет», не ошибёшься. Всё равно пять-семь лет партнёрши твои будущие убавят от возраста своего, как пить дать. И вычурное «леди» замени на нежное «барышня» — так неожиданнее, будет в глаза бросаться. Таким слогом наша публика не изъясняется...»

Костя после короткого раздумья соглашается.

Даня записывает окончательный вариант и обещает поставить объявление в ближайший номер. Предложение продублировать текст в других русских газетах — «Курьере», например, или «Базаре» — отвергает: «Нас читают куда больше, а уж раздел «Он и Она» в лупу рассматривают. Увидишь — шквал звонков будет».

На следующей неделе в пятницу выходит газета с объявлением — друг памятлив, звонит накануне, предупреждает: «Готовься к атаке...»

Первый звонок раздаётся около десяти утра, когда Костя крутит педали велосипеда в фитнес-клубе. Спрыгивает с тренажёра, берёт мобильник и слышит нагло-уверенный, низковатый голос: «Я по объявлению. Ищете эскорт-сервис? Я вам подойду — мне двадцать три, блондинка, роста выше среднего, грудь, талия и остальное как положено, звать Дина. Запишите мой номер...»

Костя, немного растерянный, записывает телефон, ни о чём не спрашивает и обещает связаться в ближайшие дни. У звонившей такое же имя, как у его дочери. Странное совпадение. Она сказала — «эскорт-сервис»... Костя хмыкает.

До полудня звонков нет, зато потом, особенно к вечеру, мобильник верещит как резаный, не переставая. Костя не успевает записывать. Судя по именам, звонят в основном русские или еврейки — поди их разбери; у некоторых акцент, выдающий прибалтик и уроженок Кавказа; все молодые, и все начинают разговор с описания своей фигуры. Для барышень этих объявление ясно и понятно звучит, никаких иллюзий относительно отводимой им роли, а потому и берут быка за рога. Кстати, никто почему-то не интересуется, сколько лет «состоятельному русскому американцу», как выглядит он, высок ли, худ, лыс или с шевелюрой. Барышень это, похоже, вовсе не волнует.

Поначалу скованный, к шестому-седьмому разговору Костя входит в роль, спрашивает, задаёт достаточно откровенные вопросы в части рекламируемого товара: про всякие там объёмы, цвет волос, глаз и прочее. Род игры, довольно стыдный, прежде вовсе не свойственный ему, но начинающий нравиться своей необычностью.

Многие сразу же хотят выяснить условия работы: сколько раз в неделю, только ли вечером (кое-кто работает и может эскортировать лишь во внеслужебное время), долгими ли будут зарубежные поездки, а главное, сколько заказчик заплатит.

Постепенно Костя начинает испытывать гнетущую усталость. Надоедает слушать и спрашивать одно и то же. Выключает мобильник и только к полуночи проверяет «месседжи». В течение дня позвонили почти три десятка «барышень» — такого Костя и вообразить не мог, несмотря на предупреждения Данины. Увы, голоса их, набор фраз, интонация выказывают особ вполне определённого толка, и наивно рассчитывать на другое. А, собственно, что тебе надобно от них? — спрашивает себя Костя и пожимает плечами: того же, что и всем мужикам, однако... Он не в состоянии выразить бродящие в голове мысли, облечь их в жёсткую, логически завершённую форму. Тем не менее, если откровенно, он желал бы выбрать из этого обилия претенденток ту, с которой и вправду приятно делить досуг, получать радость не только в постели, но и в общении. На эту роль, сдаётся, ни одна из звонивших не годится. Выходит, напрасная затея? Но ведь не жену же он ищет — любовницу, свежую, красивую, насчёт же ума... Не ищет — покупает, поправляет себя, и в этом вся закавыка.

В следующие два дня звонки следуют довольно частые, но не столь напористые, как в пятницу. Потом активность барышень затухает. Костя просит Данила снять объявление, которое тот обещал держать в газете месяц. Нет надобности. С учётом сообщений на автоответчике в Костином списке 39 имён. И лишь четыре звонивших вызывают в нём несомненный интерес.

В отличие от прочих, две из них свои женские достоинства не расписывают, во всяком случае, начинают не с этого; их больше та часть будущих отношений привлекает, которая с недвусмысленным подтекстом объявления не связана, точнее, не является доминирующей. Одна, назвавшаяся Юлей, бывшая ленинградка, в порыве откровенности признаётся: обожает «Карнеги», Линкольн-центр, бывать же там не с кем — приятели её равнодушны к музыке. А вы, судя по вашему разговору, человек интеллигентный, делает незамысловатый комплимент Косте. Мне, правда, не двадцать пять, а тридцать два, возможно, вам это не столь важно... А вы Кисина слушали? Здорово, правда? Другая, Тося, киевлянка, та сразу предупреждает: её волнует не секс, то есть ей это, разумеется, не чуждо, однако гораздо заман-

живее познакомиться с достойным мужчиной, чьи интересы с её собственными совпадают, — здесь так мало интересующихся культурой, а может, просто я такая невезучая...

Третья вообще из другой оперы, стоит особняком. Низкий голос курильщицы, беспрестанно хохмит, довольно вульгарна, то ли под кайфом, то ли притворяется, но совсем не дура; быстро переходит на «ты», не боясь с самого начала составить о себе неблагоприятное впечатление. И вопросыки те ещё. А ты и впрямь богат? На чём сколотил капиталец — на нефти из России или на металле? Ну, значит, на недвижимости. Опять не угадала. Ты не жадный? Не люблю жадных мужиков. Не бойся, денег я у тебя не попрошу. Хочешь увидеться? Запиши мой мобильный... Как меня зовут? Что в вымени тебе моём... Какая я? Рыжая, высокая. Я выгляжу неплохо, но не часто. Шутка. Учти, я стою дорого, особенно в одежде. Какой цвет предпочитаю? Допустим, красный. Психологи установили: женщины, предпочитающие красный цвет, подсознательно хотят быть изнасилованными. Он промолчал, и я ему поверила...

Костя слегка дуреет от разговора. Ну и особа, с такой не соскучишься.

И ещё один звонок не проходит бесследно, выделившись из потока мути. Вылавливает Костя это странное сообщение на автоответчике. Тоненький, несчастненький юный голосочек, пичуга, как тут же окрещивает её Костя, излагает целую историю: «Здравствуйте! С вами говорит Лиза. Мне двадцать два, я с матерью приехала из Ставрополя три с половиной года назад. Мы выиграли грин-карту. Я работала хум-аттендент (помощницей по дому) у старухи, потом на стройке, потом диспетчером в кар-сервисе, сейчас ушла, ищу работу. Хочу поступить в колледж, но нет денег, я же не беженка, на меня льготы не распространяются. Я в Америке нигде не была, кроме как в Вашингтоне, ни во Флориде, нигде, ни разу не отдыхала. А так хочется поездить... Возьмите меня, пожалуйста, за границу, ну хоть разок. Я вам буду так благодарна! Я симпатичная, голубые глаза, русые длинные волосы, невысокая, правда, но ладненькая, если приоденусь, очень даже хорошо смотрюсь. Я вам не буду в тягость, вам приятно будет со мной. И ничего просить не стану — только бы одним глазком мир увидеть...»

Дважды прослушивает Костя сообщение, прежде чем стереть, голос Лизин что-то в нём трогает, колеблет, записывает он телефон с пометкой «пичуга» и пересказывает в тетрадке её монолог.

Следующие две недели на свидания уходят. Оказывается адовой работой, изнуряющей Костю настолько, что он в конце концов проклиная день, когда вознамерился злосчастное объявление дать. Выборочно вызванивает по списку и вызывает «барышень» на интервью, словно служебный отбор ведёт. Собственно, так и есть. Встречается с ними сравнительно недалеко от дома, у кинотеатра на углу Хаустон и Мерсер. Приходит сюда, как на работу, несколько раз в день. Трёх особенно заинтересовавших его решает держать про запас, а покамест знакомится и беседует с другими отозвавшимися.

Вначале тушуетя Костя, из-за отсутствия опыта расспрашивает вяло и неумело, приглашает отобедать и потом расстаётся, пообещав позвонить, твёрдо зная, что это первая и последняя встреча. Трата времени ни к каким результатам не приводит — «барышни» активно не нравятся, и дело не только в их внешности, за редкими исключениями рядовой, безликой, отштампованной. В глазах их читается всё, помимо смысла. Самооценки, однако, явно завышены, стремления же просты и понятны: не смотря ни на что, ни на где, ни на с кем, лишь бы были деньги. Некоторые, как в первый свой звонок-отклик, ведут торговлю, глядят недоверчиво: а не водит ли этот чужак миллионер их за нос — и чуть ли не требуют подтверждения его финансовой состоятельности, другие набивают цену, ломаются, прочие дают понять, что сразу согласны на всё. Троим Костя предлагает пойти к нему, одна отказывается, две соглашаются, и Костя убеждается: спать с проститутками не доставляет ему удовольствия. Он, впрочем, знал это и раньше.

К концу первой недели становится жёстче и проще: никаких долгих расспросов, рассусоливаний, ресторанов: десять минут — и вывод, как правило, неутешительный.

Кроме нескольких модельного типа светлоглазых дурочек-нелегалок, он ни на ком не останавливается. В концерты с ними ходить он не собирается, а если и пригласит, то, чтоб молча слушали и смотрели.

Отдохнув пару дней после выходов к кинотеатру, где он, кажется, намозолил глаза, Костя решает позвонить рыжей. Та откликается в своём игривом стиле: я думала, ты меня забыл или подцепил какую-нибудь тёлку, а я, прикрывши робким «нет» решительное «да», жду не дождусь, когда... — и так далее. Договариваются встретиться в пятницу в шесть вечера возле Рокфеллер-центра. Желание рыжей.

В условленный час он тут как тут. Тепло, несмотря на ноябрь. Искусственный лёд внизу, у подошвы небоскрёба, где летом кафе, уже выложен, катающихся уйма, и туристов-зевак хватает — место стремное. Каток оторочен трепещущими на ветру флагами государств, будто парадом идущими на олимпийском стадионе, стволы и ветви деревьев мелкими лампочками усыпаны, красиво, как во время Рождества, подсвечены. Костя протискивается сквозь толпу, всматривается. Как в таком мельтешении незнакомку отыскать, даже и приметы имея? Пятнадцать, двадцать минут истекают — всё без толку. Боковым зрением углядывает: откуда-то появляется высоченная девица в чем-то ярком, движется к малолюдному парапету напротив выхода из Рокфеллер-центра, встаёт посередине и закуривает. Он в этот момент обходит каток с правой стороны, если смотреть на высотное здание, девица его не замечает, он приближается к ней и, не дойдя четырех-пяти метров, громко произносит первое, что на язык попадается:

— Мне нравятся девчонки рыжие, рыжие — они бесстыжие...

Девица вздрагивает, полуоборачивается, пристально, не улыбаясь глядит на Костю.

— Здравствуйте, вы и есть та самая барышня, назначившая свидание в том месте, где так легко потеряться и так трудно найти друг друга?

— Зато, найдя, уже не потеряешь, — низким контральто.

И впрямь хороша: ярко-каштановая грива, выразительные, чуть навывкате, тушью густо подведённые глаза, оттого кажущиеся ещё больше, тонкие ироничные губы, высоченная — на каблуках одного с Костей роста, плотно сидящий бордовый костюм подчёркивает формы. Персик, а не барышня, произносит про себя Костя и улыбается. Как, однако, всё просто.

— Я — Наташа, — девица протягивает руку. Костя называет себя. — А чему вы улыбаетесь? — Взгляд по-прежнему серьёзный, оценивающий. И обращается на «вы», без амикошонства, не то, что в первый раз. Вроде как подчёркивает: встреча у нас деловая и вести следует себя соответственно.

— По телефону вы звучали разудалой, бесшабашной, нагловатой даже. Этакой оторвой. А смотрите совсем иначе.

— Люблю шухерить, — словцо откуда-то выкапывает чудное, Костя его в раннем детстве слышал и больше нигде и никогда. — И выпила тогда для смелости.

— А чего боялись? — искренне удивляется.

— Вы полагаете, нормальной женщине звонить незнакомому мужчине и предлагать себя, получая взамен красивую жизнь, так легко? Все мы немножко шлюхи, но не до такой же степени.

— Тогда зачем позвонили? Поиграться захотелось, острые ощущения испытать?

— Отнюдь. Хочется чего-то необычного. Устала от примитива. Деньги?.. Я работаю в адвокатской фирме. Одна, в разводе, детей нет, на жизнь более или менее хватает. Мне тридцать пять, между прочим. В отведённые вами возрастные рамки не вписываюсь, уж извините.

Костя, проникаясь симпатией к незнакомке — ничто в ней не отталкивает, не тяготит, кажется, будто давно знакомы, — приглашает поужинать. Едут к его дому, Костя запарковывает «BMW», пешком направляются в сторону Сохо, выбирают французский ресторанчик «Ле Пескадо» на Кинг-стрит. Разговор по спирали движется, ничего существенного, ни он, ни она не переходят грань, за которой придётся определять их дальнейшие отношения, расписывать их «от» и «до». Наташа невзначай спрашивает: чем Костя занимается в этой жизни? Да ничем особенным, пишет роман. На английском? Нет, на русском. Русский писатель в Америке? Звучит довольно смешно, уж извините (она часто, как успеваешь заметить Костя, использует этот оборот). Может, и смешно, но его такая жизнь устраивает, даже очень. Не надо ездить на работу, вкалывать до зелёного тумана в глазах, как многие, подлаживаться под настроение босса. Деньги? Деньги у него есть. От бабушки наследство получил. Понятно, не раскрывает источник, но даёт понять — он и в самом деле состоятельный человек. Один из семи миллионов, живущих на планете. Почему семи? — не понимает Наташа, потом до неё доходит: семи миллионов миллионеров, верно? Верно, кивает Костя.

— Где вы живёте в Бруклине? — спрашивает Костя, когда они выходят из ресторана.

— На Эммонс, у канала.

— Вас отвезти или...

— Или что?

— ...или пойдём ко мне? Завтра выходной, спешить некуда.

— Ах, да, мы же забыли подписать контракт, — прикладывает палец ко лбу, изображая непростительную забывчивость. — Сколько раз

в месяц посещаем театры, концерты, сколько раз в году путешествуем и так далее. — Впервые за вечер переходит на прежний стиль общения, он выглядит у неё скорее защитной самоиронией. — Ради такого случая придётся посетить твои пенаты.

Квартира Наташе нравится. Обходит комнаты, осматривает картины на стенах, угадывая Костиных любимых Климта и Мунка, чем поражает его («Неужто подлинники? Нет, не может быть. Даже тебе не по карману»). Угадывает и тут — сделано по его заказу потрясающим стариком-живописцем с Урала, в Нью-Йорке подрабатывающим изготовлением копий такого качества, что искусствовед не отличит от оригинала), застывает перед уже изрядно заполненными книжными шкафами («Какая библиотека! С ума сойти! Я ведь филолог, у меня в Москве была не хуже...»).

Она просит коньяк, методично, с упрямой решимостью пьёт рюмку за рюмкой без закуски — лишь дольки лимона, курит. Тени вокруг глаз густеют, она заметно пьянеет.

— А ты ничего мужик, в моём вкусе, только не думай, что меня твои миллионы прельщают. С тобой, кажется, поговорить можно.

Она встаёт с дивана, идёт нетвёрдой походкой в ванную, вскоре появляется на каблуках и с ворохом одежды в руках и просит проводить её в спальню...

Так в Костину жизнь легко и непринуждённо входит рыжая бестия, как он про себя не шибко оригинально называет Наташу.

Встречаются они в будние дни, обычно по средам, и в выходные. Наташа любит вкусно поесть, всякий раз внимательно изучает справочник с перечнем всех ресторанов и оценкой их достоинств, выбирает изысканные. Костя и представления не имел, что в Нью-Йорке такое количество потрясающих едальных заведений. Благодаря Наташе узнаёт. Единственное — побаивается потолстеть и удлиняет занятия в фитнес-клубе: почти до изнеможения крутит велосипед, бегаёт по дорожке, упражняется с разными железяками. Изредка ходят в кино и, как правило, три-четыре раза в месяц — в «Карнеги» и в «Метрополитен».

Писание его подвигается довольно быстро, находит в нём всё больше радости и интереса, предвкушает момент, когда нагонит события, в его жизни происходящие сегодня, сейчас, и опередит их, придумывая ситуации неожиданные, порой невероятные, в которые ввергнет

героя и в которых, естественно, захочет оказаться сам. Замечательная игра ума и воображения, неведомая ранее и оттого ещё более привлекательная.

В романе он найдёт место и рыжей бестии, описав их знакомство и всё дальнейшее. Что произойдёт, Костя не ведаёт, но уверен — читателю не наскучит. Как не наскучивает ему слушать Наташины разговоры и странным образом гипнотизироваться ими, размягчаться, впадать в нежную летаргию, целовать её волосы, гладить прохладную кожу, начисто забывая, на чём держится и чем подпитывается их союз-сделка. Чтобы получать подлинное удовольствие от женщин, необходимы время, деньги и близорукость. Первого и второго у Кости вполне достаточно. Близорукостью же не страдает. Он всё видит и понимает. И, однако, нет-нет и начинает казаться наивно: скоро-течные, не прошедшие проверку отношения их уже выходят за рамки пресловутого контракта, по поводу которого Наташа изредка хохмит, сулят нечто большее, чем примитивный до пошлости процесс купли-продажи. Что-то же она к нему чувствует, не одна корысть голая движет ею, хочется думать Косте, и он думает так, привязываясь к Наташе всё сильнее...

Без малейших намёков или просьб с её стороны он регулярно покупает ей одежду в недоступном для большинства «Блумингдейле». В начале января у Наташи день рождения, он дарит ей кольцо и серьги с бриллиантами. Наташа не скрывает восторга, он доволен, и ему кажется — это сюрприз, которого она не ожидала.

За два с небольшим месяца слушают «Фиделио», «Лючию ди Ламмермур», «Турандот», «Кармен», «Трубадура», «Аиду»... Наташа взмаливается: «Давай сделаем перерыв, я перекормлена оперой...»

Это выглядит своего рода ритуалом: она в декольтированном длинном платье и в палантине из дымчато-голубого песка (песец, кстати, её собственный, из Москвы привезённый, Костя не покупал), он в токсидо, в «Метрополитен» их привозит белый лимузин, который ждёт до конца спектакля (75 долларов в час), сотню метров до театра они проходят медленным шагом, держась за руки, как влюблённые молодожёны, на них обращают внимание — дама средних лет в строгом тёмном брючном костюме однажды без церемоний подходит и, глядя на Наташу, произносит преувеличенно слащаво, в духе типичных американок: «Вы потрясающе красивая женщина, и вообще, ваша пара ослепительна! Вы из Европы? Ах, русские?! Wonderful!

(Замечательно!)» Наташа благодарит за комплимент, Костя церемонно кивает, дама удаляется, Наташа вполголоса: «Чистая лесбиянка...»

После Нового года, лихо в Поконо отмеченного, на даче Костиной, Наташа в Москву собирается. К матери. Мать живёт с новым мужем — родители Наташи развелись, когда дочери тринадцать лет было. У отца своя семья. Мать перед самой эмиграцией Наташи вышла замуж, новый супруг наотрез отказался в Америку ехать, мать осталась с ним. И пришлось Наташе отправляться в неизвестное одной. В Нью-Йорке сошлась с американцем — автомобильным дилером, занудой и жадиной, и, побыв замужем три года, благополучно с ним рассталась, «разгреблась», по её выражению.

С матерью она сохраняет тёплые отношения. Видятся, к сожалению, нечасто: дважды Наташа посещала Москву и однажды мать приезжала в Нью-Йорк. Сейчас та заболела, в Боткинской больнице, врачи ничего толком не говорят, словом, надо ехать. «Давай вместе», — предлагает Наташа. Костя отнекивается: не может прервать писание. Не тянет туда зимой. Да и был совсем недавно. «Возвращайся, и отправимся в обещанное путешествие по Европе». Он даёт ей пять тысяч на медиков и 24 января провожает в JFK.

Наташа звонит из Москвы — деньги весьма кстати, матери сделали дорогостоящие анализы, ничего страшного, кажется, не нашли. «Как ты там без меня? Скучаешь?» Вдруг ловит себя на том, что рад одиночеству, возможности побыть одному, ни на что не отвлекаться и, забравшись в Поконо, писать запоем, с утра до вечера. Так и поступает, но уже через неделю начинает испытывать некоторый дискомфорт. Странно, ново, отвычно не видеть рядом женщину, не обедать и не ужинать с ней в ресторанах, не заказывать лимузин и не спешить в «Карнеги», Линкольн-центр и «Метрополитен», не ложиться с ней спать и не просыпаться поутру в воскресенье... И, будто услышав его, звонит мобильник, незнакомый женский голос спрашивает о Костиной жизни и здоровье и выражает упрёк: что же он совсем забыл ленинградку Юлю... А ведь трижды они условливались пойти в концерт и трижды Костя отменял встречу, ссылаясь на неотложные дела.

Да, теперь вспоминает Юлю: и в самом деле настойчиво, трижды пыталась вытащить его на симфонические концерты, но уже была Наташа, и Костя не имел желания что-либо совершать за её спиной. Юля наверняка понимает: сработало объявление по поводу «бары-

шень», Костя — не один, и тем не менее приглашает его в ближайшее воскресенье в «Карнеги». Значит, на что-то надеется. Играют оркестр МЕТа и Володоз, виртуоз-импровизатор, пианист не слабее Кисина, следовательно, почти гений, билетов нет, но с рук можно за большие деньги. Тем более концерт дневной, на него легче купить.

Володоза Костя слушал до этого дважды. В самом деле виртуоз, однако на глубину Кисина ему покамест не нырнуть. Прогрессирует, правда, невероятно. Володоз — питерец, может, поэтому Юля столь восторженно говорит о нём. Охота была тащиться из Поконо в Манхэттен. За семь вёрст киселя хлебать. А может, поехать? — спрашивает себя робко и отвергает саму идею: нет, с какой стати.

Два дня, выполняя немудрёные дела по дому, правя написанное накануне и сочиняя новые страницы, он внутри вновь и вновь оценивает предложенное ему. Втемяшится блажь, и поди ж выгони её из себя... Господи, о чём он рассуждает, пойти послушать музыку — большое дело. И впрямь ничего особенного. Если бы была уверенность, что Володозом всё и закончится. От кого это зависит? Только от тебя самого — насильно тебя в постель никто не уложит. А если не насильно?

Он набирает московский Наташин телефон. Молчок. Значит, в больнице у матери. Автоответчиком мать не обзавелась, оставить сообщение некому. О чём сообщение? Ни о чём: узнать новости, сказать, что ошибся, подумав о коротком вынужденном одиночестве как безусловном рефлексе творчества, что, оказывается, творчество стимулируется совсем иным и ждёт он не дожждётся Наташиного возвращения. Искренне — и про одиночество, и про рефлекс, и про остальное, но, не привыкнув себя обманывать, думает Костя в этот момент совсем об ином. И внезапно внутри звучит утвердительный ответ. На концерт — ехать. Какая она из себя, Юля? Сможет ли после рыжей бестии запасть на другую женщину? Маловероятно. И всё же — ехать.

Договариваются встретиться у «Карнеги» в два часа дня. Костя даёт свои приметы, Юля — свои: выше среднего роста, светлая, длинные гладкие волосы, будет в чёрном пальто и бежевом берете. Звучит многообещающе. А вдруг и впрямь красавица?!

Добирается он с дачи почти три часа по подмёрзшим хайвэям, на обочинах свежевыпавший снег, хоть и не очень морозная, но всё ж зима. И чем ближе к Нью-Йорку, тем сильнее нетерпение. Не угрызение совести, не стыдливо-навязчивое присутствие обмана — именно нетерпение. Не узнаёт себя — происходит в нём какая-то перемена,

незаметно, исподволь, хочется новых ощущений. Никогда прежде он не смотрел на себя как на человека, которому многое доступно. Скорее чувствовал определённую ущербность, нет, не то слово — заменить, вычеркнуть, знал свой порог, предел возможностей и не перешагивал, не переходил. Нынче же зреет, как ячмень на глазу, неизбежный, неотвратимый, в некотором роде комплекс полноценности. Я могу всё, мне нет преград ни в море, ни на суше, я независим, никого не боюсь, так почему должен сдерживаться, соразмерять, дозировать, нажимать на тормоза вместо педали газа... Тормоза нужны в машине на скользкой дороге, как в эти минуты, во всём остальном часто во вред.

В таком настроении Костя въезжает на платный паркинг и через десять минут начинает расхаживать у подъезда «Карнеги». Народу вокруг немного, женщины с длинными светлыми волосами не видно. И билеты с рук никто не продаёт. Ещё рано.

В половине третьего его окликают. Он оборачивается. Такой он Юлю и представлял, рисовал в воображении, нагнетая собственный интерес. Что-то от Марины Влади. Соблазнительна до умопомрачения. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди, как говорил Оскар Уайльд. Готов ли ты, Костя, к новому испытанию?..

Они договариваются ловить лишние билеты в разных местах густеющей на глазах толпы — так больше шансов на везение. Костя идёт на угол к станции сабвэя, Юля — в противоположном направлении. Долго билеты искать не приходится — сами в руки плывут. Юля кричит Косте из толпы, машет сумочкой, Костя спешит навстречу и видит долгоногого костистого старика в клетчатом шарфе, на груди повязанном, как художники и артисты носят. Юля буквально в старика вцепляется. Продаёт он два дорогих билета по сто двадцать. Костя отдаёт три купюры по сотне, старик пересчитывает, роется в кошельке, возвращая сдачу, а Юля внимательно разглядывает дату на билетах.

— Повезло, — говорит Костя и увлекает Юлю к входу.

— Я деда этого знаю. Он часто тут приторговывает.

— Я заметил: у «Карнеги» и «Метрополитен» никто не спекулирует, отдают билеты по их цене или дешевле. Это не футбол и не бейсбол.

— Нет нужды спекулировать. Это же билеты, которые служкам местным бесплатно раздают в виде поощрения, а они — дедам вроде нашего на продажу, а выручку делят.

— Интересно. Не знал.

В зале Юля снимает пальто и берет, на ней голубая кофточка под горло из ангорской шерсти и тёмные брюки. Стройная, худее, чем Косте нравится, но с изяществом, которое не часто у молодых женщин в Америке присутствует; почти льняные волосы закручены сами собой, как проволока, тонкоперстой рукой отводит их со лба. От неё не укрывается Костин взгляд изучающий.

— Что вы меня так рассматриваете? — в голосе нет неудовольствия, скорее прощупывающее: нравлюсь или так себе?

— Вам идёт голубое.

— Благодарю. Вы совсем не такой, каким я вас представляла.

— Какой же?

— Интеллигентный, — после паузы. Когда отозвалась на его объявление, кажется, тоже что-то об интеллигентности говорила. — Для меня самое важное в человеке — именно это. Кругом жлобы одни.

У неё маленькая грудь, машинально отмечает про себя. Чем меньше у женщины грудь, тем, говорят, больше ума.

Концерт изумительный — хотя бы одно это оправдывает Костин приезд. Моцарт, Брамс, Рахманинов, Третий концерт. Костя больше любит Второй, но Володоз превосходит сам себя — и дарит непередаваемые эмоции. На бис виртуозно играет собственные импровизации известных вещей, и зал буквально сходит с ума.

— Ну что я говорила? Это же чудо, фантастика! — у Юли горят глаза. — Не жалеете, что такой путь проделали ради концерта?

Недоговорённым повисает — и ради того, чтобы мы встретились наконец.

После концерта Костя ведёт Юлю ужинать в «Габриэль» на 60-й улице, между Бродвеем и Коламбус-авеню. Бывал он здесь пару раз, место по-домашнему уютное, тёплое.

Начинает падать снег, липкий, мешкотный, они не спеша идут к ресторану, опушаясь хлопьями, задумчивые манхэттенские строения слегка струятся в сквозном белом мареве.

— В снегопаде присутствует что-то мистическое, правда?

Костя вздрагивает: спутница его произносит то, что звучит в нём. Читает мысли или у них общий душевный камертон?

За ужином при свечах Юля рассказывает свою жизнь, хотя Костя не просит об этом: музыкантша, учила деток играть на рояле, ранний брак, муж-журналист, погуливал (видя Костино удивление, поясняет: от красивых тоже гуляют), измены надоели, развод, отъезд в Аме-

рику с матерью и дочкой по еврейским каналам, переучивается на бухгалтера, сменила три места работы, сейчас — в солидной компании, в свободное время даёт уроки музыки; с бойфрендами не везёт — неустроенные попадают или примитивы...

— Вы не похожи на еврейку. Скорее что-то прибалтийское.

— Папа у меня латыш, умер, когда я ещё жила в Питере.

— Хотите замуж? Нет, не за меня — вообще? — уточняет на всякий случай.

— Естественно, хочу, одной тянуть семью тяжело. Надобно плечо, к которому можно прислониться. Мне нужен человек серьёзный, самостоятельный.

— Женщина хочет многого от одного, мужчина — одного от многих. Не испытывайте иллюзий.

— Я уже обожглась. Достаточно. Поэтому никаких иллюзий нет.

Около полуночи они выходят из «Габриэля». Снег усиливается, слепит глаза, колет щёки. Почти бегом к крытому паркингу. Здесь тепло и безветренно. Они встают в очередь, хлопья на Костиной куртке и Юлином пальто мигом стаивают. Молодой латиноамериканец подгоняет машину, отдаёт Косте ключи и предупредительно распахивает дверцу перед его спутницей. От Кости не укрывается его нагловатый взгляд — уж больно хороша баба.

Они едут вниз по Бродвею, Юля не спрашивает, куда и зачем, впрочем, Костя готов к ответу: если у Юли появится хоть малейшее желание отправиться домой, он немедленно исполнит его. Видит Бог, он не хочет отпускать Юлю, однако для него теперь много важнее оставаться хозяином положения, а не просителем или уговорщиком. Но Юля молчит, стало быть, ситуация её устраивает.

Утром, около девяти, Костя провожает Юлю — в воскресенье у неё дома, как обычно, урок с учеником. Захолодало, намело чуть ли не по колено и продолжает мести, машин почти нет — в такую погоду американцы не ездят, только жёлтые кэбы снуют в поисках отсутствующих пассажиров. Костя целует Юлю, сажает в такси и не очень ловко суёт сто долларов двадцатками.

— Это много, — Юля задерживает деньги в руке, но не возвращает.

Домой досыпать Костя идёт нехотя. Слепливает снежки, целит ими в деревья, поминутно останавливается, вдыхает морозный воздух. Опустошение, грусть и радость одновременно. И снег, снег, неумный

и желанный. Ещё сутки такого бурана, и будет почти как в девяносто шестом, тогда по Манхэттену на лыжах передвигались.

Он плюхается в постель, хранящую женские запахи, зарывает-ся лицом в подушку. Что будет, когда вернётся Наташа? Изменять ей нехорошо. Но он уже изменил. И самое неприятное, угрызений совести не испытывает. Собственно, о какой измене идёт речь? Нас связывает только, как Наташа любит изъясняться, контракт, сделка, соглашение со взаимными обязательствами. И более ничего. В конце концов, Наташа нравится мне больше, чем другие, но мне нужны другие, дабы удостовериться в этом. Юле до Наташиного опыта как до небес — не дотянуться, но суть не в этом: в ней что-то от мраморной статуи, всё совершенно, изящно и всё — холодно, не в Костиных силах очеловечить, одухотворить, растеплить. Любила ли она когда-нибудь? Теперь он понимает бывшего Юлиного мужа... С этими мыслями мгновенно засыпает.

К полудню Костя очухивается, принимает ванну и, свеженький, садится за стол в кабинете. О Поконо нечего и думать — в такой снегопад на дачу не доберёшься. Пишется скверно, мыслишки вялые, желание работать явно отсутствует. Чем же занять себя во второй февральский день... Долго разговаривает с дочерью, та мила, нежна, никуда, как прежде, не спешит, вторые линии не берёт. С тех пор, как осчастливлена отцовскими миллионами, в корне поменяла отношение к нему. Или Косте мнится, что поменяла?.. У Дины всё о'кей, Глеб — умничка, отлично занимается, увлёкся соккером, Марио помогает по дому, не нудит. Когда приедешь? Мы соскучились. Между прочим, скоро у твоего внука день рождения. Так что есть повод.

Костя был у дочери месяца полтора назад. Про день рождения, естественно, не забыл — Динино напоминание лишнее.

— А если не один приеду? — вырывается невзначай.

— Мы тебе всегда рады, один ли ты будешь или с кем-то, — дочь отвечает после паузы. — Новое увлечение? Надеюсь, не совсем молоденькая, соответствует твоему возрасту и положению? — слегка подкальывает, не удержавшись.

— Увидишь.

— Ну, пап, ты даёшь, — восхищенно-настороженно. Очень уж не хочется, чтобы у отца появилась подруга, могущая со временем стать... да, вполне вероятно, законной женой.

А что, возьмёт и приедет с Наташей или с Юлей, уж извините, копирует слог своей пока отсутствующей пассии. Нет, рискованно, дочь на уши встанет, зачем её дразнить. Себе дороже. Если Дина узнает, каким образом отношения завязались с этими барышнями, вряд ли отца поймёт. Ещё папиком и старым козлом про себя обзовёт.

А снег не прекращается. Радостный и острожеланный вначале, сейчас он рождает томление, грусть и одиночество. Какое уж там тоски лечение. Не пишется, не читается, и гулять не пойдёшь. Включает CD с оперными ариями в исполнении великих итальянцев. Не слушается. Что с ним сегодня? Совсем не может находиться один. Влюблённые плохо переносят одиночество, нелюбимые — ещё хуже. Он ко второй категории относится, следовательно... Раньше прекрасно переносил одиночество, ну, не прекрасно, что тут прекрасного, — нормально, не умирал, во всяком случае. А сейчас? Что-то определённо с ним происходит начинается.

Наташа возвращается в конце недели, и жизнь входит в привычную колею.

Костя старается не вспоминать свои загулы, не звонит Юле, та несколько раз оставляет сообщения на мобильнике, он не отвечает. Это не в его прежних правилах, но ныне он ощущает себя уже в ином пространственном измерении, начинает привыкать к иному кодексу отношений, кодекс этот не больно нравится, однако нечто новое, неумолимое, необоримое, сильнее его, затягивает, словно течение, в воронку.

Наташа ни о чём не спрашивает, лишь однажды пробует поехидничать по поводу Костиного времяпрепровождения в её отсутствие. Костя делает соответствующее лицо: как ты, дорогая, могла заподозрить такое?! И получает в её стиле: «Он улыбался искренне, цинично...»

Незаметно наступает май (время мчится, словно убегает в испуге от кого-то; по Костиной теории выходит, что он опять живёт однообразно и скучно, оттого и дни стремглав несутся, не оставляя в памяти никаких зарубок). Наташа договаривается с шефом, что возьмёт две недели за свой счёт, тот весьма неохотно соглашается; впрочем, по словам Наташи, в офисе затишье, клиентов немного, без неё вполне обойдутся, а если и уволят, то, она уверена, Костя возьмёт её на содержание: «Ведь возьмёшь, дорогой?! Возьмёшь, куда ты денешься...» Шутит или впрямь уверена в своих чарах?

Костя заказывает билеты и гостиницы в Париже, Лондоне, Брюсселе и Эдинбурге; а в Амстердаме сориентируются на месте. Такой маршрут избрать пожелала Наташа, не бывавшая ни в одном из этих городов. Костя не возражает — в трёх из них он тоже не был.

Наташа всё продумала: в Париже пять дней, потом берём машину напрокат, «автомат», как в Америке, а не «стик шифт», пускай они сами в Европе ездят с этой чёртовой ручкой переключения скоростей, а я не умею, мне чего попроще, и поедем замки Луары осматривать. Говорят, красота неопишуемая.

— Ты хочешь вести машину?

— На пару будем ехать: ты три часа, и я столько же, ну, может, чуть поменьше.

— Я бы предпочёл вести машину без твоего участия. Ты же носишься как угорелая, на незнакомых дорогах это опасно.

— И не думай, и не мысли. Для меня быть за рулём — удовольствие.

Пять парижских дней пролетают мигом. Вроде бы многое Косте знакомо, выветриться не успело, и всё точно впервые, а для Наташи и вовсе. Вечером на многолюдных Елисейских полях подводит её к проезжей части, за спиной, метрах в пятидесяти, Триумфальная арка, впереди, в перспективе, колонна площади Согласия, смотрят в перспективу — и дух захватывает от огней автомобильных фар, летящих навстречу и удаляющихся, белых и красных, мерцающих подобно светлячкам. Наташа обмирает, издаёт тихий выдох-стон и полушёпотом: «Увидеть Париж и умереть»... И так повсюду.

Только-только боевые действия в Ираке оканчиваются, стирается острота предсказаний, предостережений, предчувствий, опасений, тревог, надежд, взамен новые ожидания — что дальше? Не испытывает Костя ни малейшей эйфории от победы, нет у него доказательств, ни на чём уверенность его не основана, лишь предчувствие: это не конец, а лишь начало. Изредка задумывается: *раньше жил в стране, которую полмира ненавидело, и снова живу в государстве, на которое столь же сильная, если не большая, ненависть обращена. Такая участь.*

В Париже американцев сейчас мало, во всяком случае, в тех местах, где гуляет он с Наташей, почти не слышна речь, которую натренированное Костино ухо мигом отличает: у тех же британцев произношение другое. Обида большая на французов — не поддержали, ругают на всех углах в связи с войной. В знак протеста — не ехать, не тратить деньги в их гостиницах, ресторанах. Своего рода личная месть. И, по-

хоже, действует. В самолёте берёт Костя предложенный стюардессой «Уолл-стрит джорнэл» и вылавливает изящный пассаж: «Страна высокой кухни, наглых официантов и всеобщего высокомерия хочет вернуть громкоголосых империалистов в кроссовках — американцев. Очень хочет. Да, французам нас явно не хватает. Ближе к истине то, что французам не хватает американских долларов».

Ему плевать, платит он сполна и щедро, доставляя радость себе и Наташе. Четырехзвездный отель (четыре звезды здесь предел) напротив Тюильри, рестораны — самые лучшие, подруга его покупает уйму баснословно дорогого барахла и косметики, и это прекрасно. Какое отношение к ним двоим имеет политика, война? Да никакого. Париж же по-прежнему дивный и приманчивый, впрочем, Лондон Косте ближе по духу.

А Наташу словно подменяют. С утра замечательное настроение, хохочет, но без истерических всплесков, как изредка дома, мягка и покладиста, ни одного скандала, ни одного взрыва необъяснимой ярости, скачет, как козочка, всем довольна. И пьёт умеренно. Ночью же... Ночью она разжигает в себе и в нём безумное желание, и если стены отеля столь же звукопроницаемы, как в домах Нью-Йорка, то Костя не завидует тем, кто живёт под ними. Сам поражается, откуда силы берутся. Париж действует или им вдвоём в любом городе замечательно?

Накануне отъезда ужинают они в *La Tour D'Argent*. Костин сюрприз — заранее заказывает стол. Наташа не в курсе. О ресторане, старейшем и знаменитейшем в Париже, Даня как-то обмолвился. Упомянул между прочим: четыреста с лишним лет назад ресторан открылся, кто там только не обедал — и короли, и кардиналы, и императоры, и писатели — Жорж Санд, Дюма, Бальзак... Цены сейчас чудовищные, вина есть и по пятнадцать тысяч евро, а утку готовят — пальчики оближешь... Ресторан так и называется — «Серебряная утка». Запоминает Костя — и по приезде сразу в гостиничную службу сервиса: хочу ужинать в *La Tour D'Argent*. Желание клиента — закон, тем более что в гостинице месть Ситников с его очаровательной спутницей чуть ли не единственные американцы.

Такси привозит их на набережную Турнель. Ресторан находится на её пересечении с мостом. Нотр-Дам за спиной, метрах в пятистах. Под одной крышей — гостиница с таким же названием. Здание ресторана выкрашено в строгий цвет, в Америке называют его «нэви»,

нечто среднее между синим и серым. Входят, называет Костя своё имя, перед ними расшаркиваются, метрдотель, важный, как лорд, к лифту провожает через небольшой холл с картинами и цветочной вазой. Ступают они по темно-розовому ковру с вытканными вензелями с датой—1582, обрамлённой оливковыми ветвями. По ходу в левом углу стол с серебряными приборами и под овальным стеклянным колпаком. Наташа интересуется, что это. «О, мадам, это особый стол,— метрдотель преисполнен важности.— За этим столом 7 июня 1867 года обедали русский царь Александр, наследный царевич, Вильгельм I и Бисмарк». «Ни фига себе, куда это я попала?— шепчет слегка обескураженная Наташа в ухо Кости.— Цари, царевичи и хрен знает кто ещё... Чего ж ты мне не сказал, куда идём, я бы морально подготовилась».

Лифт привозит их на второй, высокий этаж. Столов двадцать, не больше, занято чуть больше половины. Одна из стен—сплошь стеклянная, с видом на вечерний Париж. Ни Нотр-Дам, ни Эйфелева башня не видны, они в стороне, зато остальное обозримое пространство огнями пульсирует, сверкает, переливается. Красота неопишущая.

Вот и стол их. Белые строгие скатерти, белые салфетки, официанты все в чёрных фраках. Меню приносят на английском, Костя и Наташа изучают долго, разборчиво, задают официанту вопросы. На закуску заказывают равиоли с крабовой начинкой, пате—паштет печёночный—и зелёный салат, на горячее, естественно, утку. И вино красное, не за пятнадцать тысяч, но тоже дорогое. Впрочем, здесь всё дорогое.

Обслуживают их шесть человек—молодые, услужливые. Стоит голову чуть повернуть—официант тут же подплывает неслышно: что месье или мадам желают? Подкатывают сервировочную тележку с тепло хранящими тарелками и вожделенной уткой. Белое мясо, филе, без единой косточки, салат и изысканный соус. Порции небольшие, как во французской кухне принято, едят Костя и Наташа медленно, внимчиво, не поглощают пищу, а смакуют, переглядываясь и даря друг другу понимающие взгляды—вкусно невероятно.

Справляются с уткой, ждут меню десертное. Но тут опять столик сервировочный появляется, снова тарелки тёплые и снова утка, только мясо не белое, а тёмное. «Мы же ничего не заказывали,—пробует Костя объясниться,—тут ошибка какая-то». «Нет, месье, ошибки никакой нет и быть не может—это вторая часть вашего блюда, нож-

ка». Салат к ней уже другой подают и соус другой. Эту порцию осилить они не могут, хотя утка тает во рту, оставляют с сожалением часть на тарелках. Здесь не Америка — с собой забрать остатки не попросишь, не принято.

Перед тем как расплачивается Костя кредиткой (обходится ужин в шестьсот евро с чаевыми), приносит официант две открытки с видом *La Tour D'Argent* и номерами съеденных месье и мадам уток. И поясняет: «Выращены утки на принадлежащей ресторану ферме, открытки — вроде диплома, на память».

В эту ночь гуляют они до изнеможения, спать не тянет, возвышенное состояние не покидает, и дело не только в замечательном ужине — у их ног Париж, и начинает казаться, что это и есть счастье, которое никто и ничто не в силах омрачить. Они обнимаются и целуются вза-сос посреди бульваров, толпа обтекает их, некоторые, вопреки здешним нравам, оборачиваются, смотрят, притом, наверное, с завистью, на немолодого высокого мужчину с височными залысынами и огненно-рыжую, под стать ему женщину много моложе. Так и бродят они, похожие на влюблённых. А может, так оно и есть?

На следующее утро Костя берёт напрокат «Пежо-607» с автоматическим переключением скоростей. Последняя модель, на ней министры стран Бенилюкса ездят, объясняют ему. О'кей. Обходится дороже процентов на тридцать, нежели машина со «стик шифтом», но, слава богу, экономить не нужно, и к полудню они покидают Париж. За рулём Костя, Наташа — за штурмана, она в картах хорошо разбирается. Нехотя отдаёт Косте право первому вести машину. Ничего, она своё ещё возьмёт.

Четыре с половиной часа лицезреют они пейзажные красоты. Наташа пробует ещё раз насчёт руля поканючить, но, отвергнутая, фикстулит (и где словечек таких понабралась...).

— Давай поиграем в скрытый смысл, — предлагает Косте. — Ты знаешь: женщины обычно не говорят, что думают, а что думают, редко говорят. Такая наша натура подлая. Я произнесу фразу, а ты определи, какой в ней смысл заложен. Начали. «Я о вас много слышала!» Угадывай.

— Ну, наверное, знак внимания выказывает.

— Примерно. Можно попробовать его закадрить. Идём дальше. «Чем вы занимаетесь?»

— Просто интересуется.

— Чёрта лысого. Просто прикинуть хочет, сколько мужик зарабатывает. «У мужчин только одно на уме».

— Делает намёк, что не прочь...

— Угадал. «Все вы, мужики, такие».

— Не любит, когда под юбку сразу лезут...

— Мимо. Можно, давай, не робей — вот что означает это на нашем бабьем языке. «Милый, ты меня задушишь», это когда в постели. Не знаешь? Ответ: кретин, ты же меня раздавишь сейчас. — И далее Наташа сама спрашивает и отвечает сама же. — «Тебе хорошо?» — Ну, чего лежишь как бревно? «Дорогой, я что-то устала сегодня» — И почему у него изо рта пахнет?.. «Секс — не главное в любви» — Увы, меня к нему уже не тянет... «Она — моя лучшая подруга, она такая потрясающая женщина, я ею восхищаюсь» — Удавила бы её на месте... «Эта б... спит со всеми подряд!» — Господи, я бы всё на свете отдала, если бы у меня была такая грудь...

— И где ты набираешься такой чепухи? — Костя поощрительно смеётся.

— Это, друг мой, не чепуха, а бабья хитрость. Без неё не прожить. Я вот только с тобой не хитрю... Прибавь скорость, мне ехать надоело. Скорее бы уже этот замок появился... Что я имела в виду? Ну, быстро, угадывай. Э, что с тебя взять, а ещё писатель. Имею в виду вовсе не усталость, а совсем другое: хочу скорее в койку, с тобой...

И вот вырастает перед ними шато Приере, восьмисотлетний замок-отель с видом на Луару.

— Ну, что я говорила?! Красотища какая! — Наташа ликует при виде винтовых лестниц, сторожащих покой гостей рыцарей в доспехах, старинной резной мебели с завитушками и огромной кровати с балдахинном в их комнате. Она плюхается на кровать, подпрыгивает и хочет, как ребёнок, чья очередная прихоть удовлетворена.

Обедают они на открытой веранде, вокруг — мреющие крыши дальних деревушек, притулившихся у воды, совсем другая, отвычная нью-йоркскому глазу природа, не спёртый и не влажный воздух с еле уловимыми, причудливо перемешанными безмятежными ароматами почвы, лугов, деревьев, цветов, виноградников и тишина, какой не бывает даже в самом маленьком городе.

Они долго гуляют в окрестностях, пробуют вина в сумрачном холодном погребе, среди бочек и таинственно мерцающих рядов бу-

тылок. Разморённые воздухом и вином, ложатся спать рано, встают в половине седьмого и после завтрака, попрощавшись с хранящим таинственное очарование шато, дальше в путь. За рулём Наташа. Костя спокоен: на окрестных пустынных дорогах шалить ей неопасно. И езды-то всего час — до монастырского комплекса, кажется, самого большого в Европе. Наташа просвещает: странная судьба у монастыря: начиная с XII века управляли им исключительно женщины-аббатисы, и аббатство сотни лет было одним из самых могущественных и влиятельных во Франции.

— Представляю, какой разврат здесь творился. Баба-начальница — страшное дело. В революцию монахов разогнали, Наполеон превратил аббатство в... Во что он превратил аббатство, Костя? Правильно, в тюрьму.

Полдня хватает им на осмотр всего, включая дивный обед с речной рыбой под местным соусом из белого вина и масла.

Оставшиеся полдня посвящают «Пюи де Фу» — гигантскому парку развлечений без всяких «американских горок», каруселей и прочей дребедени. В центре парка настоящая вандейская деревня, какой лет триста назад была. Сувениров — море, делаются вручную, как в то время. Рядом на площадках и аренах самодеятельные спектакли идут, Косте кажется, в чистом виде на потребу туристам, а Наташе, напротив, нравится: бой гладиаторов, штурм замка, нападение викингов, рыцарский турнир, какие-то птицы наглухие чуть ли не садятся на головы, одна едва не вцепляется в Наташину гриву, та с криком к Косте — спасай... Ужинают они в старинной таверне под завывания придурковатых менестрелей.

А вот где и в самом деле потрясающе, так это в Ла-Боль. Махонький городишко на Атлантическом побережье, дорогой курорт, с одной стороны — океан, с другой — болота соляные. Фокус природы. Забронирован номер в отеле «Руайяль Талассо». Здесь, им объясняют, снимают стрессы и продлевают молодость в центре талассотерапии. Два дня Наташа, жадная до всего нового, усердно занимается этим снятием и продлением: разные процедуры, катание на велосипеде и лошади, ей подбирают специальную диету, хотя зачем она ей? Костя из всего предложенного останавливается на велосипеде и ловит кайф.

А после курорта — бессовестная обжираловка в Нуармутье. Раньше местечко это с материком связывала только четырехкилометровая насыпная дорога, каждый прилив её затапливал. А приливы здесь,

как говорят, нешуточные — вода несётся со скоростью галопирующего коня. Беззаботные местные жители и туристы частенько в переделки попадали. Не зря перед дорогой вывешены фотографии утонувших машин и точное время следующего прилива... Дорога, правда, уже другая, приливов не боится, но снимки в назидание присутствуют.

Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя? Кто-то, помнится, из древних изрёк. Костя спрашивает Наташу, как бы она ответила на этот вопрос, когда они садятся в поезд «Евростар», уносящий их в Амстердам. Наташа кладёт голову ему на плечо, сладко зевает: отстань от меня со всякого рода умничаньем, и вообще, я себя в Нью-Йорке оставила, так что вопрос не по адресу.

Амстердам стал единственным городом, в котором не зарезервировали гостиничный номер. Непонятно было, когда они попадут сюда, оттого и не захотели привязываться к точному времени. И пришлось в турагентстве на вокзале брать то, что было: «Новотель», не в центре, двадцать минут на такси. Правда, номер люкс.

Отдохнув и перекусив, они к семи вечера попадают в центр, на площадь Дам, откуда всё и начинается.

Это потом, завтра, послезавтра и на третий день пребывания в городе самого невероятного сочетания земли и воды, свободы, романтики и порока, в городе, переполненном велосипедами, цветами, пивом, марихуаной и скучным, узаконенным развратом, они станут разглядывать достопримечательности, изумляться лужайкам тюльпанов и крокусов; мыльной пене у порогов кафе и баров, которой до блеска дряют тротуары; разрисованным чугунным столбикам «амстердамчикам», отгораживающим тротуары от машин; дому под номером семь на канале Сингел (Косте почему-то врезается в память номер) чуть шире собственной двери — раньше горожане платили налог в зависимости от ширины фасада; бурлящей, гульливой толпе на улице Дамрак; ни разу не повторяющимся фасадным плитам — произведениям искусства; маленьким баржам, где живут художники, поэты, музыканты; прогулочным катерам на каналах, не пахнущих тиной и затхлостью, в которых вода меняется четыре раза в неделю; мостам, музеям и цветочным рынкам, бесчисленным кафе с террасами и ещё многому, что только спустя какое-то время осознаётся как стиль жизни, которому стоит завидовать — всё это будет потом, а сей-

час они двигаются вместе с ртутно-перетекающей с места на место толпой к Кварталу красных фонарей.

Уже темнеет, зажигаются огни, стихают уличные шарманки, сходят со своих пьедесталов актёры, изображавшие в течение дня Рембрандта и Ван Гога, отправляется на покой конная полиция, на перекрёстках появляются зазывалы ночных баров и дискотек.

— Народ к разврату готов, — резюмирует Наташа и решительно ведёт Костю в заведение с ярко горящей вывеской *Cafe-shop*.

В помещении народу мало: четверо не слишком опрятных парней, двое мулатов и двое белых, и они. Телевизор, бильярд, барная стойка. Бармен на плохом английском спрашивает, чего желают господа из России. Глаз, видно, намётанный: какой угодно паспорт может в кармане лежать, а русская внешность безобманчиво в глаза бьёт. А может, услышал пару фраз на русском, которыми они обменялись, пока шли к стойке. Короче, господа желают (Наташа командует парадом) чего-нибудь этакого... Из плохого английского бармена они понимают: есть «косяк»-самокрутка, есть бурбулятор — бармен для наглядности показывает стеклянную трубку, есть особые галлюциногенные грибы, «космические» пирожные и коктейли.

— Возьмём «косячок» и бурбулятор, — не столько советуется, сколько объявляет Наташа бармену, а заодно и Косте.

Возражать бесполезно. Ещё в Нью-Йорке предупредила, что в Амстердаме оттянется на всю катушку и пусть он даже не делает попыток её остановить.

В помещении внятно пахнет чем-то полынно-горьковатым, будто сено еле тлеет. Покурить, попробовать «травку» в тех же грибах или пирожных можно в забегаловках вроде той, где он сидит с Наташей, и никакой тебе полиции — разрешено. «Косячок» покупают и с рук, но, говорят, много шансов нарваться на обман. Так что уж лучше в баре.

Наташа упражняется с бурбулятором, вдыхает в себя из стеклянной трубочки и под бульканье воды выпускает дым. Костя с очевидной опаской затягивается самокруткой. Курил он с шестнадцати, отдавая предпочтение «Приме», а позже «Дымку», и бросил лет в сорок. Впрочем, сосудам его, сплошь забитым бляшками, это не помогло — а помогла срочная операция. Наташа кайфует, глядит на Костю с видом победительницы. Забирает у него «косяк»:

— Что ты сидишь, как недоделанный... Смотри, как надо.

Она с шумом выдыхает воздух, глубоко затягивается «косяком» и проглатывает дым. И так несколько раз. Притягивает Костю к себе и целует в засос, вдыхая в него порцию горьковатого дыма. Костя от неожиданности едва не заклёбывается. Отдаёт «косяк» Косте и вновь присасывается к булькающей трубочке.

Через полчаса они уже на мостике одного из каналов. Под ними проплывают лодчонки и катера с туристами, им аплодируют, ободряют криками с мостиков и набережных — не иначе как в кругосветку провожают, а не на прогулку по одному из ста шестидесяти каналов. Наташу это почему-то злит:

— Идиоты, зачем хлопать? Подумаешь, плывут люди, большое дело...

Слева и справа в витринах домов — в полуподвалах, на первых и реже на вторых этажах, за отдёрынутыми бордовыми шторами-ширмами — готовые к работе девицы.

Наташа тянет его с мостика на узкую набережную.

— А меня взяло, — радостно сообщает, беря Костю под руку. — Захорошело...

Костя о себе этого сказать не может — да, лёгкость определённая в теле, только и всего.

На набережной шириной в три-четыре метра не протолкнуться. Броуновское движение, хаотичное, беспорядочное, протекает на фоне окон, за стеклом — девицы разных мастей, комплекций, цвета кожи, разреза глаз и возрастов. Есть и совсем юные, и форменные старухи, размалёванные и оттого ещё более отвратительные. Получше смотрятся обитательницы Оудезейдс-Ахртербургвал — Костя еле выговаривает название набережной. Сидят или стоят в витринах, как живые манекены, неподвижные, с отсутствующим взглядом, все в красивом сексапильном белье, некоторые в трусиках с приоткрытой грудью, явного непотребства, однако, нет. Глазеющие похотливые мужики, видать, до чёртиков девицам надоели, но это их работа, и потому стоит подмигнуть девице, сделать жест рукой в её направлении, как скучающий манекен оживает, снимает лифчик, зазывно улыбается. Никто не подходит к окну или двери для переговоров — девица вновь становится прежним, холодно-безразличным манекеном. Если это рынок,

то какой-то вялый, аморфный, невозбуждающий, думает Костя при виде очередной шлюшки, уставившейся поверх голов в никуда. Отсутствует главное — страсть. Зажигающая, пробуждающая, влекущая. Вот уже полчаса кружит он с Наташей по набережным и улочкам близ каналов, и на их глазах ещё никто ни разу не вошёл в открытую проституткой дверь. Праздное любопытство у одних и полное отсутствие желания у других.

— Товарчик-то так себе, залежалый, — Наташа разочарованно дёргает его за руку. — Девки ни кожи, ни рожи, ленивые, стоят, будто аршин проглотили. Некоторые с книжками, что им здесь, изба-читальня? Умора. Хоть бы потанцевали для виду, попками покрутили.

— Многого от них хочешь. Постылый труд и больше ничего. Я полагаю, они и в койках такие же, отрабатывают номер без капли творчества, фантазии. Помнишь, у Куприна в «Яме» подруги над Женей изгалялись, которая всякий раз кончала, с любым клиентом? Эти, небось, из другого профсоюза.

— А ты попробуй, потом поделишься впечатлениями. Не буду ревновать, честное слово. Только про резинку не забудь... Ну так что, какую мы тебе выберем? — донимает Наташа.

Они продираются сквозь густеющую толпу поближе к витринам. Уже темно, горят вывески секс-шопов, видеосалонов с набором порно и таких же киношек. Толпа обдаёт на ходу пивным запахом и горьковатым дымком «травки». Обкуренных, судя по глазам и походкам, много, но ведут себя смиренно.

У одного из домов столпотворение. На первом и втором этаже, одна над одной, и впрямь красотки — первые, увиденные здесь Костей. Внизу — яркая блондинка с открытой грудью, над ней шатенка с распущенными волосами — обе рослые, прекрасно сложенные. Знают себе цену, поглядывают на сумятящихся мужиков с усталым презрением — или это кажется Косте? Один, лет тридцати, чернявый, похожий на итальянца, подходит к витрине, говорит с блондинкой через форточку и отходит.

— Сколько она стоит? — спрашивает у него Наташа.

— Пятьдесят евро.

— Всего-то? Я думала, дороже.

— Пятьдесят евро немало, — «итальянец» похотливо смотрит на Наташу. Взгляд безобманчив: а сколько ты, рыжуха, запросишь? Костя ловит взгляд и плотнее прижимает к себе Наташу.

А та, растолкав мужиков, едва не прилипает к стеклу. Она прилично под кайфом, который, похоже, только усиливается, иначе не потребовала бы от Кости того, что ввергает его в немое изумление.

— Подойди к этой блонде, скажи, что хочешь её, а сам договорись, чтобы она исчезла из комнаты... ну, минуток на десять-пятнадцать.

— Зачем? — недоумевают Костя.

— Я встану в окне вместо неё. И ты увидишь, что здесь начнётся!

— Ты офонарела?!

— Не бойся, это же игра. Я понарошку. Хочу показать этим сучкам, как надо вашего брата зажигать.

— Что значит «понарошку»? А если кто-то трахнуть тебя захочет?

— Ну так трахнет... Шучу, не бойся. Ты станешь у окна ближе всех, я поманю тебя, войдешь, и мы смоемся. Там же наверняка есть другой выход. Дай ей столько, сколько она захочет.

— Наташа, прошу, уйдём отсюда! Мне такие игры не нравятся. Обкурилась, вот и выкаблучиваешь неизвестно что.

— Делай, что я прошу! — звучит приказом, и Костя понимает: они ни за что не отступятся.

Он матерится сквозь зубы, стучит в стекло, обращая на себя внимание, блонда жестом показывает, чтобы шёл к узкой боковой двери, соединённой с витриной. Приоткрыв, начинает говорить по-английски с тяжёлым акцентом: пятьдесят евро за пятьдесят минут, если устраивает, проходите.

Костя входит в крошечную комнату, блонда плотно сдвигает шторы и просит деньги вперёд.

— Как вас зовут? — спрашивает Костя.

— Стефани. Я шведка.

— Послушайте, Стефани... У меня к вам необычная просьба... Только не удивляйтесь. Я дам вдвое больше, если вы покинете комнату и разрешите моей герлфренд побыть здесь вместо вас. Недолго. Она у меня со странностями, неординарная, любит шутки, розыгрыши. О'кей?

— Я не совсем понимаю... Ваша девушка хочет заработать деньги?

— Нет, нет... Она хочет развлечься, больше ничего.

— Но нам не разрешают впускать чужих. У каждой из нас своя комната, мы платим за это...

— Возьми сто пятьдесят и тихонько уйди. Никто не заметит. Минут на пятнадцать, — и он протягивает деньги.

— Хорошо... Но я буду в спальне, — Стефани смотрит недоверчиво. — Откуда ты и твой герлфренд, из России? Ах, из Америки, но вы — русские. Тогда понятно.

Она уходит в соседнюю комнату, Костя осторожно приоткрывает входную дверь и впускает стоящую наготове Наташу. Та бросает на кресло сумочку и начинает раздеваться, поочерёдно сбрасывая юбку, блузку и лифчик. Остаётся в розовых трусиках-бикини и в туфлях.

— Где музыка? — И высунувшей голову блонде, всё ещё плохо понимающей происходящее: — Где у тебя музыка?

Стефани включает стереосистему.

— Не то! Поставь что-нибудь ритмическое. Для танца, поняла? Уйди! — приказывает Косте и, едва он скрывается в спальне вместе с блондой, широко распахивает шторы.

Чуть высунув голову в проход, Костя видит, как в такт мелодии Наташа начинает раскачиваться, изгибаться, извиваться, сначала медленно, потом быстрее и быстрее, он видит её спину с идеальным абрисом бёдер, она на несколько мгновений поворачивается к нему лицом, теперь уже демонстрируя улице то, что любого нормального мужчину вводит в трепет; танец длится минуту, две, пять, Костя видит, как у витрины толпа распухает, слышит, как в стекло нетерпеливо стучат... На фоне унылых, неподвижных, не троящих ни одного лишнего движения, отрабатывающих номер скучно-примитивных обитательниц бордовых комнат Наташа выглядит королевой, спустившейся в притон, чтобы всем показать: вот я, передо мной не устоит ни один, не важно, кто я и откуда, шлюха я, чья-то любовница или жена, — я коряю, побеждаю, вселяю плотскую энергию...

Такой безумно красивой и сексапильной Костя её ещё не видел. Он чувствует дыхание прижавшейся к нему Стефани, которая смотрит через его плечо.

— Потрясающе! Фантастика! — шепчет она.

— Пора смываться, не то они витрину разнесут! — кричит Наташа сквозь музыку и неожиданно для столпившихся задёргивает шторы.

В окно начинают барабанить, доносятся выкрики. Наташа, тяжело дыша, слизывая над верхней губой бисеринки пота, мгновенно одевается и достаёт из сумки тёмные очки.

— Где другой выход? — спрашивает Костя, Стефани показывает, открывает защёлку, он и Наташа выбегают через дверь подъезда, ме-

трах в десяти от окна, за которым только что творилось невообразимое, и сливаются с толпой.

— Ты была бесподобна, — кидает ей на ходу и целует в щёку.

— Играть проститутку много легче, чем быть ею, — неожиданно серьёзно, отстраненно, будто и не устраивала в лёгком угаре никакого спектакля и не танцевала полуголой перед похотливыми зеваками.

Окончание — в следующем номере

ОБ АВТОРЕ

Давид Гай — журналист, писатель. Около тридцати лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живёт и работает в Нью-Йорке. Он был главным редактором русско-американских еженедельников «Еврейский Мир», «Русская реклама», «В Новом Свете». Ныне он — главный редактор международного литературного журнала «Времена». Регулярно выступает на русско-американском телеканале RTN в программе «Пресс-клуб».

Перу Давида Гая принадлежат более трёх десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных — роман «До свидания, друг вечный», посвящённый истории любви Достоевского и Аполлинарии Суловой; повести «День рождения» и «Телохранилище»; документальное исследование «Вторжение» — о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане; «Десятый круг» — повествование, посвящённое жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы издано несколько новых книг Давида Гая — в Москве изданы роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...», описывающая перипетии жизни двух ветвей, российской и американской, одной семьи на протяжении более чем века. В США и в Украине увидел свет новый роман-антиутопия «Исчезновение», также в США опубликован роман «Катарсис». Недавно российское издательство «Алетейя» выпустило новый роман Д. Гая «Линия тени».

Геннадий КАЦОВ
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

как будто ты пишешь о том, о чём знаешь,
и знаешь, зачем и кому эти строки,
ведь фатум — не добрый, *судьба ведь не злая*,
они — как бы это? — ну, как будденброки

джекпоты не часто срываются, но и
где, кроме австралии, встретишь ты эму:
адажио не написал альбинони,
герой без ахматовой больше поэмы

куда ни взгляни — стали меньше, чем сплавов,
представить легко технологии в сумме:
15 минут твоей собственной славы —
под постом в фейсбуке о том, что ты умер

пятнадцать минут — это четверть от часа,
восьмая — от двух, от всей жизни ничтожно
счастливая часть после той, что несчастна,
и перед грядущей, где обе похожи

* * *

мне б так хотелось, чтобы дом
 всегда наполнен был добром:
 шкафы, диваны, столик модный,
 торшеры, кресла и комоды,
 цветы, все нужные теперь
 в вай-файях гаджеты, с ковром
 иль без, картины,
 и т.п.

дом наполнился чтоб год от года
 родным и близким мне народом:
 кириллы, жени, гены, рики,
 серёжи, лены, лёни, риты,
 на м, чтоб мил, и дин — на д,
 люб, эл (не позабыть кого-то!),
 кир, юлей, стивов,
 и т.д.

пусть будет делать кто что хочет —
 не хватит дня, так праздной ночью:
 возьмёт гитару, книжку, фрукт,
 пейзаж, не покладая рук,
 напишет: в отдаленье лес,
 веранды угол, и без точек
 вдруг шёпот утренний
 в p.s.

* * *

из пустоты являются слова,
по чьей-то воле заселяя фразы —
в житейском смысле потеряв права,
текущую строку диктует разум

по крохам подобрал осенний вид
из хрупкой охры, позабытых улиц,
там ранним утром человек спешит,
ступая в лужи и слегка сутулясь

плащ, мне знакомый, на него надет
и, словно из окна, я наблюдаю
как розовеет аура надежд
его, сейчас слиясь с осенней далью

меня он представляет в той дали
наощупь, будто в брайле знак — незрячий,
как найденную ижицу, да и
я в этом тексте от него не прячусь

давно мы неразлучны, но ему
об этом никогда не догадаться:
дописана строка, абзац всему,
да и всему тому, что вне абзаца

* * *

не догадаться мировой науке
и не открою тайну я врагу:

ведь мочка так пристроена на ухе,
чтоб всякий мог приладить к ней серьгу

меня, возможно, схватит контрразведка
любой страны, допрос начнут с утра:

зачем на ухе мочка? ждём ответа!
за совесть отвечай, а не за страх!

начнут пытаться водой, чесать подмышку,
читать мне перед сном смурную жуть —
военный трибунал объявит вышку,
но тайну мочки с ухом не скажу

наверно, так же было и с вангогом,
унёс с собой ответ винсентвангог,
и, как и мне, палач шепнул: ну, с богом!
и выбил табуретку из-под ног

* * *

для кого-то — ноябрь, кому-то — индейское лето:
повсюду листья с краснокожими именами
проводят время в поисках золотой монеты,
провожая его вместе со всеми нами

тёплый воздух прозрачный, из тысяч стрекоз с мотыльками,
готов к полёту на юг — в их далёкий эль-пасо,
нам вьюгу оставив, югу, просто «югу кали»
(коли бросить взгляд в её иностранный паспорт)

всё изменится ровно настолько, по закону бернулли,
дабы вместо ливня наступила беда снегопада,
оставив думать, что тебя вновь обманули —
в ноябре обвели, облапошили, будто так надо

* * *

свидетелями кровной мести
с заложниками карнавала
сидим за трапезой мы вместе

за блюдом блюдо подавала
судьба представившись гарсоном
средневековым типа мачо

с лимоном жбан декамерона
он подал к жареной боккаччо
и пел под лютню станс за стансом

зал наполнялся едким гамом
никто в накладе не остался
вдова пропела вальсингама

страсть к жизни у порога смерти
как произнёс один литкритик
величиной в одну омерту

на фоне роковых событий
под флагом чёрным и немарким
отплыл фрегат в морскую бездну

и плакал над макрелью маркес
так хрипло плакал маркес бедный
как будто опоздал к обедне

* * *

не бейся о стены запри двери плотно
протри антисептиком руки и ноги
теперь все рабочие дни как суббота
а по воскресеньям всем карцер в итоге

туда не взгляни и отсюда не выйди
хоть большего видимо и не достойны
родились в местечке служили не в миде
дерьма накопилось у каждого с тонну

и столько на каждого же компромата
в военное время сполна ты получишь
молчать подтянуться надеть респиратор
не спорить отжаться отжаться получше

почувствуй дух времени и как придаток
внимай что народ это ты только в сумме
засунь свой термометр знаешь куда ты
куда свой термометр сволочь засунул

направо пойдёшь бар забитый досками
налево без маски пугаешь соседку
а сверху размером с невышедший камень
весенняя почка приставлена к ветке

но всё ж улыбаться и пьянствовать можно
а значит не худшее время настало
и деятельность сексуальную мозга
используй покуда рука не устала

ходи по привычке то левой то правой
дыши в две ноздри это тоже немало
и как бы ни кашлял останется право
до вдоха последнего выдохнуть мама

* * *

родовой уют пространства
компас выбирает север
посвятив августу стансы
что пожнёшь то и посеешь

циферблат захлопнув пиццей
свой герундий трёшь спросонок
как и в сказке о копытце
в след сливая кровь масонов

победителей не судят
выпьем с горя где же пушкин
дело как всегда в посуде
рюмку чашку пинту кружку

либеральный воздух марта
кошки пьют всю ночь с котами
карл на клару марк на марту
комиссары на каттани

лучше пива нет короны
крепче вируса нет пива
на песочных у харона
время для чумы и пира

с малой вёсельною силой
взяв на борт оон и нато
да со всем электоратом
дёрнем как их в эмираты
выше плотники стропила

Монолог с судьбой

не пора ли, как говорится, часовых сменять
снять шинель и домой налегке почапать
век учись, ходят слухи, только хватит с меня
сесибон! уже вот она где, ваша учёба

ни ума не нажил, да и опыт так себе
цель та же — в иголке, а иголка — в яйцах
хороша перспектива: роскошный собес
хоспис... одним словом, давай, собирайся

упаковывай вещи, коих наплакал кот
кого не было — на котов аллергия
ибо жизнь — диссонанс исключительно ког-
нитивный и живым неизбежно врагиня

сам себе же вали подобру, пока
племя младое не схватило под ручки
незнакомое не подбросило так в облака
чтобы только попа осталась, без ручки

короче, что называется, вахту сдавать
самое время — подтяни штаны и
врубись: кранты... всё... в дрова...
не только веки, присно, но и ныне

* * *

когда я подбираю вина
для предстоящего застолья
не занятых в грядущем стульев
всё больше не моя вина

что тот не явится к обеду
а этот похоронен в среду
лет семь назад и те не едут
а эти маются в бреду

напиток разделю на части
пришедшим поспешу налить и
почти как опытный политик
других просил бы не частить

всё что останется в сосуде
допьют пусть птицы звери рыбы
и пьяницам из стран магриба
зачтут на страшном их суде

* * *

оттуда, с нила
(должно быть, снилось)
летела тихо
днём комариха,
и так хотела
мужского тела,
но тут — все эти:
мамаша, дети,
столы, диваны,
фортепиано,
не на беду ли —
всё стулья, стулья,
ведь сколько можно,

вдвойне противно
и крайне сложно,
летать в гостиной

пора б путь дальний
закончить в спальне,
где у торшера
лежит с машерой
в постели белой
мужское тело,
а в нём, о боже!,
течёт под кожей
густое счастье,
к чему причастны
мослы навалом
под одеялом:
без свойств, как музиль;
в гробу так гоголь,
отдавшись музе,—
и ради бога

но от гостиной
(и в том причина
комаро-мора) —
тьма коридора,
капут надежде —
езде одежды,
не нижней, верхней,
полно и перхоть
летит на обувь:
летишь, зришь в оба,
ведь спальня дальше,
в конце задачи,
в конце прихожей —
свернёшь за угол,
вдруг: что за рожа?!
помрёшь с испуга

не дрейфь, чувиха!
мне комариха,
что и понятно,
не столь приятна,
сколь, для примера,
щекочет нервы,
когда, поганец,
сам пищей станешь,
напитком, что ли,
в земной юдоли,
коль ты все годы
сам жрал компоты,
клевал плоть чью-то:
теперь, девица,
верши же чудо —
спеши напиться!

спокоен, палев
свет в нашей спальне,
лети, мой ангел,
тебя ждёт агнец —
в твоём прожете
я буду жертвой,
в начале лета —
твоею летой
сегодня стану
без громких стонов:
артериальной
напейся алой,
затем ляг с краю
и я, бескровный,
ведомый к раю,
тебя накрою

во сне ладонью

ОБ АВТОРЕ

Геннадий Кацов в середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» и участником московской литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон». В мае 1989 года переехал в США, где последние 32 года работает журналистом. Радио- и журналистскую деятельность начал с программы Петра Вайля «Поверх барьеров» (Радио «Свобода»).

После 18-летнего перерыва, в 2011 году вернулся к поэтической деятельности. Автор 7 поэтических книг; также сборника стихотворений, прозы и эссе «Притяжение Дзэн» (из-во «Петрополь», С-Пб., 1999) и визуально-поэтического альбома «Словосфера» (из-во «Liberty», Нью-Йорк, 2013). Член редколлегии альманаха «Времена» (США) и журнала «Эмигрантская Лира» (Бельгия). Стихотворения опубликованы в энциклопедической антологии «Самиздат Века» (1997). Публикации последних лет — в ведущих литературных журналах США, Европы, РФ; по-английски — в изданиях *Cimarron Review*, *Blue Lyra Review*, *Tupelo Quarterly*, *Verse Junkies*, *Painters and Poets*, *Life and Legends* и других.

Один из авторов англоязычной антологии «101 Jewish Poems for the Third Millennium» («101 еврейское стихотворение третьего тысячелетия»), из-во *Ashland Poetry Press*, USA, январь, 2021 год.

Последняя по времени заметная публикация — книга «На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года», выпущенная в Москве из-вом «Формаслов».

Михаил ГОНЧАРОВ
ДВА РАССКАЗА

ВАСИЛЬ ВАСИЛЬИЧ

Сегодня мне приснилось Сосново. Посёлок на Карельском перешейке, где я жил летом на даче много-много лет, — место, ставшее мне настоящей духовной родиной, где я прочёл первые книги, где каждое дерево, каждый забор, каждая поляна в лесу связаны нитями воспоминаний воедино. Здесь мой первый гром говорил со мной, и я понял его язык. Из-за каждой травинки, из-под каждого цветка там выглядывают эльфы, гномы и хоббиты, там на полянах разгуливают обезьянолюди Конан-Дойля, там в чаще ельника раздаётся тяжёлая поступь мамонтов Обручева и Эдуарда Шторха. Семь подземных королей обитают в Пещере, вход в которую замурован у песчаного пляжа на Озере, и птицы не поют, а хрипло вопят, как будто в предсмертной тоске. Муми-тролли с полотенцами брели на берег, и посреди озера качались лодочки хатифнаттов. Сколько раз маленьким мальчиком, а потом и взрослым дядей, за руку с сыном, я проходил, крадучись, по шпалам раздолбанной одноколейки, и размахивал руками, и шептал наизусть диалоги Руматы и Мак Сима, и они отвечали мне, и сын, приоткрыв рот, снизу вверх смотрел на меня и включался потом в диалог. Ветер качал верхушки сосен, солнце золотило кору деревьев, небольшие облака проплывали в тусклой северной синеве, шелест крон завивал горьковатый дымок сожжённых в соседнем дворе сухих листьев — я знал, что это Поднебесная и Заоблачная разговаривают со мной. А запахи, запахи! Хвои, липы, рябины — священного дерева колдуний, мокрой после дождя травы, солнца и нагретого им песка на склонах вересковых холмов, одетых лесом. Эти запахи нужно упаковывать в бутылочки и продавать на

вес, и требовать неподъёмные суммы за один вздох. *И ещё более*, как сказано в детской повести о Гомере Прайсе.

Там, где я живу теперь, нет никаких запахов, кроме запахов яростного солнца, знойного ветра и раскалённого камня. Здесь нет сумрачных елей, зато всюду растопырили никчёмные, ничем не пахнувшие, полтораметровые свои листья финиковые пальмы. Сосны растут лишь в горах, и я дважды в год ползу в горы — виток за витком серпантина дорог, чтобы очутиться в атмосфере, хотя бы отдалённо напоминающей ту дальнюю, забытую, детскую. Прижимаясь спиной к пыльному стволу средиземноморской сосны, из древесины которой Соломон Мудрый строил свой Храм, ловлю шёпот ветра, закрыв глаза. Я вспоминаю.

Несоответствие библейской *Эрец халав у-дваш*, страны, текущей мёдом и молоком, с реальной выжженной пустыней нагорий так разительно, что, раскинув руки между стволов сосен, я скулю как щенок. Нет ничего решительно общего между пыльной кроной сухой ливанской сосны и пышной, чуть влажноватой от росы, чуть нагретой вечерним солнцем кроной сосны Севера. Яростное солнце пустынь Юга, на которое нельзя смотреть, не прикрыв веки, вызывает к жизни древние песни воинов за веру и проклятия воздевавших кулаки к небесам пророков. Холодное солнце над отнятыми у Финляндии чащами и буреломами позволяет смотреть на него не мигая даже в полдень, и качает глубоко в душе тихие напевы Калевалы в сумрачной стране Похьёлы.

«А зимой там колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе...»

Меня привезли в Сосново ребёнком, летом, перед поступлением в первый класс. С шестьдесят девятого года и до самого отъезда из России в девяностом году я жил на даче во время каникул и отпусков — в одном доме на тихой Шоссейной улице, со всех сторон к которой подбирался лес моего детства. Хозяином дачи был Василий Васильевич.

Он работал на местной железнодорожной станции, на полпути между Выборгом, Приозёрском и Сортавалой. Где он родился, крестьянин, как очутился после войны в этой Богом забытой деревне, он никогда не рассказывал. Он никогда не рассказывал о Великой войне, за участие в которой ему выделили клочок земли в карельских лесах, —

много позднее я узнал, за что. Он не знал, сколько ему было лет. Он родился в позапрошлом веке, и данные паспорта своего, выданного царскими чиновниками, он забыл.

Родители мои, а позже я сам, снимали две комнаты у него в доме. Утром, в пять часов, он уходил на свой полустанок и возвращался на закате, и до первых звёзд копался в саду. Он выращивал малину, чёрную и красную смородину, мелкий картофель, огурцы. Он угощал меня плодами своего огорода. Я помню первый раз, когда он встречал нас, своих дачников, в июне шестьдесят девятого. Высоченный лысый дед с оттопыренными ушами, худой, жилистый, с буграми мышц по всему телу, с каменными бицепсами, отложил в сторону косу, пинком ноги отшвырнул копну одуряюще пахнувшего сена, и шагнул нам навстречу. Голос у него оказался скрипучим, как несмазанное колесо телеги. Зелёные глаза смотрели пристально из-под кустистых бровей. Он сунул каменную ладонь моему отцу и гаркнул:

— Здоров! Я — Василь Васильич. А ты кто будешь?

Не дожидаясь ответа, он перевёл взгляд на меня.

— Здоров! Ты — кто?

— Я... Миша.

— О! Миха, значить. Мих, ты чёрную смороду будешь?

Я боялся его, огромного, нависшего надо мной, пахнущего здоровым чистым потом, и сказал, что — да, хочу. Я ненавидел чёрную смородину.

Потом мы сидели на скамеечке за врытым в землю столиком. Я, даясь ягодами, щедро насыпанными в плетёное лукошко, смотрел, как хозяин выставил на стол огромную бутылку прозрачного, как слеза, самогона, и закуску: три помидора, тёплый, только что сорванный огурец, зелёный лук, неровно порезанные куски чёрного, тяжёлого как подкова хлеба и соль в тряпице.

Василь Васильич опрокинул в рот стакан и с неодобрением покусился на сигареты, вытасченные моим отцом из кармана куртки.

— Брось! — гаркнул он. — Не люблю. Дьявольское изобретение. Коммунисты придумали.

Отец поспешно спрятал пачку в карман.

— Да ведь, Василий Васильевич, люди курили и до советской власти...

— Махру курили! И трубку! А коммунисты придумали чище, чем европейские жуки—у тех просто вонючая бумага табак окружает— а они придумали чище! Понял?! Эй, малый, ты сам-то не из этих ли буишь? Не большевик?!

Василь Васильич рывком привстал со скамьи. Родители молчали, боясь раздражить сурового хозяина лесной дачи. Они ничего не поняли. Отец отрицательно качнул головой.

— Бе-ло-мор! У европейских жуков-та короли да принцессы-бл...и на обложке, а наши рабство на пачке увековечили! Чище ещё! Понял?! Брось, не люблю! Ты у меня в саду гость, в доме жить будешь, папирос не курить— понял?!

Отец с мамой, видимо, поняли о рабстве и Беломоре, я же тогда понял лишь, что грозный старик никому не даёт курить у себя в доме и вообще на своём участке.

Тот первый разговор с ним я запомнил на всю жизнь, он впился в мою память вместе с терпким вкусом смородины на языке.

Василь Васильич жил своим огородом. В продуктовом магазине посёлка он покупал лишь хлеб и соль. Корова Рыжуха снабжала его молоком, остальное он выращивал у себя в саду сам. Мяса не ел. Самогон гнал в невероятных количествах и выпивал его сам или с дачниками и их гостями, причём всем наливал щедро и поровну.

— Моя дневная порция— пятьсот грамм самогону, понял?! Овощи-фрукты— да! Мои личные! Мясу— бой! В их сраных мага́зинах я покупать говно не намерен! Бе-ло-мор... Сигареты на участке увижу— смерть. Понял?

Телевизора в доме не было, радиоточку хозяин забросил на чердак «в пяст шестом, при Хруще ишшо». Газеты использовались исключительно в сортире; я заметил, что хозяин отдаёт предпочтение «Правде» и «Труду». Я подростком ещё полюбил Василь Васильича, я верил ему слепо, я, разинув рот, слушал его рассказы о жизни. Он был мудр, и хлёсткое слово его, припечатываемое к любому событию, было почти законом. Уже студентом, привезя как-то летом на дачу мою Ирку— на смотрины Василь Васильичу, я вдруг понял, что лысый старик с оттопыренными ушами понимает толк не только в водке, но и в женщинах. Осмотрев бледнеющую Ирку со всех сторон— она была в шортах и купальном лифчике по случаю жаркой июльской погоды, с томиком самиздатовского Сартра в руке— он заиграл буграми мышц и рывкнул вдруг:

— Миха! Эту — только в койку! Жена не будет. Го-ро-жа-ноч-ка... Всё!
И ушёл косить своё сено.

На Ирку, прожившую у него в доме после этой первой встречи ещё много лет, внимания больше он не обращал никогда.

Я знал, что это — приговор, не подлежащий обжалованию. Что будет так, как он сказал. Так и стало — пусть спустя почти десять лет...

О коммунистах он говорил с нескрываемой злобой, никогда не раскрывая причины, но я догадывался, что истоки её — в годах коллективизации, в далёкой поре его молодости. О войне — не рассказывал, касаясь её лишь косвенно; о нацистах он говорил с отвращением, как о жуках, но — с некоторым уважением.

— Хозяева́ были! Да. Маттттььь...

Он пил безбожно, но никогда не пьянел. Вокруг него всегда вились более или менее молодые дачницы, и я сперва удивлялся этому — старик был резок и зол как сто чертей, лыс, имел прозрачной голубизны глаза и искривлённый вечной судорогой рот, из которого ежеминутно вылетала ругань по адресу горожан, дураков-соседей, женщин и вообще коммунистов.

Меня он полюбил. Я почему-то напоминал ему внука, любимого внука Ванечку, который скурвился, ушёл из железнодорожного депо в город, вступил в партию и стал бойко продвигаться по комсомольской части. Старик оборвал с ним все контакты лет за десять до моего рождения.

Жена Хозяина, как мы все почтительно именовали его, «Дашка Семёновна, умерла вовремя, перед войной, аккуратно, значить, в тридцать седьмом». Позже я догадывался, отчего она умерла, но ни разу не рискнул спросить об этом Хозяина. Трое сыновей его погибли на фронте, один из них — ещё в финскую кампанию, в тридцать девятом. Остались у Васильича две дочки и масса внуков и правнуков, имена и годы рождения которых он путал. Почти никто из них никогда не приезжал проведать главу клана, и он, казалось, вовсе не огорчался этому. В День железнодорожника, в его профессиональный праздник, под вечер, к нему набивались соседки — ещё не старые, бойкие бабёнки лет сорока-пятидесяти, все — обязательно в белых платочках (он так любил). Хозяин вытягивал из сарая древнюю, огромную гармонь, разваливался на лавочке у входа в свой сад, на солнечной лесной поляне, и выкрикивал диким голосом единственный куплет:

*Пароход плывёт — волна кольцами,
будем рыб кормить*

— комсомольцами!

*Пароход идёт — мимо пристани,
будем рыб кормить — эх!*

— коммунистами!

Бабёнки, взвизгивая, плясали перед ним, призывно трясая спелыми грудями, а он, прищурившись, озирает их, как петух — квочек.

Всё, что он изрекал путного, пусть один-единственный раз, я запомнил намертво, — как запомнил навсегда и этот странный куплет.

Я никогда не мог понять, сколько ему лет, почему он не стареет. Годов своих он не знал; в шестьдесят девятом он давно был на пенсии, хотя каждый день аккуратно ходил на работу на свой полустанок, где его ценили. Руками, кажется, он умел делать всё. Косил сено для своей Рыжухи он так, что я никогда не мог угнаться за ним. Много раз я просил его дать мне косу, и он, ворча что-то о баловстве, неохотно давал мне её, но я останавливался уже на десятой минуте. Василь Васильич, посмеиваясь, уходил за это время вперёд метров на тридцать...

Метрах в ста от его участка находился заброшенный пустырь, в центре которого, среди развалин, стояла землянка. В землянке жил старик, возрастом, пожалуй, древнее нашего хозяина. Это был бывший полицей, при немцах или финнах получивший в своё ведомство весь этот район, но никого, по слухам, не погубивший и с партизанами отношения имевший хорошие. Отсидев после войны положенные пятнадцать лет, он приехал сюда и, работая на колхозников подённо (пенсии от государства ему не полагалось), сумел скопить денег и построить на пустыре дом. Как только он его построил, дом сожгли неизвестные патриоты, — вероятно, дачники. Бывший полицей переселился в выкопанную им самим землянку, не доедал, не досыпал, жил как во сне — но в 72-м построил вторую избу, поплоше первой. Её немедля сожгли снова.

...Я проснулся от криков, топота и хохота толпы. В ночном окне плясали отблески пожара. Я выскочил из дома.

Толпа плотно окружила горящий участок, не входя в пылающий круг. Горело всё — изба полицая, сарай, даже жалкая теплица поодаль. Бензином были облиты в огороде аккуратные ряды помидоров и картошки. Старик метался по пепелищу и вскрикивал тонким голосом.

Дачники гоготали, соседи-колхозники молчали задумчиво. Никто не спешил помочь. Мой отец, стоявший тут же, что-то спросил — ему ответили невнятно: «полицай же... падла». Отец замолчал.

Толпа вдруг раздалась. В пылающий круг влетел наш хозяин с ведром воды... Резко остановился, постоял с полминуты и аккуратно опустил ведро на землю. Махнул рукой: «эх-ма тут ничё не сделать... Пошли, Федорыч, ко мне».

Федорыч, убитый горем, не слышал.

Василь Васильич обернулся к толпе, белые, прозрачные глаза его медленно выкатились. Ближайшие зеваки вдруг шаррахнулись в стороны.

— Вы — говно!.. — не очень громко, но с каким-то упоением страсти произнёс Хозяин. — Вы были — есть — и будете — ГОВНО.

И ушёл, пнув ведро, разлив воду. Толпа молча расступилась перед ним. Бывший полицай побрёл следом.

Всю ночь они пили самогон, а наутро Васильич ударил два раза в дверь моей комнаты:

— Миха... у тебя есть какие-нибудь штаны, тебе не нужные али ношенные?

Штаны у меня были.

— Дай сюда. Федорычу пойдут. У него ни хрена не осталось вообще. Пока жить будет у меня. Мои портки ему велики. Давай штаны.

Я не дал штанов... Я залепетал что-то о фашистах, полициях, предателях родины. Мне было двенадцать лет. Старик стоял, нависнув надо мной, как глыба. Потом сказал:

— Ты молодой исчо. Ты не понимаешь. Федорыч никого не повесил, он даже людей спас нескольких на войне. Потом он сидел, и искупил. А это говно развлекается так — ты понял? Они жгут его, не потому что не любят фашистов, а потому что знают им за поджог ничего не будет. Пионер, бл...ь! Давай штаны!..

Я вытащил из шкафа старые мои, летние тренировочные штаны и нехотя подал Хозяину. Он взял их и, не сказав больше ни слова, ушёл к себе.

...Прошло много лет. Федорыч прожил у Хозяина лет пять и умер. Я приезжал на дачу снова и снова — старшеклассником, студентом, потом учителем, потом — уже эмигрантом. Василь Васильич, казалось,

не старел. Он лишь немного усох и потерял все зубы, но по-прежнему шелестел в саду косой, и по-прежнему буграми его мышц любовались из-за покосившегося забора дачницы и соседки.

Он стал чуть забывчив, уши на лысой голове его оттопыривались с каждым годом всё сильнее. Он стал как-то лихорадочно менять женщин. Каждый год у него в саду появлялась новая подруга. Женщин он выбирал придирчиво, но быстро. Главным достоинством в его глазах была толщина и размер груди. Каждый раз по моём приезде решето с малиной и кувшин молока на деревянный столик в саду ставила новая подруга. Им было по сорок-пятьдесят-шестьдесят лет. Старик радовался мне, спрашивал о здоровье, об Иерусалиме, о том, душат ли на Святой Земле коммунистов, о том, хорошая ли хозяйка моя новая жена. Я сказал ему в 93-м, холодной, мокрой осенью, примчавшись в деревню почти сразу с самолёта и таможни, сидя в саду за самогоном:

— Василь Васильич, господи! Я вырос, уже скоро стареть начну, а вы — всё такой же... Вы вечный какой-то, честное слово.

Старик хмуро скосил зелёный глаз на ползавшую в парнике очередную хозяйку:

— Мне, Миха, точно уже за сто... Я это чую. Эй, Манька, подьсюды!

Манька подошла как-то боязливо. Круглое милое лицо, серые глаза. Коса, завязанная вокруг головы...

— Ты довольна мной?

Она спешно кивнула.

— Ну, иди, ишшо покопайся. Юбку-то закрой, ты. Надует. Потом поесть сообрази нам. Всё. Иди.

— У неё свой участок есть, и мово ей не надобно. Она за любовь ко мне жить приехала. Пока я могу с бабой — я жив. А ты, если уже не смогёшь — ты уже мёртвый. Понял?! — и зареготал несмазанным колесом. Потом прибавил потише:

— Эй, Маньке-то, тридцать восемь весной будет. Хахаля свово она прогнала. Он ко мне заявился права качать — я его поленом шуганул, коммуниста фуева. Теперь не придёт уже. А она мной довольна. И ишшо лет цать довольна будет. Пока я жив. Понял?!

Потом посмотрел пристально, вдруг привстал, обнял меня за шею, сгрёб железной пятернёй волосы и сделал мне «смазь» шершавой ладонью. Легонько оттолкнул от себя:

— Всё. Иди. Езжай в свои палестины. Может, исчо увижу тебя. А может, нет. Чего-то сердце колет. Часто.

И я приезжал ещё: в девяносто седьмом и в девяносто девятом. Женщины менялись уже не так часто. Старик радовался; перед тем, как завести меня в дом, сажал за столик в саду, и мы пили его самогон. Я рассказывал про арабов, он — про то, что в России «получше стало без коммунистов, но всё равно херово, оттого как эти вот — исчо хуже».

В позапрошлом году я приехал в Питер снова. Был декабрь, снег по колёно, я не поехал в деревню к Василь Васильичу. Телефона у него не было, я не знал, как пробиться. Потом я вернулся домой...

Сегодня утром из небытия вдруг возникла Люся, старая молочница из Сосново, одна из бывших бесчисленных любовниц Старика. Оказывается, у неё, непонятно с каких пор, сохранился номер моего иерусалимского телефона. Она звонила из лесного почтового отделения, рыдая в голос.

— Миша, Васенька умер три дня назад...

Я спросонья не мог понять, кто такой Васенька, но Люсю я узнал.

— Мы шли за гробом все — все его бабы. Похоронили его у той рябины, на нашем кладбище в посёлке. Рябину ты помнишь, да?

Я не помнил рябины.

— А нас целая толпа шла, ты знаешь... Ни одного мужика — все его деповцы на железной дороге-то умерли давно, а больше, окромя нас, баб, никто его не помнил... Ты приезжай, Миша, приезжай! Он тебе будильник в наследство оставил, с хромом! Помнишь будильник?

Будильник я помнил. Я любил играть ещё мальчиком этими старинными серебряными часами с малиновым звоном, висевшими на стене в хозяйской горнице. Это была единственная ценная вещь в доме Василь Васильича, и он шутя говорил мне всякий раз, когда я приезжал к нему уже из-за границы, что завещает мне их... Я промямлил что-то в ответ Люсе, поблагодарил за звонок... Я не почувствовал грусти, только какая-то холодная лапа легонько сжала мне сердце, сжала — и сразу отпустила.

ФАННИ

Есть люди, которые по какой-то прихоти природы получают от жизни очень много, причём сразу и без особых внутренних усилий. Их личное и общественное устройство на этом свете идёт

так, словно незримый ангел-хранитель держит над ними ладонь и защищает от невзгод. И есть люди, которым всё даётся с кровью, с выдирианием из почвы, с хрустом костей, со скрежетом зубовным.

У меня такой была бабушка, папина ма, как мы её называли. Порядочнейший, умнейший и несчастнейший человек. Всё ей давалось в плане жизненного устройства необычайно трудно, и это при всех врождённых талантах и способностях. ВСЁ было необычайно тяжело и трудно. Всё абсолютно. Жизнь прошла, скрючившись. До самого её конца. Она достойно, но так тяжело прожила жизнь (и умерла в муках), что меня, когда я хотел её именем назвать дочку, отговаривал от этого мой собственный отец, её сын. И отговорил.

А есть у меня и такие родственники, друзья и знакомые, которые в жизни, по большому счёту, при всех своих талантах для реализации их не ударили палец о палец, и при этом всё у них получалось сходу. И семья, и работа, и доход, и спокойствие, и наслаждение удовольствиями всевозможных сортов, и творчество.

Возникает ощущение какого-то рока. Одни вполне достойные люди идут по жизни, смеясь. Другие, не менее достойные, — хрипя и задыхаясь от напряжения, всхлипывая на поворотах.

...К таким личностям относилась и Фанни Давыдовна, пусть земля ей будет пухом, нехорошо смеяться над покойниками. Сегодня ночью её светлый сумасшедший образ впервые за пятнадцать лет проник в моё исковерканное джином с тоником и без ононого сознание. Она страдала так же, как и моя бабушка, но, в отличие от бабушки, страдала за глупость — свою и своих родителей. Даже скорее так: сперва — за глупость родителей, а потом уже за свою собственную глупость. Ведь свою глупость она имела шанс исправить ещё при жизни, но этого так и не сделала. По глупости. Фанни Давыдовна приехала в Советскую Россию вместе со своими папой и мамой — американскими коммунистами — в середине 30-х годов прошлого века. Приехали они из Бронкса, Нью-Йорк сити, покинув особняк о трёх этажах и восьми комнатах на каждом — строить коммунизм. Они не могли строить коммунизм для-всех у себя в Бронксе, чего жаждала душа их, ибо в Америке вообще можно строить его лишь для одной отдельно взятой семьи — для своей собственной. И они его, между прочим, построили, и теперь рвались строить его для других.

Фанни Давыдовна прожила на свете восемьдесят шесть лет, из них большую часть — в Советской России, но до самого конца так и не из-

бавилась ни от чудовищного английского акцента, ни от корёженья русских неправильных глаголов. Этот акцент и это корёжение, принимавшиеся за издевательство над русским языком, ей пытались выбить вместе с зубами на протяжении тех двадцати двух лет, что она провела в лагерях. Зубов у Фанни Давыдовны не осталось, но акцент и дикая речь остались.

Родители её погибли задолго до того, как Фанни Давыдовна вернулась из Магадана, но ни печальные обстоятельства их безвременной кончины, ни английский акцент не помешали Фанни Давыдовне с гордостью получить обратно свой партбилет на Старой Площади в Москве, в то время как остальные бывшие иностранцы-коммунисты, из того же Магадана возвращавшиеся, не только никакого билета обратно получать не стремились, а напротив, будучи от природы неблагодарными скотами, стремились как можно быстрее покинуть пределы приютившей их страны, чтобы вернуться в объятия капитализма в странах своего исхода.

Фанни же Давыдовна, одинокая, сгорбленная, страшная, похожая на Бабу-Ягу, с огнём в подслеповатых очах и ртом, полным стальных зубов, осталась строить коммунизм. Ей выделили комнату в коммуналке и вернули изящный кружевной зонтик — единственное, что осталось от матери, арестованной тёплой московской майской ночью тридцать седьмого и в том же году сгнившей — бесследно и навсегда.

С этим зонтиком Фанни Давыдовна ходила на партийные собрания, на демонстрации, на митинги протеста по поводу войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, на торжественные заседания — на все общественные мероприятия, куда её приглашали и не приглашали на протяжении последующих сорока лет. Седая как лунь, одетая зимой и летом в старое пальто некогда зелёного цвета, подаренное ей кем-то из жалости, она ходила с зонтиком так долго, что от него остался один скелет, но таскала зонтик с собой, вызывая ужас соседей, прохожих и ответственных работников. Размахивая этим скелетом, она выступала на всех собраниях, на чудовищном своём русскообразном языке, с картавыми идиоматическими оборотами на идиш — втором языке своего детства, клеймя чилийскую хунту, генералиссимуса Франко и израильскую военщину. Она произносила речи ультрапатриотического содержания, вызывавшие тоску и зевоту даже у правоверных, и даже подруга её, глухая как пень, ортодоксальная больше-

вичка Мариэтта Шагинян, выслушав очередную речь через слуховой аппарат, как-то сказала ей прилюдно: «Фаня, ты идиотка».

Фаня осталась на родине победившего социализма до самого конца. Она была единственной в Публичной библиотеке, кто отказался сдать свой партбилет даже после провала Августовского путча. Она вступила в КПРФ и участвовала во всех уличных шествиях этой партии, но на открытые собрания её не допускали — у присутствовавших коренных пролетариев начинали самопроизвольно сжиматься кулаки при звуках её голоса, издевательски, как они полагали, коверкавшего нормальную русскую речь. Они повторяли распространённую ещё среди колымских надзирателей и вохры ошибку полувековой давности, но некому было им рассказать об этой ошибке. Фанни Давыдовна не любила вспоминать о перегибах прошлой власти, да вдобавок совершенно оглохла и потому шипения пролетариев не слышала.

Последнее, что я слышал о ней... В дни расстрела парламента, в печальном октябре 93-го, Фанни Давыдовна, опираясь на клюку и держа скелет своего зонтика, притащилась к зданию, где засели бунтовщики. Никто не знает, как удалось ей миновать все заслоны и проникнуть в парламент, но она сделала это. Говорят, что всем встречным спецназовцам она показывала затасканное, изорванное на сгибах письмо, присланное ей сорок лет назад лично Хрущёвым с поздравлением к очередному празднику Великого Октября, и охрана расступалась, полагая, что речь идёт всего лишь о полоумной, безвредной старухе.

Мне рассказывали, что, когда начался штурм, Фанни Давыдовна добровольно осталась прикрывать отход защитников Белого дома. Я более чем уверен, что никто ей этой миссии не поручал. Более того, я уверен, что эта сгорбленная, почти столетняя старуха была единственной, кто стоял у входа в момент, когда на штурм двинулись элитные армейские части. Бог весть, что творилось в седой её голове... Я знаю лишь (и верю я в это истово, хотя любая историческая легенда неизбежно обрастает дополнительными мифами) что, когда, теперь уже без перерывов, загрохотала стрельба и в холл хлынули спецназовцы, Фанни Давыдовна дико закричала что-то невразумительное — на русском, английском или идиш, я не узнаю уже никогда — ковыляя на клюке, кинулась наперерез, подняла свой зонтик и ударила им одного из солдат...

Он застрелил её.

Мне рассказал об этом по телефону Коля, общий наш бывший сотрудник, знавший нас обоих в советское, доперестроечное время, диссидент и злейший враг Фанни Давыдовны. Он плакал и повторял: «Это не зонтик был, а маршалский жезл».

Чёрт знает что от бессонницы вспомниться может ночью.

ОБ АВТОРЕ

Михаил Гончаров (род. 2 сентября 1962, Ленинград) — израильский историк, публицист и прозаик.

В 1984 г. закончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена. С 1990 г. проживает в Израиле. Научный сотрудник Центрального архива истории сионизма (Central Zionist Archives), Иерусалим. Специалист в области истории еврейского анархистского движения (т.н. идиш-анархизм). Автор трёх монографий и многочисленных публикаций в академических изданиях и статей в прессе Израиля, России, США.

Пишет на русском, иврите, идиш. Статьи переводились на ряд европейских языков. Лауреат премии «Олива Иерусалима» в номинации исторических исследований (2006).

В 2007 г. в Бостоне вышел сборник прозы «Записки маргинала», в 2014 г. в Москве — второй («Хамса для подруги детства»). Публикуется также в литературных журналах и альманахах Израиля, России, США. Участник Содружества русскоязычных писателей Израиля «Столица», член Международной федерации русских писателей. С 2016 г. — член редколлегии Российской еврейской энциклопедии.

Джейкоб ЛЕВИН

УСПЕХ

В квартиру Вернера Коля, Нобелевского лауреата по литературе за 2030 год, через окно забрался Графоман. Квартира была расположена на предпоследнем этаже семнадцатизэтажного дома в Нью-Йорке. Графомана звали Эдди Биттон. Сорок лет назад он родился в Америке, но родители его были родом из Англии, из Глостершира. Когда Эдди Биттон проник в квартиру Вернера Коля, он уже был одним из известнейших писателей Америки.

Для того, чтобы осуществить свой дерзкий план, он использовал подвесную корзину для мойщиков окон.

В прошлом он был уборщиком офисов. Но однажды с ним произошло следующее...

Как-то в конце рабочего дня, когда в помещении никого уже не было, он стоял на подоконнике какого-то офиса на тридцать втором этаже манхэттенского здания и пробовал своим скребком дотянуться до верхнего оконного стекла, снаружи помеченного чайками. Эти чайки уже не одну сотню лет кормились отходами в окружённом со всех сторон водой Манхэттене. Небоскрёб был одним из первых таких высоких зданий в Нью-Йорке, и окна открывались по старинке. Мыть окна снаружи не было его обязанностью, это обычно делал мойщик окон. Но Эдди любил порядок и чистоту и ждал, пока появится мойщик, не хотел.

Поскольку окно было старой конструкции, Эдди поднял нижнюю раму повыше, осторожно ступил на подоконник с наружной стороны и, крепко держась за раму одной рукой, другой стал соскребать дерьмо, громко понося птиц. Он делал это уже не в первый раз. Но неожиданно произошло то, чего раньше никогда не случалось. Рама опустилась, защёлкнулась, и он остался стоять снаружи.

В ту ночь он многое передумал. Дело было летом. Глупые чайки, прекрасно видя его силуэт на фоне освещённого окна, кружились вокруг в надежде на остатки возможного «хот-дога». Совсем близко пролетали полицейские вертолёт, шевеля волосы Эдди воздухом от своих винтов. Комары, чувствуя полную безнаказанность, жалили Эдди беспощадно. Ему только и оставалось, что наблюдать и ждать, пока брюшко очередного комара наполнится его кровью. Из-за его силуэта с растопыренными руками, пилоты вертолёт принимали Эдди за мойщика окон. Смотреть вниз и наблюдать за крохотными машинками Эдди не боялся, возможно потому, что не вполне понимал последствий падения с тридцать второго этажа. Эта ночь длилась целую вечность.

Сначала он не очень интересовал чаек, но постепенно они поняли, что положение Эдди безнадёжно, и поочерёдно начали атаковать его, требуя еды. Огромные альбатросы с крыльями в размахе более пяти футов били им его по голове и лицу. Он попробовал отвлечь их и зубами, изловчившись, разорвал пакетик с чипсами. Это было большой ошибкой. Чипсы, кружась в воздухе, полетели вниз. Чайки подхватывали их на лету, став ещё несноснее. Когда они вернулись, их стало больше, они щипали его клювами за щёки и пальцы и таскали его за волосы. Очевидно, таким образом они требовали еды. Вдруг высоко над ним, держа в клюве довольно большого краба, пролетела огромная чайка. Вероятно, это был её обед, и она искала, куда бы лучше сбросить краба, чтобы расколоть его панцирь и выклевать содержимое. По этой причине она разжала клюв прямо над головой Эдди, и краб, кружась в воздухе, полетел вниз мимо него. Чайки с пронзительным криком устремились за ним. Эдди получил передышку.

Ранним утром появился первый долгожданный клерк и впустил его в помещение. Ноги Эдди одеревенели настолько, что, спрыгнув с подоконника внутрь, он упал на пол комнаты. Полиция и спасательная служба приехали позже.

Эдди отчётливо понимал, что дальнейшая его жизнь уже не будет такой, как прежде. Тогда же он принял окончательное решение — стать писателем. Писатели рискуют меньше, а денег зарабатывают намного больше.

Через несколько минут в офис ворвалась группа репортёров из «Дейли Ньюс» и других газет, поменьше. В руках у каждого из них

уже была распечатка фотографии, присланная пилотом вертолётa. На ней ясно был виден мужчина, стоящий в оконном проёме тридцать второго этажа, широко расставив ноги, спиной к пилоту. Мужчина кончиками пальцев обеих рук держался за узкие боковые наличники.

Когда страсти улеглись, репортёры исчезли, а абсолютно измученный Эдди Биттон присел на стул, менеджер спросил его:

— Куда теперь, Эдди?

— Стану писателем.

— А профсоюз уборщиков тебе уже больше не пригодится?

— Мне после увольнения должны оставить медицинскую страховку ещё на тридцать дней. Надеюсь, что за тридцать дней я что-нибудь напишу и неплохо заработаю на этом. Пришло время писать книги, — пояснил Эдди.

— Какие книги? — осведомился менеджер.

— Книги обо всём. О чайках, о комарах и о том, как нужно писать книги и как хорошо быть писателем.

— Понимаю, — посочувствовал ему менеджер и глубоко вздохнул.

Дело было в то время, когда бумажные книги, кроме Библии, стремительно исчезали из обихода и найти типографию было нелегко. Но Эдди не воспринимал другие книги и по совету знакомых стал искать религиозное книжное издание, специализирующееся на печатании Библей.

Уже через неделю Эдди принёс в небольшое издательство «Конкордат» свою первую книгу, написанную за пять дней. Там его приветливо встретил хозяин. Сначала он задал ему следующие вопросы: о каком тираже книг идёт речь, какой формат предполагаемой книги и как скоро он хочет видеть готовым макет будущей книги.

Эдди на миг замялся.

Тогда издатель-мужчина в синей спецовке с фломастером за ухом и вантузом в руке успокоил Эдди:

— Вам ни о чём беспокоиться не надо. Вы — в надёжных руках. Книга будет готова вовремя. Редакторская работа уже сделана?

— Но мне сказали, что редактор попросит дополнительных денег, а я недавно уволился с работы...

— Сожалею, но на этом вам сэкономить не удастся. Кстати, как называется ваша книга?

— Книга называется: «32 этаж — вот в чём вопрос». Она должна быть карманного формата, чтобы всегда иметь её с собой и читать везде.

Когда Эдди выходил из издательства, в коридоре встречающая женщина спросила его, где он покупал атташе-кейс.

— Это очень дорогой атташе-кейс. Он снабжён электрошокером и вдобавок — при попытке вырвать его из рук хозяина он выбрасывает порцию разноцветного дыма, который можно увидеть на расстоянии одной мили.

— А как он выглядит внутри?

— Обыкновенно. Сейчас там мой завтрак.

Эдди вышел из издательства, повернул за угол и, увидев свободную скамью под деревьями, уселся и достал из атташе-кейса свой завтрак. Сэндвич из хлеба и маринованного огурца. Он даже не заметил, как за ним от самого издательства следовал человек.

— Вы позволите присесть, сэр? — спросил незнакомец.

— Садитесь, места хватит, — ответил Эдди и подвинулся.

— Вы меня не видели, но я стоял за вами в издательстве и через ваше плечо успел прочесть несколько строк из начала вашей книги. Мне они безумно понравились. У вас есть копия книги?

— Да... вот...

— У вас тут написано: «Тем временем время шло и чайка подумала что я подумал что люди за стеклом подумают что я отказался её покормить и мне стало стыдно потому что из провизии у меня был пакетик чипсов и я хотел открыть пакетик с чипсами только после работы по дороге домой когда я буду ехать на автобусе номер 50 а сейчас я должен держаться руками за карниз а сестра элен ничего такого не купила мне что я бы смог съесть с таким аппетитом с каким я всегда ем чипсы ...»

Ни одного знака препинания и заглавных букв в тексте не было.

— Ведь это гениально, сэр! У меня есть предложение к вам!

— Какое?

— Я покупаю ваш роман за триста долларов и ещё двести плачу за право публикации всего, что будет написано вами в течение года! Главное условие: ни в коем случае не редактировать и не исправлять стиль и оригинальную пунктуацию. Хотя у вас там и так нет ни одного знака препинания, — улыбаясь, добавил незнакомец. — Далее: я оплачиваю все расходы, связанные с печатанием вашего романа. В покупку романа входит моё исключительное право на его публикацию. Вдобавок

вы получаете пятнадцать процентов от прибыли. Если вы согласны, встречаемся завтра, здесь же, в двенадцать часов дня. Офисы нотариусов и адвокатов на другой стороне улицы. Выбирайте любой. Кстати, в виде задатка, вот вам сто долларов, — и он протянул Эдди хрустящую бумажку. — Заполните на эти деньги ваш холодильник нормальными американскими продуктами. Маринованные огурцы мало способствуют литературной деятельности. Не забудьте: ни в коем случае не редактировать! И ещё один вопрос: у вас дома были книги?

— Были. Две: «Робинзон Крузо» и «Граф Монте-Кристо».

— Сколько книг вы прочли за свою жизнь?

— Нисколько. Но моя старшая сестра Элен в детстве читала мне книгу, которую написал Граф Монте-Кристо. Это было прикольно и круто. Сестра сказала, что он в конце книги всех «построил»!

— А «Робинзона Крузо» вы читали?

— Я — нет. Отец читал.

— И это всё?

— Всё. А что, мало?

— Да нет... Достаточно... Кстати, сэр, я забыл представиться. Моё имя — Морис Шнайдер. Я — психиатр. Не подумайте, что я собираюсь провести какой-то эксперимент с вашим участием. Меня интересует только бизнес и получение максимальной прибыли.

Такой вот состоялся разговор. Старшая сестра Элен преподавала рисование в школе для глухонемых детей. Она сказала Эдди, что скорее всего психиатр Шнайдер исследует влияние литературы, созданной графоманами и врождёнными идиотами, на среднее американское сознание...

Так появился новый американский «бестселлер», а вместе с ним и восходящая звезда американской литературы.

Очень скоро работники издательств стали подсказывать Эдди выбор тем.

Он мог выбрать — написать ли детектив, историю одной любви, фантастический роман о туманности Андромеды или книгу об исходе евреев из Египта под названием «Let my people go!».

Он не боялся никакой работы и брался за всё. Но однажды, когда по совету знакомого работника издательства «Саймон & Шустер» он дописывал исторический роман — что-то про лорда-протектора Оливера Кромвеля, ему предложили дополнительную работу. Он впервые

не выдержал и отверг это предложение, послав всех в задницу. Потому что он давно собирался провести отпуск в Англии, в Глостершире у дяди и там насладиться прогулками с его пуделем по имени Сталин. Он устал.

Однако, интерес читательской публики к его книгам не ослабевал. Книги с обложкой, на которой был изображён огромный, как Гулливер в стране лилипутов, Эдди, стоящий на подоконнике тридцать второго этажа, выше вертолётов, комаров, мух, чаек и других птиц, расходились как горячие пирожки. Самые юные читатели, преимущественно ученики публичных школ из неблагополучных семей, лучше всех понимали писательский стиль Эдди и принимали его за обыкновенный диалог писателя с юными читателями. Взрослые же, раскрывшие книгу в первый раз, вдруг обнаруживали странный, абсолютно новый, девственный взгляд на то, что они ранее считали банальным, тривиальным и неинтересным. Но, уже не в силах прервать чтение, они не могли заснуть всю ночь, пока не заканчивалась книга Эдди, или пока не наступало утро, и нужно было опять идти на работу. Даже седовласым старцам, умудрённым жизненным опытом, не терпелось хоть раз взглянуть на мир глазами Графомана и Идиота Эдди Биттона.

По мере того, как популярность книг росла, счёт психиатра Мориса Шнайдера в «Чейз» банке рос так же.

С Эдди Биттоном дела обстояли хуже. Из-за занятости у него даже не оставалось времени проверить свой счёт в банке. Он не знал, скоро ли он подойдёт к вождеденной черте — один миллион долларов.

Его книги уже продавались по всей Европе. В Англии, Франции, Германии, Италии, Израиле и Польше. Даже те, кто считал своим родным языком арабский, фарси, хинди, урду, иврит или мандарин, а английский понимали едва, — все проявляли интерес к его книгам. Все, кто помимо знаний своего родного языка обладал хоть малыми знаниями английского и крохотной долей чувства юмора, старались понять язык Эдди Биттона. Его наиболее «удачные» фразы и слова любителями его книг мгновенно превращались в афоризмы и становились «хитами».

Поскольку Эдди Биттон отказывался издавать электронные книги, интерес к забытой бумажной книге был снова пробуждён.

Было время, когда Эдди недоумевал по поводу того, что его книги не требовали редактирования и даже подозревал, что с этим что-то неладно. Но позже он успокоился, поняв, что он не единственный.

У него появились эпигоны. Он познакомился с другим писателем, американцем итальянского происхождения по имени Фрэнк Феррара, который хорошо понимал Эдди. Фрэнк успокоил его. Ведь конечный результат таланта писателя — это его счёт в банке...

Книги Фрэнка всегда начинались очень красиво, но уже на третьей странице он переходил на описание красоты своего тела, и так было на протяжении всей книги. Фрэнк и сам догадывался, что здесь что-то не так, но ничего с собой поделать не мог. Он был влюблён в своё тело. Правда, его книги совершенно не покупались. Вероятно, такой писатель, как Эдди Биттон, нужен был американским читателям только в единственном числе. Естественно, Фрэнк завидовал своему другу, но безгранично уважал его.

Эдди же объяснял постоянное фиаско Фрэнка тем, что литературные нравы американского книжного рынка портят бесчисленные лауреаты всяких премий, бездарные и не умеющие выражать свои мысли прямо, откровенно и просто, как он. Особенно его раздражал Нобелевский лауреат по литературе Вернер Коль, также проживавший в Нью-Йорке.

Более путанного и непонятного субъекта Эдди ещё не встречал и, когда спрашивали его мнение, терпеливый и порядочный Эдди, сдерживая себя из последних сил, уходил от ответа всеми возможными способами, хотя и знал: Вернер Коль — источник многих несчастий. В его отвратительной надменной манере было называть книги тех, кто ему не нравился, непонятым словечком «солипсизм». (Солипсизм — подмена субъективной реальности собственным мировоззрением — прим. ред.). И этот выскочка учил американцев по-своему пользоваться английским языком?!

Эдди понимал, что Вернер Коль был одним из виновников нового дурного литературного вкуса, возникшего среди писателей Нью-Йорка. Согласно мнению некоторых писателей, обойдённых литературными премиями, книги Вернера Коля и его лекции, которые часто посещал Эдди, назывались «еврейской лечебной литературой», потому что они были пронизаны вечной идеей еврейского торжества — праздника «Пурим» — слово, которому Эдди тоже научился у критиков. Без торжества этого еврейского праздника писать книги евреи не умели. Хотя писатель Вернер Коль евреем не был, но Эдди относил его к ним.

В конце книг это торжество праздника «Пурим» настигало всех героев, которых по какой-нибудь причине невзлюбил Нобелевский лауреат Вернер Коль.

Эдди никогда ничего не слышал о гипотетической или психологической достоверности в художественной литературе, поэтому он писал легко и непринуждённо обо всём, что приходило в голову.

Другом и учителем Эдди навсегда остался Граф Монте-Кристо, сложное имя которого он часто вспомнить не мог. Эдди любил его, потому что считал писателя Графа Монте-Кристо исторической личностью, жившей в XVIII–XIX веке, а его роман образцом жизненной правды и здравого смысла. Он ни на миг не сомневался в достоверности происходящего с ним и верил в каждого из его героев. Он ненавидел вероломного Фернана Мондего и очень страдал из-за непостоянства Мерседес. А Нобелевский лауреат Вернер Коль, как ни крути, ничего бы такого не написал.

Все люди на нашей планете тайно мечтают о расправе с врагами. Просто не все могут разделаться с ними так ловко, как это сделал Граф Монте-Кристо.

А то, что в жизни чаще побеждает зло, знают даже дети. Поэтому в книгах Эдди всё было как в жизни. Проигрывало добро.

К сожалению, весь читательский мир надел розовые очки. Теперь этот мир должен послушно читать и ждать, что добро вот-вот победит зло. Но жизнь не обманешь, всё равно всё будет наоборот.

Поскольку Эдди Биттону было незнакомо чувство иронии, он не понимал, насколько был прав.

Однако время шло неумолимо и, согласно законам книжного рынка, книги Эдди постепенно начали уступать место другим бестселлерам. Покупать их понемногу перестали.

Так как сознание Эдди Биттона требовало конспирологических схем, он считал, что если случилась беда и его книги перестали покупать, значит: «ищи, кому это выгодно».

Вину за происходящее, недолго думая, Эдди возложил на Нобелевского лауреата по литературе за 2030 год Вернера Коля.

Так писатель Эдди Биттон оказался ночью в его квартире с кевларовой удавкой в одном кармане и с пистолетом «Беретта» — в другом. Он проник туда через балкон. Разорвав противомоскитную сетку, он рукой открыл изнутри штормовую дверь и оказался стоящим на паркетном полу спальни.

Жена Нобелевского лауреата тихо сопела в постели. Диктор на экране компьютера сообщал сводку погоды на завтра. Сам лауреат спал, сидя в кресле перед включённым экраном. Эдди на цыпочках подошёл к нему сзади и поступил так, как поступают убийцы в кино. Он сильно ударил его рукоятью пистолета по голове, накинул на шею петлю-удавку и стал его душить. Жена проснулась и, не раскрывая глаз из-за яркого света экрана и не вынимая из ушей «беруши», сказала: «Вернер, выключи компьютер, свет мешает мне спать».

Когда Эдди закончил его душить и убедился, что дело сделано добросовестно, он выключил компьютер, чтобы жене Нобелевского лауреата ничто не мешало спать, и ушёл так же, как пришёл.

ОБ АВТОРЕ

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. По образованию инженер по обработке металлов. Широко известен как эксперт по средневековому оружию, и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов.

Немало лет пишет прозу. Основная тема его произведений — Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики. Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в нью-йоркском сабвее», «Encounter in the New York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также сборник его рассказов на русском языке.

Джейкоб Левин — постоянный автор журнала «Времена».

Юрий ОКУНЕВ

КЕНОТАФ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

ОТ РЕДАКЦИИ:

К печати готовится новый роман Юрия Окунева «Кенотаф». Действие романа происходит в страшное и кровавое двадцатилетие российской истории: 1934–1953. В центре повествования — судьба двух русско-еврейских семей, чья жизнь пришлась на эти роковые годы. Автор предоставил журналу возможность первой публикации отрывков из романа.

1

Однажды Семён пришёл с работы улыбающимся и с порога сообщил Ольге, что первый секретарь райкома Геннадий Николаевич пригласил его к себе для серьёзного разговора о будущем института. Семён с энтузиазмом рассказывал:

— Представляешь, Оленька, позвонил не через секретаршу, а сам... Спросил, не могу ли я навестить его в райкоме послезавтра. Я, конечно, ответил, что с радостью сделаю это, но хотел бы уточнить, что секретаря райкома интересует... А он мне и говорит, что в первую очередь его интересуют планы работ возглавляемого мной института — ведь это всесоюзный институт, подведомственный центральным московским властям. А потом ещё добавил, что мой институт — важнейший научный объект района. Вот такие наши дела, Оленька... Так что завтра буду готовить материалы... Поздравь меня!

Семён ехал в райком партии, располагавшийся в бывшем княжеском дворце на бывшем Невском проспекте, в приподнятом настрое-

нии, в предвкушении важной и конструктивной встречи с первым секретарём. Несомненно, новый секретарь, сменивший недавно арестованного прежнего руководителя коммунистов района, хочет показать, что никаких подозрений или претензий к Семёну, связанных с арестом его старшего брата, партия не имеет. Семён захватил с собой специально приготовленный для этой встречи красочно оформленный план работы института с иллюстрациями.

Предъявив охране на входе партбилет, Семён энергично поднялся по широкому пролёту роскошной мраморной лестницы в приёмную первого секретаря. Он хорошо знал секретаршу Полину, работавшую в райкоме ещё с прежним руководителем районной парторганизации. Весело поздоровавшись с ней, не преминул сделать ей комплимент:

— Вам, Полиночка, давно пора попробовать себя в роли кинозвезды.

Она, судя по всему, не оценила его неуклюжую попытку сказать женщине приятное и ответила не улыбаясь:

— Увы, Семён Борисович, у меня теперь совсем другие заботы, да и роли другие... Присядьте, пожалуйста, подождите немного — у Геннадия Николаевича посетители.

Она сняла трубку телефона и почему-то очень тихо произнесла: «Здесь товарищ Шерлинг... Хорошо, сейчас принесу...»

Затем взяла какую-то папку и ушла в кабинет первого, плотно прикрыв за собой массивные двери со старинной барочной резьбой.

Семён огляделся... Приёмная с высоченным потолком и огромной люстрой в окружении летящих ангелов, по-видимому, когда-то предваряла вход в большую гостиную дворца. Современный письменный стол секретарши с несколькими телефонами стоял в простенке между двумя большими окнами с видом на Фонтанку, Аничков дворец и мост с конными скульптурами Клодта. Над столом висели большие портреты Сталина и Жданова. Вдоль стен располагались шкафы с папками партийных документов и решений, два дивана и кресла для посетителей — всё, по-видимому, из старой мебели дворца в стиле ампира. В левом торце комнаты в дополнение к парадной входной двери в приёмную была ещё одна дверь — непарадная, современная, вероятно запасной выход.

Дверь в кабинет первого секретаря внезапно открылась, и из неё вышли двое незнакомых Семёну мужчин. Семён встал, ожидая появ-

ления Полины с приглашением войти в кабинет, но Полина не появилась, а один из вышедших плотно прикрыл дверь. Мужчины почему-то пошли не к выходу, как ожидал Семён, а к нему. Один из них, не здороваясь, зашёл как-то сбоку, а второй, кивнув в знак приветствия, вынул из нагрудного кармана какой-то листок и сказал:

— Вам, гражданин Шерлинг, надлежит проследовать с нами. Вот распоряжение.

Он поднёс листок к глазам Семёна. Семёну потребовалось только одно мгновение, чтобы осознать жуткий смысл написанного...

Народный комиссариат внутренних дел

Ленинградское областное управление

государственной безопасности

Ордер № 2521, октября 25 дня 1937 года.

**Выдан: Управлением государственной безопасности НКВД
на производство ареста и обыска Шерлинга Семёна Борисовича,
проживающего по адресу: ул. Ракова, д. 21, кв. 21**

Под текстом была печать и подписи каких-то комиссаров госбезопасности то ли 2-го, то ли 3-го ранга — Семён уже ничего не видел... Ещё мгновение назад он был в своём привычном мире, где были его любимые семья и работа, где он был уважаем, успешен и нужен, но этот листок с подписями комиссаров госбезопасности уводил его в другой мир, где уже ничего этого не будет, ничего...

— Это недоразумение... Кто приказал? В райкоме партии... — проговорил Семён нечто несуразное, чтобы только не молчать.

— Пройдёмте, пройдёмте, гражданин... Разберёмся, — прошипел тот, который подошёл сбоку.

— Вы не имеете права... Я требую переговорить с секретарём райкома, мне назначено...

— Права будете качать в другом месте, секретарь занят... Пойдёмте, пойдёмте... — объяснил тот, который показал бумагу.

— Я должен позвонить жене...

— Кончать это пора, и без того припозднились, — завершил дискуссию тот, который сбоку, и положил руку на плечо Семёна.

Семён ещё что-то говорил, но двое безмолвно и жёстко взяли его под руки, в которых он держал портфель, и повели к запасному выходу, а потом по полутёмному коридору и чёрной лестнице вниз, во

двор, где стоял чёрный воронок НКВД. На выходе во двор появился ещё один в штатском. Он и тот, который подошёл сбоку, затащили Семёна на заднее сиденье машины и сели по сторонам, а тот, кто предъявил бумагу, сел на переднее сиденье. Шофёр сразу тронул машину, свернул на набережную Фонтанки и поехал в сторону Невы.

Никогда в жизни Семён не испытывал подобного насилия, в висках стучало, видимо, из-за скачка давления крови... Сидевший впереди протянул руку:

— Дайте мне ваш портфель.

Семён отказался:

— Не имеете права. Я буду жаловаться.

Тот, что сидел слева, вырвал из рук Семёна портфель и сказал:

— Отдай портфель, гнида, тебя же просят.

Семён выкрикнул:

— Это хамское, возмутительное насилие, недостойное советских чекистов... Вы ответите...

Тот, что сидел справа, прервал его:

— Строит из себя начальника, троцкистская сволочь.

Он развернулся и правой рукой, отработанным коротким крюком сильно врезал Семёну прямо в живот. Семён от боли задохнулся и согнулся пополам, а потом выпрямился, чтобы вздохнуть. И тогда тот, что сидел слева, размахнулся и кулаком согнутой левой руки ударил Семёна в лицо — кровь брызнула из носа, заливая его белую рубашку и галстук. Его били ещё и ещё, пока начальник с переднего сиденья не сказал: «Хватит...»

Когда его перестали бить, Семён одним, ещё не заплывшим глазом увидел, что его везут в комплекс Большого дома. Масштаб здания вполне соответствовал той роли, которая отводилась главному карательному органу партии в жизни государства пролетарской диктатуры. Гигантское восьмиэтажное здание занимало целый квартал с фасадами, выходившими на три улицы. В комплекс Управления входила также бывшая царская тюрьма Шпалерка, соединённая с главным зданием подземным переходом. Монументальность Большого дома, доминировавшего над всем окружающим пространством, вызывала профессиональную гордость у чекистов, кто там работал, почтение у тех, кому доводилось там бывать по делам службы, и утробный страх у всех остальных. Последние, если им доводилось проходить пешком

по проспекту Володарского к набережной Невы, предпочитали двигаться по противоположной стороне улицы.

7/XI/37

Дорогая Соня!

У нас несчастье, а тебя рядом нет, и не с кем поделиться горем, и не у кого спросить совета. Все вокруг как-то сразу замыкаются в себе, как только узнают, по какому поводу я делюсь с ними. Печально и страшно...

Думаю, что до вас уже дошёл слух о Семёне. Это правда—его со мной нет. Я ходила несколько раз в приёмную НКВД, наводила справки, но там ничего толком не говорят, кроме того факта, что он у них... Ни свиданий, ни писем... Передач не принимают, говорят—не положено. Не знаю, что делать... Пытаюсь выйти на каких-либо знакомых, которые могли бы хотя бы узнать, как он, что с ним, в чём обвиняют, что будет... Многие, с которыми прежде дружны были, приятельствовали, и из университета, и из Семиного института, избегают общаться. Здесь для общения у меня осталась Фаина и тётка уже немолодая—моей покойной мамы родная сестра, но они, конечно, ничем кроме сочувствия помочь не могут. То же и с родственниками с Семиной стороны—даже не хочу их тревожить. Пыталась связаться с бывшими Семиными коллегами по работе в Военно-медицинской академии, профессорами и даже академиками, но там всё словно выкошено, а оставшиеся запуганы и общаться со мной избегают. Хотела позвонить новому наркому здравоохранения, у которого Семён был на приёме совсем недавно, но мне рассказали, что он то ли уже арестован, то ли отстранён от должности. В полном отчаянии пыталась найти бывшего Семиного шофёра Колю, который ушёл работать в НКВД несколько лет назад, но не нашла его по старому адресу, он куда-то переехал, и телефона его никто не знает, а в приёмной связать меня с ним отказались.

Я, Сонечка, вынуждена была уволиться из университета. Сейчас ищу новую работу, хорошим вариантом было бы преподавание русского языка и литературы в школе, но не уверена, что это получится. Получила очень плохой сигнал от знающего человека. Якобы Семён пойдёт по тяжёлой КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) статье. Зная Семёна, трудно себе представить более нелепое обвинение. Вы с Ваней это, конечно, хорошо понимаете. Моё

и Левочкино положение тоже скверное, если верить сигналу того знающего человека. В неблагоприятном случае меня ожидает ссылка с отторжением ребёнка. Трудно поверить в возможность такой несправедливости в нашей стране.

Жду твоего письма, как манны небесной, жду, что думает Ваня.

Обнимаю,

Оля.

20/ХІ/37

Дорогая Оля!

Мы ничего не знали о Семёне, да и откуда... Конечно в шоке, особенно Ваня. У него был настоящий припадок ярости, почти истерика. Еле успокоила... Семён и КРТД просто несовместимы. Мы же знаем Семёна с юности, вся его жизнь протекала на наших глазах. Мы с Ваней могли бы поклясться перед любым судом, будь то суд божеский или партийный, что Семён чист перед партией. Ваня был словно невменяем, когда узнал о Семёне, говорил о тех, кто его ложно обвиняет, такие слова, что я не могу написать. Потом чуть ли не кричал на меня—ты, мол, теперь понимаешь, что я был прав... А потом, что я верю в химеры, мной самой придуманные. Ну и всё подобное, сама знаешь, как это у него рвётся наружу... А я, Оленька, в жуткой растерянности: неужели всё, за что мы боролись, чему служили и для чего работали, — химера? Не могу в это поверить, не могу с этим смириться и жить, но что делать... Иван вечером сел писать письмо в защиту Семёна, а ночью, бессонной ночью он мне вдруг говорит: «Кому я пишу письмо? Ты, Соня, можешь назвать мне такой адрес, где меня поймут и где могут реально помочь?» Я, конечно, ничего такого назвать не смогла, а он ещё добавил: «Ещё потом скажут, что мы с ним одного поля ягоды... И правильно скажут—мы на одном поле, а они на другом. Орджоникидзе был с нашего поля, он помог бы, но его нет, да и других тоже нет». Короче, под утро Ваня от того письма отказался, он угнетён своим бессилием...

Мне тяжело тебе, Оленька, это говорить, но знай: если с тобой поступят плохо, то мы Левочку возьмём к себе. Это я тебе твёрдо обещаю.

У нас здесь тоже идёт вырубка леса, так что щепки летят... Ваня бьётся, чтобы план работ выполнять при пустеющем кадровом составе руководящих инженерно-технических работников. Идут оборонные заказы по новой технике, а специалисты, которых ещё бывший директор подбирал, исчезают. Трудно и Ване, и всему заводу. Говорят, что при заводе собираются открыть специальное КБ тюремного типа, в котором будут работать арестованные специалисты со всего Союза.

Прости, родная моя, что не могу быть с тобой рядом в это тяжёлое время...

Обнимаю,
Соня.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО В НИКУДА

Через много лет после тех событий жена Ивана Игнатьевича Прокопьева Соня нашла на замурованной полке под потолком кладовки в своей красноярской квартире тетрадку с заголовком «Письма в никуда», исписанную знакомым ей почерком Ивана. Тетрадь началась кратким предисловием:

Кому я пишу всё это? Никому, кроме себя...

Не могу ни отправить, ни устно пересказать написанное никому. Потому что тем самым подставляю того, кому адресую или перескажу. Потому что невольно тем самым подвергну и его, и себя смертельной опасности. В наше время за такое полагается мучительное наказание с неизбежной казнью.

Говорят: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», потому что именно в роковые времена человек может раскрыть свои таланты самым ярким и неожиданным образом. Враньё всё это... Ничего хорошего не может раскрыть человек в наше роковое время, ничего, кроме своего животного страха и подлости, а если что-то человеческое наружу всё же вылезет, то задушат это в зародыше вместе с источником...

Пишу в никуда... Может быть, через сто лет, если хотя бы часть нашего народа выживет, кто-нибудь прочитает это без страха и с пониманием...

Вот одно из писем в той тетради...

1/1/1938

Ровно год тому назад мы с Семёном праздновали Новый, 1937 год, гуляли по ночному Ленинграду. Как далеко то, как нам казалось, счастливое время, как будто не год, а столетие прошло, как много изменилось. Мой партийный ученик, мой соратник и друг Сема Шерлинг арестован. Ему вменяют КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Эта буковка «Т» ставит последнюю точку в его жизни и судьбе. С такой буковкой оттуда не возвращаются, злоба вождя к этой буковке звериная... У Семёна нет никаких шансов. Ему уже ничто и никто не поможет. Я тоже ничем помочь не могу, даже своими честными свидетельскими показаниями, если бы они кого-то интересовали, потому что там, где он сейчас, никому правда не нужна и даже вредна... Мразь преступная, сволочи, подонки, низколобые садисты замучают и убьют моего друга... Убийствами у нас никого не удивишь, все хлопают и, как попугаи, кричат на митингах: «Расстрелять, расстрелять...» И я тоже хлопал... Правда, не кричал, но хлопал. Каждый думает, что это где-то в стороне от него и его близких. Но вот пришло и ко мне — лучшего друга убивают, а я даже не могу ничего сказать в его защиту, правду сказать не могу...

Если же говорить наедине со своей совестью, то правда — вот она...

Я знаю Семёна Шерлинга с его юных лет. Он был при мне всю Гражданскую войну, один из первых комсомольцев, смелый красноармеец, воевал с деникинцами, спас мне жизнь, вытащив раненого из боя. Убеждённый в идеалах коммунизма и интернационала большевик-ленинец. После Гражданской упорно учился и работал, стал известным учёным, доктором медицинских наук, профессором Военно-медицинской академии, потом был назначен директором всесоюзного института. Талантливый и невероятно работоспособный человек... Мог принести огромную пользу стране, создать научную школу, воспитать кадры молодых специалистов, которых позарез не хватает. Но нет — арестован и, наверное, уже убили за КРТД...

Когда очередная жертва исчезает где-то в их застенках, все говорят, что НКВД зря не арестовывает... Это ложь! Могу поклясться чем угодно, могу свидетельствовать перед любым божеским или человеческим справедливым судом: Семён Шерлинг арестован зазря, понапрасну, без единой реальной вины. Никогда Семён не занимался никакой антисоветской или антипартийной деятельностью, никогда не состоял ни в каких антисоветских организациях. Всегда поддерживал все действия партии и ЦК, всегда считал правильной линию ЦК, линию Сталина. Свидетельствую: даже малейшие попытки сомневаться в правильности действий ЦК вызывали у него резкий отпор и полное неприятие.

Сейчас идут повальные аресты, расстрелы, заключения в тюрьму и ссылки широкого круга людей—от командного состава Красной армии и учёных до инженеров, колхозников и рабочих промышленных предприятий, в том числе оборонных. На нашем заводе готовились к развёртыванию серийного производства новой артиллерийской установки невиданной мощности. Говорили, что она была разработана по приказу убитого маршала Тухачевского. Нам удалось преодолеть трудности, связанные с арестом ряда специалистов завода. С грехом пополам нашли им замену. Но тут сообщение из московского главка Наркомтяжпрома: документация на новую установку задерживается, новые сроки будут установлены отдельно. Пытаемся выяснить, что случилось, и выясняем: оказывается, ведущие разработчики нового оружия из Ракетного НИИ арестованы как участники троцкистской террористической организации. Такое ощущение, будто какие-то реальные, а не выдуманные, враги пытаются разорить и ослабить страну в преддверии неизбежного столкновения с фашизмом.

То, что творит госбезопасность, называется террором. Можно назвать его тотальным, кровавым, неконституционным, незаконным и пр. Но всё это плохо и слабо определяет происходящее—такого никогда не было в нашей стране ни по масштабам, ни по жестокости, ни по незаконности. Такого, возможно, вообще не было в истории. Это не диктатура пролетариата, за которую мы, большевики, боролись и в теории, и на практике. Диктатура пролетариата направлена на насильственное отстранение буржуазии от власти, она контролируется партией победившего пролетариата. Нынешний террор направлен на утверждение власти группы нравственно неполноцен-

ных перерожденцев, окруживших вождя. Партия потеряла свою руководящую и контролирующую функцию, она превратилась в холуйское передаточное звено между вождём и его карательным аппаратом, превратилась в инструмент оправдания кровавого насилия над лучшими своими сынами. Схема здесь такая: Сталин, культ которого раздут непомерно, стал единоличным диктатором; для поддержания своей власти он создал карательный аппарат типа опричнины из бывших чекистов и их нового поколения – безжалостного и безыдейного; партия нужна диктатору для исполнения его решений на местах и для идейного камуфляжа террора.

Зачем арестовали Семёна? Зачем готовятся его убить? Ведь это совершенно бессмысленная акция и с точки зрения борьбы с врагами народа, и с точки зрения укрепления власти вождя, и даже с практической, хозяйственной точки зрения... Зачем эти массовые репрессии против заведомо невинных людей, которые, на самом деле, приносят огромную пользу в обороне страны, в науке, искусстве и производстве? Зачем убивать людей, которые создавали это общество и которые олицетворяют его идейные основы? Предлагаются ответы на все эти вопросы такого свойства: «обострение классовой борьбы внутри страны», «вмешательство иностранной буржуазии и фашистов через своих агентов с целью уничтожить руководство страны и заставить её свернуть с пути социализма»... Такие ответы – ложь! Ни Семён, ни тысячи других репрессированных никакого отношения не имеют ни к дурацкой идее обострения классовой борьбы, ни тем более к фашистской агентуре, если таковая вообще существует в нашей стране.

Ответ на эти вопросы скрыт в трёх основополагающих особенностях сталинского террора.

Первое: террор инициирован злобным тёмным инстинктом диктатора-садиста, его жаждой отомстить всем тем, кто превосходит его в чём угодно, прежде всего тем, кто самим фактом своей талантливости принижал его и препятствовал его жажде неограниченной власти.

О, как он ненавидел этих высоколобых, крутившихся вокруг Ленина, которым всё доставалось легко... В отличие от них он родился в нищей семье, его избивал отец-пьяница. Потом, когда высоколобые учились в университетах, глупые и подлые попы учили его, что служение богу приносит счастье, обманом втюхивали ему эту чушь. Он пытался быть созидателем, писал стихи, но из этого ничего не полу-

чилось. Тогда он решил стать разрушителем и посчитал, что для этого следует пойти к большевикам. Пока высоколобые прохладжались за границей, он добывал для них деньги ограблением банков, а потом отбывал каторгу в Сибири... Даже после Революции эти высоколобые оттеснили его на второй план. Они были красивыми и успешными мужчинами, а он был невзрачным и неуспешным, у него были дефекты ноги и левой руки, которая не разгибалась полностью, да ещё лицо в оспинах. Те высоколобые были блестящими публицистами и ораторами, героями и легендарными полководцами, любимцами партии, пролетариев и Ленина. А у него ничего выдающегося никак не вытанцовывалось, и, в конце концов, этот придурковатый маразматик Ленин велел снять его с должности... Слава богу, вскоре сдох... И пришло его время, когда его скрытые таланты мастера политической интриги оказались важнее и нужнее, чем всё, чем владели высоколобые. Смеётся тот, кто смеётся последним, — теперь он достиг единоличной власти, и никто уже не может помешать ему отомстить всем этим высоколобым. Отомстить сурово и жестоко, чтобы они на своей шкуре узнали, каково быть зависимым и презираемым. Не просто убить их, но ещё подвергнуть мучительным пыткам. Как сладко жестоко отомстить, а потом пойти спать... А ещё — унизить всех, кто стоял у него на пути. Чтобы умоляли простить их, чтобы валялись в ногах и славили его как величайшего вождя, чтобы публично каялись, какие они подлые ничтожества...

Поэтому главный удар был нанесён тем, кто меньше всего этого ожидал, — участникам революции и Гражданской войны, большевикам с дореволюционным стажем, ближайшему окружению Ленина, кем бы они нынче ни были, от маршалов и командармов до партийных и хозяйственных руководителей. Я понял уже давно смысл этой акции. Эти старые кадры слишком много знали о вожде. Они помнили его отнюдь не в божественном ореоле отца и учителя... А некоторые, может быть, даже знали о его прошлой деятельности нечто такое, чего знать рабам диктатора не положено. Для полноценного культа вождя, на которого его современники должны взирать с обожанием и страхом одновременно, указанное знание неприемлемо. Всю эту ленинскую партийную элиту следовало убрать, а проще говоря, ликвидировать физически. Здесь вождь и учитель правильно учёл исторический опыт тиранов прошлого: если хочешь расправиться с влиянием какой-то нежелательной группы своих подданных, нельзя их

просто наказывать, оставляя в живых. Потому что оставшиеся в живых, даже проявляя внешнюю преданность и подобострастие, затаят злобу и будут плодить новые заговоры. Всех, кто может представлять опасность для культа Сталина, следует уничтожать, включая их ближайшее окружение, будь то родственники и друзья, сослуживцы и единомышленники... Точка. Это есть один из главных законов настоящего большого террора. Мы видим его реализацию в наиболее прямом откровенном виде.

Второе: после первой волны террора, направленной на ограниченную группу своих личных врагов, вождь решил, что механизм этот останавливать не следует. Напротив, чтобы создать новую партийную элиту из не вполне полноценных, но по-животному преданных вождю субъектов, нужно дать им возможность уничтожить своих высоколобых конкурентов и занять их места. Нужно превратить индивидуальный террор в массовый...

Замысел этот, хотя и отнюдь не новый, но воистину дьявольский, — повязать своих соратников кровью невинно убиенных. Подобно пахану воровской банды, вождь понимал, что доверять можно только тому, кто не сможет отмазаться от совершённых им лично преступлений. И началось: неполноценные пишут доносы на своих начальников из полноценных и занимают их места, а места, оставленные неполноценными, занимают новые кадры из ещё более неполноценных... И так далее по цепочке... Подобные цепочки вовлечения людей в преступную работу пахана работают и в армии, и в промышленности, и в партийной иерархии. И все уцепоченные с обожанием взирают на портреты вождя и учителя, который с такой простотой и лёгкостью дал им возможность получить новую, более высокую должность, комнату, а то и квартиру большего размера и ещё добротный диван бывшего хозяина... Доносы стали не только вполне приемлемым литературным занятием, но и признаком высокой идейности авторов, из беззаветной преданности партии и вождю, их непримиримости к врагам народа...

Третье: террор внешне должен казаться хаотическим, чтобы создать у подданных такой страх, который бы отшиб у них навсегда критическую способность мозга даже сомневаться в правильности и величии всего, что делает вождь.

Настоящий страх не вырастет, если подданным точно известно, за что сажают и расстреливают. Такое знание и понимание приведёт к тому, что подданные, конечно, прекратят делать то, за что сажают,

но в душе затаят несогласие с вождём и сомнения в его величии. Это недопустимо. Никто не должен толком понимать, за что сажают, и тогда страх будет всепроникающим и действенным. А для того, чтобы такое имело место, нужно что? Нужно среди прочих сажать и тех, чья невинность всем очевидна! Этот великий принцип большого террора, известный ещё со времён сжигания еретиков на кострах, сейчас в невиданных масштабах осуществляется в нашей стране. Мой друг Семён Шерлинг—одна из жертв этого безумного и бесчеловечного принципа.

Мы, все, кто с 17-го года боролся за победу советской власти и диктатуру пролетариата, упустили тот роковой момент, когда пахан банды захватил власть и поставил к рулю своих урок с холуйскими и садистскими наклонностями. Мы были двигателем революции, мы могли это предотвратить, но мы упустили момент, а теперь мы никто... Мой друг Семён Шерлинг расплачивается за нашу слепоту...

2

Иван Игнатьевич ждал этого первого допроса в большом нервном напряжении. Он понимал, что отрицать свою вину в совершении преступлений, заранее сфабрикованных и сформулированных в аппарате НКВД, бессмысленно и вредно для здоровья— все равно они выбьют признания самым садистским способом, а если и не выбьют, то в любом случае накажут за непризнанное точно так, как задумали. Значит, его судьба зависит исключительно от формулировки обвинения. Если припишут КРТД—контрреволюционную троцкистскую деятельность, то расстрел неизбежен. Если же припишут вредительскую деятельность на производстве, саботаж и прочие хозяйственные преступления, то оставят в живых, пошлют на каторжные работы лет на 12–15... Иван Игнатьевич не собирался жить так долго, но для Сони и сына Вилена будет лучше, если его не расстреляют. Да, он напряжённо ждал первого допроса и самых первых формулировок обвинения. И когда лейтенант стал зачитывать пункты обвинительного заключения, напряжение сразу спало—КРТД в обвинении не было! Иван Игнатьевич невнимательно слушал длинные последующие пункты—как он вредительствовал

в промышленности, как саботировал приказы наркомата, как всячески препятствовал выполнению государственного плана... Он уловил главное — КРТД нет!

Иван Игнатъевич соглашался со всеми формулировками следователя о своей вредительской деятельности, незаметно для лейтенанта смягчал их признаниями своих заблуждений «по глупости». Он старался подчёркивать такое вредительство, где действовал в одиночку, избегая тем самым подвести кого-нибудь из друзей или коллег по работе. Охотно соглашался в преступных связях с уже давно арестованными — например, с бывшим заведующим финансовым отделом Наркомтяжпрома Захаром Гвилем, утверждал, что оказался под их вредным влиянием опять же «по глупости». Постоянно подчёркивал, что особо сильное антисоветское влияние оказал на него бывший директор завода, пригласивший его на работу, — Иван Игнатъевич знал, что Александр Петрович давно расстрелян. Но главное — старательно уводил следователя от своего прошлого, когда он лично боролся за диктатуру пролетариата и лично создавал ту советскую власть, которая ныне объявила всё это троцкизмом.

В целом составленное следователем признание врага народа Прокопьева довольно убедительно рисовало образ недалёкого бывшего партийного руководителя, который, попав в незнакомую ему производственную среду, по глупости был склонён окружением к антисоветской деятельности и вследствие своей глупости не очень эффективно вредительствовал. Лейтенант НКВД был доволен результатом и тем, что сумел раскрыть преступные деяния врага народа Прокопьева в кратчайшие сроки. Он не заметил умелую режиссуру Ивана Игнатъевича, который немедленно подписал составленное им совместно с лейтенантом своё признание. Лейтенант даже чувствовал некоторую симпатию к этому врагу народа, который так глупо запутался в своей жизни. Поэтому, когда Иван Игнатъевич попросил его переслать записку жене, он согласился при условии, что прочитает и при необходимости отредактирует письмо. Так и порешили...

Дорогая Сонечка!

Не волнуйся за меня... Меня обвинили во вредительстве в промышленности, что, конечно, вполне закономерно. Ты ничего не знала

и не могла знать об этой стороне моей жизни, прости меня... Надеюсь на наш советский гуманный суд, который учтёт, что я всё это делал по глупости, поддавшись постороннему влиянию.

Самое главное, что хочу тебе сказать: я здоров и чувствую себя превосходно. Для меня сейчас главное, чтобы ты и сын были здоровы и могли продолжать свою жизнь и работу без затруднений. Я сделал здесь всё от меня зависевшее, чтобы это было возможно...

Обнимаю и целую тебя и Виленчика.

Твой Ваня.

Ивана Игнатьевича осудили быстро и назначили 11 лет исправительно-трудовых лагерей с последующим поражением в правах. Его посадили вместе с другими осуждёнными на баржу и отправили вниз по течению Енисея на золотодобывающие прииски треста «Енисейзолото».

Две недели буксир тащил баржу с заключёнными на Север. Их сгрузили на правом берегу Енисея, а потом пешком погнали в посёлок Северо-Енисейский. Барачный посёлок, население которого составляли заключённые, охранники и немногочисленный начальственный персонал, находился в безлюдной сибирской тайге в междуречье Енисея и Подкаменной Тунгуски в полутысяче с лишним километров севернее Красноярска. Сюда нелегко было добраться — паромная переправа через Енисей да размытые летом и заснеженные зимой грунтовые дороги среди тайги, по которым с трудом передвигались грузовики...

Здесь был центр золотодобычи Восточной Сибири. В этом месте Прокопьеву предстояло провести остаток своей жизни.

Поначалу ему повезло... На предварительной сортировке вновь прибывших заключённых Иван Игнатьевич попал в категорию непригодных для тяжёлой физической работы на золотодобывающем прииске — возраст не тот... Вследствие этой удачи он был направлен для дальнейшего отбора в управление треста «Енисейзолото», располагавшееся здесь же в Северо-Енисейске. Иван Игнатьевич знал, что самой желанной работой среди узников советских лагерей была работа на кухне, в санитарной части, а также любая грязная работа, но только в помещении, а не в тайге или в шахте. Но ему повезло ещё больше... Рассмотрев документы и узнав, что заключённый Прокопьев руководил работой цеха на заводе, начальник лагеря назначил его

помощником бухгалтера в управлении треста. Это была невысказанная удача... Начальник сказал: «Пойдёшь в бухгалтерию помощником... Если не справишься, пошлю на прииск чернорабочим...»

На следующее утро Иван Игнатьевич вместе с конвойным шёл из барака в бухгалтерию треста, чтобы начать свою новую трудовую деятельность. Постучав в дверь с надписью «Бухгалтерия», конвойный распахнул её и пропустил внутрь заключённого Прокопьева. Иван Игнатьевич вошёл, осмотрелся, чтобы представиться как положено: «Осуждённый такой-то... Статья такая-то...», и оторопел...

За столом бухгалтера сидел бывший профессиональный революционер и соратник Феликса Дзержинского, бывший начальник финансового отдела Наркомата тяжёлой промышленности и правая рука наркома Серго Орджоникидзе, родной брат Семёна Шерлинга Захар Борисович Гвиль...

ЭПИЛОГ

Туман всё ещё не рассеялся, но низкое осеннее солнце пробивалось сквозь него, странными бликами прыгая по поверхности надгробных памятников. Ольга всего этого не замечала. Сидя напротив гранитной стелы, только надпись и видела — Семён Борисович Шерлинг...

Тихо, тихо Ольга Ивановна Шерлинг рассказывала своему мужу Семёну, как жила все эти годы после ареста. Говорила с волнением, с перерывами, с одышкой, которая уже несколько лет не оставляла её...

Вот, мой родной Семушка, теперь есть место, где могу тебе рассказать о себе. Как давно нас разлучили... Если посчитать, то больше пятнадцати лет. Как ушёл ты тогда на работу, так и сгинул. Меня поцеловал, энергичный такой, радовался, что план работы института идёшь представлять в райком партии. И не вернулся... У меня в ту ночь обыск был, а потом арестовали, в «Кресты» посадили, в Казахстан отправили в женский концлагерь АЛЖИР. Успела только Левочку к тётке Клавдии пристроить, плакал маленький, маму и папу звал...

Я на каторге, а потом на поселении чуть ли не 15 лет провела... Самым тяжёлым там была не жизнь и работа каторжная, а неизвестность — что с тобой и с Левочкой... Переписка была под запретом, только после войны разрешили письма получать. Поначалу всё надеялась, что ты жив, что вернёшься, ведь всего 10 лет дали, другим

и побольше давали... Дурой была, но в АЛЖИРЕ умные люди просветили — убили тебя выродки энкавэдэшные, тогда же в 37-м и убили... А меня как держали за дуру, так и до сих пор держат — последний раз сказали, что ты скончался в 46-м от рака, сволочи поганые... Всё на враньё в этой стране стоит, даже смерть человеческая. Потом жила я надеждой обнять сына нашего Левочку, когда срок кончится и вернусь в Ленинград. Только в 47-м узнала, что Левочка с Клавой погибли в блокадном Ленинграде. От прямого попадания фашистской бомбы в их дом на Тверской...

Ольга замолчала, задумалась... Она узнала о гибели сына Левочки от Сони Прокопьевой, когда разрешили переписку. Тогда Ольга руки на себя наложить хотела... Подруга Зоя Панина её спасла, отвела от края смертельного. В те страшные дни вспомнили Оля и Зоя свою соседку по нарам Майю Ильиничну, за полгода до того умершую. Как она за жизнь боролась, как им объясняла, что жизнь есть дар божественный... «Что это за дар такой, если его любой вонючий вертухай может отнять?» — возражали они. «Не идите на поводу у зла, — отвечала им Майя Ильинична. — Зло фашизма мы победили, а теперь и у нас в стране зло победим... Всё у нас изменится... Вы молоды, доживёте до лучших времён, вот попомните мои слова».

Вот, наверное, эти лучшие времена пришли, и она здесь, на кладбище...

Меня, Сенечка, сразу после войны должны были освободить, но не освободили, сказали, что стране и без нас, ссыльных, тяжело, дайте стране оправиться, посидите ещё, родине помогите, вину свою исправляя. Знаю, почему не хотели освобождать — понимали, как я их ненавижу... Потом, уже в 50-м, освободили, поняли, что я их ещё больше боюсь, чем ненавижу. Но освободили без права уезжать, куда хотим... На поселение в Казахстане определили. Вроде мало что изменилось, только что без конвоя и собак... А в Ленинград я приехала после смерти бога нашего рукотворного... Имя его не могу произнести всуе — скулы сводит от ненависти, тошнит, как от рвотного... В Ленинграде у меня права жить пока нет. Сходила на нашу квартиру на Ракова, постояла у дверей в наше с тобой, Сенечка, бывшее счастье... Как я любила тебя там, до сих пор сердце захватывает, как вспомню... Ни разу в жизни я тебе не изменила, никогда...

Как тебя арестовали, так для меня мужчины перестали существовать. Только ты был единственным мужчиной в моей жизни, только ты, которого любила и люблю, который лучше всех...

Ольга замолчала, дыхание перехватило, словно воздуха не стало... Поднялась со скамейки, чтобы раздышаться. Ноги болели, отекли... Постояла немного, снова присела...

О наших друзьях должна тебе рассказать... Иван Игнатьевич умер в ссылке в Сибири ещё в 48-м. Сонечка пережила его ненадолго — умерла от инфаркта во время «Дела врачей» — думаю, не выдержала издевательств, да будет проклята эта антисемитская чернь советская... Сын Вани и Сони Вилен пропал без вести на войне, считают, что погиб героем где-то на Украине. У него остался сын Ванечка, которому 10 лет. Ванечка живёт пока в семье моей сокурсницы Фаины — ты её семью, конечно, помнишь... Но я обещала Сонечке усыновить ребёнка, когда выйду, если переживу её... Собираюсь сделать это как только получу право проживания в Ленинграде. Ты, конечно, одобрил бы... Иван Игнатьевич отбывал срок в Сибири вместе с твоим братом Захаром. Захар, кажется, жив, но ещё не освобождён. Его жена Вера умерла после войны от инсульта, а дочка Любочка живёт в Москве у Вериных родственников. Вот, родной, всё тебе описала как есть...

О своей жизни в ссылке рассказывать не люблю, да и боюсь — опасно это, чего-нибудь опять пришьют. Только тебе могла бы всю правду рассказать... Перед этой историей длиной в пятнадцать лет бледнеют все круги Дантова ада. Может быть, в отдалённом будущем, лет через сто, кто-нибудь и напишет некую «Дьявольскую комедию», но очевидцев уже не будет. А из тех, кто там был, никто не напишет, слишком тяжело это, болезненно... Помнишь, Семушка, в Кисловодске в санатории смотрели мы с тобой кино «Цирк», где Любовь Орлова пела: «Молодым везде у нас дорога...» Прошла я в АЛЖИРе эту дорогу от доцента университета до прачки. И вправду, цирк с конями — «везде у нас дорога»... Была и чернорабочим на строительстве, и уборщицей... Работала на заготовке топлива по пояс в воде... Работала в поле и при сорокаградусной жаре, и при сорокаградусном морозе. Короче — «молодым везде у нас дорога». Во время войны была и на чистой работе в швейном цеху. Последняя моя должность — прачка. Этим и сейчас занимаюсь в прачечной города Волхова, совершенствуюсь в мастерстве...

Про себя в АЛЖИРЕ могу ещё рассказать тебе, что довелось мне общаться там с людьми необыкновенно высокой культуры и таланта. Такого собрания умных, интеллигентных женщин мне не приходилось встречать даже в университете... Вышла я оттуда совсем другим человеком — вошла одним, а вышла совершенно другим. Концлагерь стал для меня настоящим университетом, не чета здешним. Моей соседкой по нарам оказалась Майя Ильинична из Москвы — профессор, женщина ещё прежнего образования. От неё я узнала о настоящей, немарксистской философии, о великой литературе, что не из подделок соцреализма, да и о настоящей истории без вранья про роль партии и классовую борьбу. А ещё узнала о подлинной сути религии, а не той карикатуры на Бога, что нам втюхивали наши воинствующие атеисты. Майя Ильинична скончалась в 46-м — вертухаи поленились ватники подвезти, вот она и простудилась смертельно на морозе при ветре шквальном.

Монстры убили моего любимого мужа и искалечили мою жизнь. Если бы они не лишили нашего сыночка родителей, то мы, конечно, увезли бы его из блокадного Ленинграда, а значит, они, монстры, убили и нашего Левочку. Да разве только это? Они убили нашу мечту о свободе и справедливости, обманули, искалечили физически и нравственно целое поколение... Но признаюсь тебе, родной мой, — у меня просто животный страх перед этими монстрами. Они ведь вечные... Мне самой, кажется, и терять-то больше нечего, а боюсь их, очень боюсь...

Пойду я, Сенечка, меня Фаина уже, наверное, ждёт... Приду, как только смогу, ехать далеко... Поговорим ещё, родной мой...

Ольга встала, тяжело пошла по дорожке между могилами. Туман уже совсем рассеялся, солнце поднялось невысоко и осветило уходящие вдаль бесконечные ряды могил с памятниками, редко — с крестами, оградками, скамеечками... «Наверное, здесь много кенотафов», — подумала Ольга. Ещё со студенческих времён, из курса древних языков знала она, что слово «кенотаф» означает «надгробный памятник над пустой могилой» — от древнегреческих слов *κενός* («пустой») и *τάφος* («могила»). Здесь только она да директор кладбища знают, что под памятником профессору Семёну Борисовичу Шерлингу пустота. Ольга подумала: «Надо на стеле добавить надпись: Лев Семёно-

вич Шерлинг (1934–1942) — в память о Левочке, погибшем в Блокаду. У него ведь тоже нет могилы...»

Внезапно Ольга остановилась, поражённая странной мыслью, и у неё довольно громко вырвалось: «А ведь на самом деле весь этот режим — гигантский кенотаф, вычурный монумент над пустотой, куда уходят души замученных, расстрелянных, убитых и погибших, куда сплавляются загубленные таланты и планы...»

ОБ АВТОРЕ

Юрий Окунев — учёный в области теоретической радиотехники, писатель-публицист, автор научных монографий и книг историко-публицистического жанра на русском и английском языках.

Родился в Санкт-Петербурге, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. После окончания аспирантуры многие годы возглавлял ведущую отраслевую научно-исследовательскую лабораторию СССР в области цифровой радиосвязи, получившую мировое признание. В Советском Союзе опубликовал 14 монографий и учебных пособий.

С 1993-го года Юрий Окунев работает в телекоммуникационной индустрии США. Участвовал в разработке современных систем и технологий проводной и радиосвязи. В США получил 28 патентов на изобретения, опубликовал несколько научных статей и монографию. В 2007 году Институт инженеров в области электротехники и электроники (IEEE) присудил ему почётную награду имени Чарльза Гирша (IEEE Charles Hirsch Award) за «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку мобильных систем радиосвязи».

В последние годы Юрий Окунев опубликовал несколько книг и большое число очерков в жанре художественной публицистики на русском и английском языках.

Книга «*The Axis of World History*» получила награду USA Book News — «*The National 2008 Best Book Awards*» и вошла в число лучших книг Соединённых Штатов Америки за 2008 год в категории «Мировая история».

Галина МАМЫКО

СТРАШНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

В ваших интересах рассказать всю правду, — сказал следователь.
— Но я ни в чём не виновата.

В душе Надежды Леонтьевны Зарубиной из квартиры девять нарастал страх.

Этот страх появился час назад, когда она, приняв душ, читала на диване книжку. Книжка для Надежды Леонтьевны являлась лучшим снотворным.

И вот, когда она уже впадала в дрему, а стрелка часов выползла за девять, ей на мобильный позвонил какой-то тип и вежливым голосом предложил приехать в отделение на улицу Большевикскую, дом тридцать семь, кабинет тысяча девятьсот тридцать седьмой, по известному ей делу.

— Какому делу? — спросила Надежда Леонтьевна, тут же придя в неописуемый ужас.

Она не ошиблась в предчувствии.

Речь шла, конечно, об умершей на днях лежащей старухе, за которой Надежда Леонтьевна согласилась поухаживать в ответ на просьбу Аллы Андреевны Пьяных из квартиры пять на втором этаже.

«Вот-вот Богу душу отдаст. Так что, Надечка, не откажи. Обратиться больше не к кому. А мы с дочкой тебе будем отдавать её пенсию».

Спустя месяц старуха скончалась. Первой это обнаружила пришедшая к ней ранним утром сиделка, то есть Надежда Леонтьевна Зарубина. Она сообщила новость по телефону в квартиру пять Алле Андреевне Пьяных, та переадресовала зятю Мите, который, наконец, и вызвал полицию.

Надежда Леонтьевна в душе кляла себя, что ввязалась в хреновое дело.

«И зачем я так рано пришла... Ведь вечером видела, старуха никакая».

Оказаться в роли первого, кто обнаружил труп...

«Тьфу, накликала геморрой!».

Понимание собственного «геморроя» пришло к Надежде Леонтьевне в момент прибытия молодого, дотошного и при этом сильно заикающегося полицейского. Он расположился со своими бумагами за покрытым клеёнкой обеденным столом, рядом с кроватью, на которой лежало тело покойной, и долго задавал нудные вопросы. А когда в связи с заиканием не мог выговорить слово, то хмурил брови. Он неторопливо писал, а порою вдруг вскидывал голову и как бы припечатывал Надежду Леонтьевну пристальным взором.

Она надеялась, беседа с пронизательным полицейским-заикой не будет для неё иметь продолжения, но, как стало понятно, напрасно надеялась. В нашей волшебной стране возможны всякие чудеса, любила она в обычное время позволить себе философские размышления. Чаще всего это случалось с ней после погружения в сети оппозиционного Интернета. Но, капец, кажется, и для неё наступил час, когда стало не до философии.

— Вам надо к нам приехать, — настойчиво повторил мужской голос, в котором она слышала стальные нотки.

— Так ведь уже поздно! — она сделала большие глаза и с отчаянием посмотрела на мобильник.

— Это не займёт много времени. Несколько вопросов, и вы свободны. Это необходимо, Надежда Леонтьевна.

Голос будто бы подобрел — видно, следователь уловил, что она сдаётся.

Она панически боялась всего, что связано с силовыми структурами. Она читала каждый день в «Telegram» об издевательствах, пытках, провокациях — нет страшнее людей, чем стражи порядка, думала она, и на всякий случай отказалась в Сети от лайков и перепостов на эту тему.

Самую могучую волну страха нагнала на неё предновогодняя череда драконовских законов — про иноагентов и прочую муть. «Это ж тридцать седьмой. Не тем глазом моргнул, не ту статью лайкнул, вот те и приехали, с наручниками. Дома сидеть и не высовываться!».

И — вот оно, несмотря на то что она и дома сидит, и не высовывается, а оно — уже в её телефоне, уже ей звонит. Здравствуй, тридцать

седьмой год. Только не «воронок» к тебе, а ты — к ним, своим ходом, в дом под номером тридцать семь, в кабинет тысяча девятьсот тридцать седьмой... Однако, бывает же такое, к чему бы эти совпадения цифровые-роковые...

Туда, в это самое логово, в это самое жутчайшее место на свете, и кого, её, ни в чём не повинную! О!

Её руки дрожали.

В смятении набрала Аллу Андреевну Пьяных из квартиры пять, в душе проклиная уже и её в том числе, и, захлёбываясь от наплыва чувств, рассказала о свалившемся на неё горе. Пьяных пообещала перезвонить дочери, чтобы та уговорила зятя отвезти Надежду Леонтьевну в полицию.

В дороге Митя Грац и Клава Грац-Пьяных рассказывали, что вызовы в полицию — формальность. «Нас сегодня тоже допрашивали».

Надежда Леонтьевна супругов Грац особо не слушала. Она беспокойно всматривалась через мутное стекло в мельтешение кривых улочек. Её тревожило, что они всё ближе к страшному месту, где сидят страшные люди в погонах. Она перебивала своих провожатых и вслух, не стесняясь, проклинала день и час, когда согласилась на уговоры их приставучей тёщи-матери стать «этой чёртовой сиделкой».

Оказавшись в тёмное время суток в сумрачном многоэтажном здании, поднявшись пешком вслед за дежурным на пятый этаж, Надежда Леонтьевна от страха качалась на подгибающихся ногах. Вдруг её слух резанули душераздирающие мужские крики. За какой именно дверью истязали человека, было не разобрать. Этими дверями, ведущими в многочисленные кабинеты, был плотно утыкан нескончаемый, как туннель в метро, коридор. После пережитого кошмара, казалось, идти дальше было невозможно, нужно падать в обморок, или бежать сломя голову назад, или умереть. Но дежурный продолжал идти, и надо было следовать за его непроницаемой спиной — они шли и шли, по узким, тускло освещённым коридорам с низкими потолками. Будто не высотное здание, а подвал.

Эти туннели производили на неё гнусное впечатление мрачностью, духотой, мертвенностью. Лабиринты тьмы, какая, наверное, существует в иных измерениях. Ещё чуть-чуть, и они окажутся в пыточной камере на дне ада, где иные сущности вершат правосудие.

Её бросало в пот при мысли, что её ждут пытки, как этого несчастного, который только что столь дико кричал.

— Меня будут бить,— понизив голос, сказала она Клаве Грац-Пьяных.

Она не любила Клаву Грац-Пьяных. Не любила вместе с её мужем Митей Грац, вместе с её матерью Аллой Андреевной Пьяных, не любила эту троицу уже весь нынешний вечер, с той минуты, как позвонил следователь. Из-за них, Грац-Пьяных, теперь ей, Зарубиной, никаким боком не виновной, приходится отдуваться за какую-то очокурившуюся старуху. Нет, к старухе она претензий не имела, она даже жалела её, и вообще. Не в старухе дело. Но вот семейство Грац-Пьяных. О!

Резко возникшие неприязненные чувства к Грац-Пьяных так же резко исчезли— это произошло, когда Надежда Леонтьевна вошла в дом пыток. Следом за ней из чувства сопереживания храбро шагнула навстречу пыткам Клава Грац-Пьяных.

Оказавшись одна на белом свете внутри капкана, Надежда Леонтьевна забыла намертво про недавнюю внезапную неприязнь к семейству Грац-Пьяных. Она была теперь рада, что Клава покорно идёт рядом.

Она вспомнила, Митя остался в машине, чтобы с неё никто ничего не украл. Так он сказал. Фу, подумала Надежда Леонтьевна о Мите. Уж она-то прекрасно понимала, что означает его желание покараулить машину. Митя на самом деле струсил. Боится заходить в это ужасное здание. Но, с другой стороны, подумала она, Митю понять можно. «На его месте я и сама осталась бы в машине. Другое дело, его жена. Клава— герой. Пошла со мной, из милосердия, ей меня жалко. Она настоящий человек. И теперь уговаривает меня не бояться».

Надежда Леонтьевна слушала, что говорит ей Клава.

Клава вполголоса говорила так:

— Ну что вы, Надежда Леонтьевна, никто вас бить не будет. У вас паника. Вы напрасно так переживаете. Мы с мужем тоже отвечали, ещё днём, на их вопросы. И нас никто не бил.

Клава участливо взяла Надежду Леонтьевну за локоть. Та кивнула с благодарностью за сочувствие, но слова Клавы её не успокаивали. Она думала: «Вот я дура! Влипла! Сейчас на меня, как человека, обнаружившего труп, повесят непонятно что... И всё! И ничего не докажешь! Денег, чтобы откупиться, у меня нет».

В кабинет Надежде Леонтьевне пришлось войти одной, взять с собой Клаву не разрешили. Клаве велели ждать за дверью. От этого стало ещё страшнее.

Как Надежда Леонтьевна и предполагала, она и правда влипла. Старуха, сказал следователь, преставилась вовсе не своей смертью. Её убили!

Эта новость потрясла Надежду Леонтьевну.

— Мы получили заключение судмедэкспертизы. У покойной...— следователь поглядел в бумагу.— Митрохиной Жанны Олеговны, тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения, улица Розы Люксембург, дом двенадцать, квартира семь, обнаружены повреждённые рёбра, а также синяки на теле. Кто-то избил её. Вы понимаете?

— Понимаю,— сказала Надежда Леонтьевна и судорожно закивала, оторопело глядя на следователя.

— И кроме вас, нам никто не сможет рассказать об этом деле во всех подробностях. Вы единственный человек, имевший доступ к покойной последний месяц. К тому же именно вы первая обнаружили её тело.

— Но прежде, чем я стала у неё сиделкой, она падала! До меня! И не раз!— заговорила Надежда Леонтьевна, глотая от нервного перевозбуждения слова. Она спешила сказать как можно больше, подробнее то, что обелило бы её репутацию, выложить те факты, которые неопровержимо указывали бы на её невиновность.— Об этом мне говорили Пьяных с Грацами. А однажды по дороге в туалет Жанна Олеговна и вообще чуть не насмерть расшиблась. У неё там, чтобы к унитазу добраться, надо аж три высоких деревянных ступеньки преодолеть! В её возрасте, с ходунками, это непросто! После этого она и слегла. И тогда лишь, заметьте! Лишь тогда меня, Зарубину, попросили за ней смотреть. Я сразу обратила внимание на синяки! Мне сказали, от падения! А соседи подтвердили! Бабка-баптистка и её сын-пьяница, это они, соседи, и обнаружили Митрохину на полу. Она там довольно долго пролежала, не один час. Пока, наконец, её крики услышали. Няня, что за ней в тот период смотрела, лишь к ужину пришла, когда старуху уже подняли. Ещё раз подчёркиваю, это произошло до того, понимаете?! До того, как я стала там сиделкой!

— Согласно судмедэкспертизе, синяки и поломанные рёбра— не старые, а новые дела. Всё самое свежее.

— Свежее?! Как свежее?!— эта новость поразила Надежду Леонтьевну не менее, если не более, сильно, нежели предыдущее сообщение, что старуху, оказывается, кто-то убил.— Ничего себе! Не может быть!

— Расскажите, что вы знаете. Повторяю, не в ваших интересах молчать. В настоящий момент подозрение падает исключительно на вас.

Надежда Леонтьевна пришла в ещё большее волнение, хотя, казалось, куда уж более, но оказалось, можно и более, волнение её захлёстывало. Она ощущала себя на скамье подсудимых.

— Ну при чём тут я, ну о чём вы говорите! Это нелепость! Чушь! Зачем мне это, я на такое не способна! — Надежда Леонтьевна воздевала руки, привставала со стула и наклонялась всем туловищем, будто в стремлении дотянуться до стола следователя, но тот продолжал невозмутимо строчить закорючки и не обращал внимания на переживания подозреваемой.

Её волнение было словно чужое для неё. И будто чужое сердце пыталось колотиться в ней. И стучало будто всё тише. От страха оно не могло совсем стучать. Оно боялось, что кто-то услышит, как оно там, в груди, это самое сердце, стучит и шевелится.

Надежда Леонтьевна не слышала ни своё сердце, ни саму себя. Она потеряла себя.

Эта сумеречная комната, с пыльными столами, с криво стоящими там-сям стульями, с переполненными пепельницами, кипами бумаг на столах и подоконниках, и эти зарешечённые окна с ночной темнотой за стёклами, — всё было для неё слеплено из страха. И вот это, неопределённое «всё», плавало вокруг, как в аквариуме, заплывало в её глаза, покачивалось, растворялось, это были волны страха.

Страх был живой, он шевелился, он жил. Он был всюду. У него был голос следователя. У него были глаза из тюремного будущего. У него была спина из железной решётки.

— Хорошо. Вам не нужно. А кому нужно?

— Заинтригованным лицам, — она замолчала, вдумываясь в сказанное.

У неё путались мысли. Она поняла, что перепутала слова. Она не могла вспомнить нужное слово. Наконец, в голове прояснилось, и она продолжила:

— Заинтересованным лицам это нужно. А я — не заинтересованное.

— А кто заинтересованное лицо?

— Как «кто»! Те, кому эта квартира отписана!

— Не спешите. Я записываю. Так-так... И кому отписана квартира?

— Ну как «кому»! Это и так понятно!

— Непонятно. Кому же?

— Вы и без меня всё можете узнать. Я вам тут понарасказываю, а потом не смогу в глаза соседям смотреть.

— Мы не распространяем подобные сведения, это конфиденциально. Это для внутреннего пользования. Нам нужно понять общую картину событий. Итак, кому отписана квартира?

— Вы и без меня всё знаете.

— Надежда Леонтьевна. У меня впереди ещё куча дел, а уже почти ночь. Рабочий день закончен. Да и вы, думаю, спать хотите. Чем быстрее завершим разговор, тем лучше для нас обоих. К тому же, если не пожелаете говорить начистоту, то, повторяю, подозрения лягут на вас, а дальше сами понимаете.

— Хорошо. Расскажу. Но вы точно не дадите эти записи читать соседям? Пьяных и её дочери с мужем?

— Конечно, нет. Не положено.

— В общем, у Пьяных виды на жильё Митрохиной. Покойная отписала ей давным-давно эту квартиру. Ещё лет двадцать назад. А в благодарность Пьяных с дочерью взяли над одинокой подругой неофициальную опеку. Пожизненно. Так что все вопросы не ко мне. Я тут вообще сбоку-припёку.

— Так. Хорошо...— следовательно бросил беглый взгляд на лицо свидетельницы и снова углубился в бумаги.— Что вы могли бы припомнить такого,стораживающего?

— Уф-ф... М-м... В квартире Жанны Олеговны специально сделано, чтобы замок не работал. На всякий случай. Таких опасно оставлять. Что случись, так хоть соседи прибегут. Ведь рядом ещё шесть квартир. На всех, вместе с Митрохиной,— общий длинный коридор. Дом, знаете, дореволюционный. В коридор на все квартиры входная дверь — на замке. Правда, запирают её лишь на ночь. А днём, как ни приду, всё нараспашку. Кто зайдёт, и не узнаешь, кто. И у покойницы, повторяю, дверь тоже нараспашку. Понятно, да? Проходной двор.

— Понятно. Что ещё подозрительного? Кто мог навещать Митрохину в ваше отсутствие?

— Кто угодно. Зять Аллы Андреевны приезжал регулярно — подгузники, продукты, медикаменты привозил. Я — утром и вечером, смена подгузника, кормление, лекарства. Ещё в обед — еда, массаж, уборка. В остальное время, кто туда ходил, не могу знать. Вернее, знаю, как-то навестила Жанну Олеговну предыдущая сиделка, которая до меня за

ней смотрела. В ту пору бабуля при помощи ходунков кое-как ещё добиралась к туалету. Остальное — поесть приготовить, еду в постель, уборку сделать, приём лекарств проконтролировать — в обязанностях няни. И, кстати, она старушку крыла матом, а случилось, и пищи лишила.

— По причине?

— Требовала переписать на неё квартиру. Именно из-за этого Алла Андреевна и сменила сиделку.

— Это вам кто, Пьяных рассказала?

— Нет, Митрохина. Только не мне лично, а соседке, через стенку от неё. Она проводывала её. Сказала соседке, указав на меня рукой: «Единственный человек, кому не нужна моя квартира». И поведала, как прежняя няня орала, матюкала и голодом морила. «Пока не перепишешь на меня квартиру, есть не дам».

— Игорь, ты с-с-скоро? — в кабинет вошёл знакомый Надежде Леонтьевне полицейский-заика.

Заика взглянул на Надежду Леонтьевну и сказал, не отводя от неё взгляда:

— А, с-с-сиделка?

— Да. Сиделка, — подтвердил, не отрываясь от бумаг, следователь.

— Ты д-д-долго ещё?

— Минут сорок где-то.

— Ладно. Я п-п-п-п... п-п-п... Тьфу, б-б-б-ля... Ушёл.

Надежда Леонтьевна смотрела на заику, её страх нарастал и нарастал. Ей хотелось всем своим видом продемонстрировать независимость, чтобы было понятно: она к убийству не причастна. И оттого она смотрела в глаза вошедшему таким же пристальным долгим взглядом, каким и он смотрел на неё.

Он вышел.

В её голове стучало: тюрьма. Её посадят.

Вот перед ней следователь, он свободный и уверенный в себе человек. Ему нечего бояться в этой жизни. Он никого не убивал. А она в его понимании убивала. Даже если она выйдет отсюда своими ногами, она всё равно теперь с клеймом «убийцы». Она будет жить в панике, под гнётом переживаний, в ожидании ареста, так, как будто у неё нечистая совесть. А он — нет. Как он раньше жил, так и впредь будет жить со спокойным взглядом, спокойным сердцем, в своё удовольствие.

Вон он какой, хороший, ладный. Молодой мужчина, в меру упитанный, гладко выбритый, от него приятно пахнет. По утрам он тщательно бреется, смотрит на себя в зеркало, целует перед уходом жену, отвозит детей в школу на своей дорогой иномарке. Он преуспевает в жизни. Она — нет. Она одинокая забитая пенсионерка из однокомнатной «хрущёвки». Она — ничто. Она — никто. Она полчаса назад была вполне довольна своей жизнью, своей нищенской пенсией в четырнадцать тысяч рублей, — правда, не особо была довольна, но и за это спасибо.

Но теперь она ни в чём не уверена. Теперь она под катком репрессий, вот это точно. До неё добрались. Может быть, они давно следят за ней, знают, что она их всех ненавидит. Знают её политические вкусы и предпочтения. Знают, что она перестала верить пропагандистам в зомбящике и перешла жить на ю-тьюб каналы к экспертам, они излагают народу правду жизни такой, какая она есть на самом деле.

А может, на неё донёс мастер компьютерный?! Недавно у неё дома был, установил «десятку». Она специально «семёрку» на «десятку» сменила — от всевидящих антивирусников спряталась. Говорят, некоторые из них не только систему жрут-тормозят, но и сканируют мозги, мысли, настроения. Надзирают! То ли дело «десятка» — со своей спецзащитой, там антивирусники на фиг сдались. Впрочем, почём знать, может и «десятка» уже того? Пока, правда, сигналов из соцсетей по этой теме не слышно, а значит, ещё можно спать спокойно. Но зачем она, идиотка, с тем компьютерщиком разоткровенничалась? Политинформацию ему пересказала из ю-тьюбов. Думала, всё, промыла мозги «вате», зомбированному быдловизором. А он на все её доводы одно — у меня пятеро детей, на них пособия и льготы каждый месяц имею, мне на власть грех обижаться. Зря она открылась. При Сталине таких болтунов, как она, расстреливали.

Так что, получается, её вызвали неспроста и подозревают тоже неспроста? Против неё решили сфабриковать дело?

И вот он, оживший Берия, перед ней. Он отныне вершитель её судьбы.

Инстинкт говорит: спасайся как можешь. Говори, что знаешь. Вываливай всё подряд.

Внутренний голос говорит: не обращай внимания на свою паранойю. Это от паники. Никто за тобой не следил. И никому ты не нужна.

Ведь ты не состоишь в политических партиях или фондах, в одиночных пикетах не замечена, настроения в открытую не высказываешь. Ну, за исключением того случайного домашнего митинга с компьютерщиком-патриотом, будь он неладен. Кто ты такая, чтобы за тобой следить. Ты действительно никто и ничто. Так что вперёд. Припоминай детали, способные помочь найти убийцу.

Так же быстро, как она испугалась, так же быстро она поверила следователю в том, что старуху и правда убили. Она уже была уверена, что в её отсутствие Митя Грац пришёл к старухе и отлупил её, потому что та всем им изрядно надоела за эти двадцать лет. Квартиру хотелось поскорее прибрать к рукам, а старая кочерыжка год за годом жила и жила, и никак не умирала.

Конечно, как сразу не поняла, её убили.

И решили на безответную, беззащитную Зарубину, повесить дело.

— Надежда Леонтьевна. Вы сказали, бывшая сиделка приезжала к покойной уже в тот период времени, когда вы там начали работать, я правильно понял?

— Да.

— Это произошло в ваше отсутствие?

— Да.

— Её имя, фамилию, отчество можете сказать?

— Кажется, Надя. Фамилию не знаю.

— Зачем она приезжала?

— Не знаю... Вернее, слышала от соседки, говорила...

— Что говорила?

— По словам Аллы Андреевны, Надя сказала ей, что появлялась у старухи, чтобы извиниться за грубость, и не одна пришла, а со священником, тот исповедовал Жанну Олеговну и причастил. Но Алла Андреевна не поверила в её раскаяние. Сказала, что-то Надя темнит.

«Как я сразу не поняла, эти люди — преступники... Или нет? Вдруг я ошибаюсь? А если это всё неправда, если следователь брал меня на понт?» — противоречивые чувства теперь мучили Надежду Леонтьевну каждый день.

Что будет с ней, что вообще будет?!

Кого посадят?!

Её?!

Или её соседей?

Или прежнюю сиделку?

Неужели эти люди — убийцы?!

Чем это закончится?

— Тянут резину, тело держат в холодильнике, что-то подозревают, ищут, — неопределённо отвечала на вопросы соседка.

Надежда Леонтьевна с напускной приветливостью поддакивала, но в душе не доверяла ни одному её слову. Казалось подозрительным, что Пьяных передала через дочку ей, Зарубиной, на третий и девятый дни такие щедрые поминовения.

Ладно, горсть конфет, а то — пирожков горячих и очень вкусных, с рисом и яйцом, — восемнадцать штук. Одиннадцать породистых, и главное, сладких, а не кислых, апельсинов. Двадцать три мандаринки — не этих, которыми рынок завален, абхазские, мелкие, дешёвые, — а увесистых турецких мандаринов, сладких как мёд. Плюс две бутылки дорогого (не дешёвого!) кагора и две большущие коробки шоколадных конфет «Вдохновение»... Да ещё вместо обещанной зарплаты отдали ей не только пенсию почившей, а ещё и ту сумму, что причиталась от государства на погребение...

От таких даров, хочешь не хочешь, заподозришь неладное. Вдобавок ко всему, семейство Грац-Пьяных предложило забрать одежду усопшей, какую та накопила за свою жизнь. А барахла много, две куртки добротные, на осень и зиму, шуба норковая, а платьев, кофт, юбок, блузок и вообще целый шкаф. Богатство настоящее. И всё это ей, Зарубиной. Ну и ну. Совсем что-то странное. Видно, совесть их всех там мучает. Или хотят, чтобы она лишнего не болтала.

Но ей от того не легче. Не троицу Грац-Пьяных, а её, Зарубину из квартиры девять, в убийстве обвинят.

Она вспомнила, как следователь строго спросил её, почему не вызывали врача, если видели, что гражданка Митрохина себя плохо чувствует? По его словам выходило, именно она, сиделка Зарубина, и должна нести ответственность за равнодушие к здоровью подопечной. «Но при чём здесь я! Где логика?! — возмутилась Надежда Леонтьевна. — Не я хозяйка всех этих дел!». Следователь её намёк, видимо, понял, про «логику» тоже проглотил, и перешёл на другие вопросы.

Но зато она задумалась, а и правда, почему семейство Грац-Пьяных отказалось от услуг врачей? Ведь она, как сиделка, высказывала всем им своё беспокойство насчёт ухудшения здоровья пациентки. «На-

дечка, я тебя предупреждала, вспомни, ведь бедняжка уже на ладан дышит, — причитала Алла Андреевна. — Какие врачи в таком возрасте, о чём ты! Зачем мучить старушку? Надо дать человеку спокойно дожить век. А то в больницу повезут, до смерти заколют шприцами ихними. Ещё, не приведи Бог, коронным заразят. Зачем муки ненужные. Не надо беспокоить, пусть в тишине, мирно...»

И уж совсем не по себе стало, когда в один, не лучший в жизни, день она с балкона увидела, как из её подъезда вышел бодрой походкой тот самый следователь. Был он в штатском, в знакомой Надежде Леонтьевне куртке. Ночью ей памятной он тоже красовался в этой же куртке — американской, кожаной, «пилот», на овчине, с капюшоном. Крутая куртка, произвела на неё впечатление. Потом в Интернете через картинки нашла полную информацию о таком прикиде — название модели, страна-производитель, а главное, цена. Сто тысяч рублей!... У них там, в полиции, холодно как в морге, народ по кабинетам в верхней одежде. Она вспомнила, как тряслась от холода и страха. И вот снова, фу, видит этого монстра, и снова в своей крутой куртке американского лётчика. Капюшон на овчине до бровей. Маска медицинская до самых глаз. Маскируется, что ли? Под мышкой — папка. А в папке, подумала она, списки неблагонадёжных. У-у, Берия... Зачем приходил? К кому?!

Впрочем, к кому, это понятно. Раз не к ней, в квартиру девять, на третий этаж, то в их подъезде остаётся один человек, к кому. В квартиру пять к Алле Андреевне Пьяных. Он! Туда! В гнездо убийц! А может, у них сговор? Против неё, Зарубиной из квартиры девять, этажом выше, сговор?

От этой догадки ей стало дурно. А чем, как не сговором, объяснить то, что свои делишки они обдeldывают не в полиции, а в домашней обстановке, где нет ни подслушивающих устройств, ни видеокамер, ни посторонних...

Нет, конечно, официально алиби они себе найдут. Скажут, Алле Андреевне состояние здоровья и престарелый возраст не позволяют на допросы в полицию ездить.

Понятно, отмазка. В центре их внимания — она, Зарубина.

Она не вытерпела и позвонила Алле Андреевне.

Та подтвердила, да, следователь был именно у неё.

Что и требовалось доказать. Надежда Леонтьевна рассеянно слушала соседку. Та вскользь упомянула о своей инвалидности (а то будто

никто этого не знает, могла бы не оправдываться, подумала Надежда Леонтьевна) — «в полицию таких инвалидов, как она, не имеют права тягать, вот пусть к ней домой сами и ездят», и поскорее перевела разговор на другую тему. Конечно, о внуках. Дальше было неинтересно.

Значит, следовательно точно в сговоре с Пьяных. О, Боже, о, муки... Как жить, как жить дальше...

Ей было стыдно за плохие мысли о семействе Грац-Пьяных. И от того она ещё больше страдала. Она обвиняла себя в лицемерии. Заставляла себя думать только хорошее об этих «добрых, прекрасных людях Грац-Пьяных». Но избавиться от подозрений не получалось.

Где бы ни находилась Надежда Леонтьевна — в магазине, на рынке, в парке на прогулке, в церкви, — всюду она чувствовала себя преступницей. Она пребывала в тяжёлом ожидании приговора суда, который отправит её на пожизненное в колонию строгого режима.

Она бродила по городу будто потерянная.

Она с тоской вглядывалась в оживлённые, и как ей казалось, счастливые лица прохожих, и тем сильнее понимала свою неприкаянность, свою ненужность на этой земле. Она наблюдала за ребятами на детских площадках, изучала афиши на театральных тумбах, крошила голубям остатки недоеденного пирожка, но не радость от полноты жизни была в её душе, как в прежнее время, а скорбь, что скоро она всё это утратит. Тяжёлое, невыносимо мерзкое, чувство обречённости не отпускало.

Она смотрела на молящихся в храме и думала о том, что совсем скоро станет изгоем, и тогда никто и ничто, даже церковь, ей не помогут.

— Всё будет хорошо. Ведь вы ни в чём не виноваты, — сказал священник, выслушав её рассказ.

Она пришла на исповедальный разговор в надежде узнать какую-то истину, которая её утешит.

— Но я не могу успокоиться, бабушка, — сказала она.

— Отчего же?

— Понимаете, меня мучает мысль, что это я убила старушку. Я делала каждый день ей массаж. Она просила делать ей массаж. Вернее, она просила чесать ей спину. У неё сильно чесалась спина. Я усаживала её и массировала спину. А потом я придумала наиболее действен-

ный вариант массажа — при помощи деревянной скалки. Старушке это нравилось.

— У вас, вероятно, раньше не было опыта ухаживать за обездвиженными стариками.

— Не было.

— У таких пациентов тело чешется из-за скопления грязи. Кожу лежачим протирают влажными салфетками с мыльной пенкой. Знаете, моющие пенки специальные, их в аптеке продают. Но это так, к слову. А насчёт вашего массажа при помощи скалки — что вас смущает?

— У покойной обнаружены свежие трещины и переломы рёбер, а также и синяки. Свежие! Так сказал следователь. И я подумала, ведь это я могла ей скалкой рёбра повредить! Когда я услышала слова следователя, то сразу подумала про скалку. Полезла в Интернет. Да, пишут, у стариков кости хрупкие, можно.

— Не переживайте. Вы накручиваете. Вы же не силач, чтобы рёбра людям ломать. Если бы что-то не так, то старушка, поверьте, сразу бы ощутила и сказала. Она дискомфорта не испытывала, как понимаю.

Слова священника успокоили лишь отчасти. К тому же попался молодой, а ей хотелось бы к более опытному, в возрасте, с белой бородой. У старцев, говорят, интуиция мощнее. Как там у них, по-церковному, — озарение свыше. А ещё лучше к монаху. У монахов и вообще, говорят, с небесами прямая связь. Но где их, монахов, взять... Не к гадалкам же идти. Нет уж, ну их, ведьм, чтобы новую кучу проблем не накликают.

Она не находила себе места.

Изо дня в день ей плохо спалось и много думалось.

Ей позвонила Алла Андреевна и пригласила на похороны Жанны Олеговны.

Во время отпевания, пока священник в чёрной антиковидной маске кадил вокруг гроба, выставленного на табуретках в центре двора, под взглядами двух десятков скучных людей в таких же масках, Надежда Леонтьевна шёпотом задала на ухо своей соседке, из квартиры пять, мучивший её вопрос:

— Так что там, у следователя, решили? Убили её? Или что?

— Какое «убили». Ничего такого.

— А что же тогда? Обещали последствия, убийство, дело, сказали, возбудят...

— Никакого дела. Ничего такого.

Алла Андреевна поклонилась приблизившемуся священнику с кадилом, а когда тот ушёл кадить на противоположную сторону, к другой шеренге людей со свечками, сказала, как бы сквозь зубы, в ухо Надежде Леонтьевне:

— Взятку хотели, разве непонятно...

ОБ АВТОРЕ

Галина Мамыко (в девичестве—Гузь) родилась 31 декабря в 1958 году в Симферополе. Школьное детство прошло в Воркуте (Коми АССР). Студенческая юность—в Сыктывкаре и последние три университетских курса (факультет филологии, русский язык и литература) в Калининграде. Работала в Крыму—учителем, журналистом, пресс-секретарём Председателя Верховного Совета Крыма (1998–2002 гг.), помощником народного депутата Украины (2002–2010 гг.) В 2003 г. по совместительству—пресс-секретарь Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Живёт в Крыму, г. Симферополь.

Автор опубликованных в российских и украинских печатных и электронных периодических изданиях рассказов, двух повестей, двух романов, публицистических очерков, статей, а также стихов и сказок для детей.

Семён РЕЗНИК

СТАРЫЙ ЕВРЕЙ ИЗ ТАБАЧНОГО КИОСКА

ОТ АВТОРА:

Этот рассказ представляет собой фрагмент из ненаписанного романа под названием «Вызов», над которым я работал в последние месяцы перед эмиграцией из СССР в 1982 году. После выезда из Союза мне — по разным причинам — вернуться к работе над романом не удалось. Сюжет романа строился вокруг борьбы героя — сорокалетнего московского еврея-интеллигента — за получение вызова из Израиля (был такой острый период в истории еврейской эмиграции, когда почтовая служба, по указанию КГБ, изымала почтовые отправления с израильскими вызовами). Такова внешняя канва повествования. По сути же речь идёт о вызове системе, сложившемуся укладу жизни, своему собственному приспособленчеству, в конечном счёте, самому себе. Рассказ впервые был опубликован в газете «Новое русское слово» в 1983 г. Это было в доинтернетовскую эру, из-за чего я взял на себя смелость снова предложить его вниманию читателей. Прошу учесть, что в то время, когда писался рассказ, архивные материалы о «Деле еврейского антифашистского комитета» хранились за семью печатями, о расстреле ведущих деятелей еврейской культуры ходили слухи, но достоверной информации не было.

* * *

Напротив моего дома стоит табачный киоск. Когда-то он был похож на плохо сработанный и так и не поднятый на шест скворечник — так много в нём было дерева и так сильно маленькая чёрная норка, в которую едва просовывалась рука с мелочью, похо-

дила на летку для птиц. Потом в киоске стало много стекла и почти не стало дерева. Он стал похож на огромный фонарь, который так и не подняли на осветительный столб. Но что на моей памяти не менялось, так это старый скворец-еврей, сидящий внутри киоска на неудобном высоком табурете.

Должен сказать, что за долгие годы жизни в Москве я трижды менял прописку. Переезжал из одного конца города в другой. И всякий раз напротив моего дома оказывался табачный киоск, а в нём тот же самый еврей в очках, сползающих на кончик носа, с колючими любопытными глазками, смотрящими поверх очков.

Скажите — невероятно? Можете мне не верить. Считайте, что я это придумал. В каком-то смысле вы будете правы. Ведь никто ещё не доказал, что то, что существует в действительности, в действительности существует. Может быть, это только так — флюиды, мечты, флогистон; игра нашего ума и воображения. Да и сами мы, может быть, всего лишь игра чьего-то воображения... И не говорите, что такое представление о действительности не соответствует ВЖИРУ — Вечно-Живому-И-Развивающемуся-Учению. ВЖИРУ всё соответствует, если хотите знать. Всё, что надо, то и соответствует. Зарубите это себе на носу.

Я привёл вас в мой собственный мир, и я сам устанавливаю в нём порядки. Как директор в нашем КБ. Знаете, что он сказал, когда ему позвонили оттуда и посоветовали восстановить на работе ни за что ни про что уволенного сотрудника?

— Нет, — сказал он, — я не восстановлю еврея.

— Но он же вовсе не еврей! — радостно сказали ему. — Мы это проверяли!

— В моём КБ я сам решаю, кто еврей, а кто нет, — отрезал директор.

Так и я сам решаю, кто чем дышит в моей книге.

Я помню, как в первый раз подошёл к табачному киоску — ещё там, в Третьем Демьяновском, застроенном покосившимися бараками, переулке — когда киоск был угрюм, как слепой скворечник. Скворец-еврей резко наклонил голову, так что подбородок его коснулся засаленного галстука, царапнул меня по лицу колючими светлыми глазками, смотрящими поверх очков, и, возвращая горстку монет, коротко сказал.

— Тебе ещё рано курить.

— Это не мне, это отцу, — соврал я и покраснел.

— Послушайте, юноша, — усмехнулся скворец. — Я знаю вашего отца. Он не курит.

Пока я неловко сгребал монеты обратно в ладонь, я чувствовал, как густая краска темно-кирпичного, как сам киоск цвета, заливает мне не только щёки, но шею, уши, лоб, проникает под шапку и под рубашку. Отца моего киоскёр знать не мог. Отца тогда у меня ещё не было. Он появился позднее — тихий, виноватый, с опухшими ногами и рваным шарфом вокруг дряблой шеи. А тогда он ещё числился пропавшим без вести, мы считали его погибшим.

Под колючими, словно шваброй выскабливающими моё лицо глазками я отошёл от киоска и потом долго обходил его стороной.

Сейчас всё иначе. В похожем на нарядный фонарик киоске на широком проспекте Вернадского для меня всегда припасён «Кент» или «Мальборо», или что-нибудь столь же заморское. Когда я подхожу к киоску, еврей щедро предлагает мне два-три блока импортного дефицита. Но я беру только одну пачку. Не хочу лишать себя удовольствия каждое утро повторять эту процедуру. Обычно у меня бывает в запасе пять-семь минут, и мы успеваем перекинуться несколькими фразами не только о погоде.

Но вот по субботам мне приходится расплачиваться за это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вероятно, потому что за все удовольствия жизни надо платить. По субботам киоск закрыт; я часто об этом забываю и на выходные дни остаюсь без импортных сигарет.

Однажды я спросил старого еврея, почему его киоск закрыт по субботам.

— Уж не по еврейскому ли обычаю вы соблюдаете субботу? — пошутил я.

Но в устремлённых на меня поверх очков глазках отзывчивого на шутку киоскёра на этот раз не появилось обычной весёлой искорки. Очень серьёзно он сказал, что именно по еврейскому закону (он особо оттенил это слово) он соблюдает субботу и советует мне поступать точно так же.

— О, это вполне возможно! — опять пошутил я. — Армянское радио спрашивают: «Что дала советская власть евреям?» Армянское радио отвечает: «Выходной в субботу!»

Но мне тут же стало неловко, так как он снова не принял шутки, а только покачал своей сухонькой головой.

Оказывается, из-за субботы у него была масса неприятностей. Ведь когда прочие трудящиеся отдыхают, торговые точки должны работать. Своим самовольством он нарушал какие-то правила советской торговли. Ему записывали прогулы, объявляли выговоры, грозили уволить. Но он всё равно не открывал свой киоск в субботу, и в конце концов с этим смирились.

Продавец табачных изделий напичкан всевозможными историями. Набит ими, как сигаретами его киоск. И он любит поговорить — чаще всего о том старом времени, когда он ещё не был продавцом табачных изделий.

В те стародавние времена он был не очень известным, но и не так чтобы вовсе безвестным писателем. Из тех, кто печатался под псевдонимами. Он переводил горских поэтов и писал историческую повесть о маленьком горском народце, поднявшем восстание против ненавистного царизма. Вы спросите, что с ним произошло? Ничего особенного. Просто попал под колесо истории.

Он изображал вождя этого горского восстания национальным героем, который вёл безнадёжную, но благородную войну за независимость своей маленькой горской родины. Именно так учило изображать подобные войны ВЖИРУ — Вечно-Живое-И-Развивающееся-Учение. Появись его книга годом раньше, о ней никто бы не вспомнил. Ну, а годом позже она уже не могла бы появиться. Но она вышла как раз в тот момент, когда Великий-Вождь-И-Учитель, творчески развивая ВЖИРУ, решил, что и в проклятом прошлом воевать против Великой России могли только враги народа и приспешники англичан. Словом, колесо истории хоть и не покатилося вспять — это, как вы знаете, невозможно, — но сделало крутой зигзаг и прямо наехало на моего еврея.

— Понимаете, юноша, — бодливо наклонив голову, объяснял мне старик, до сих пор называющий меня, сорокалетнего, юношей. — Перед тем собранием, на котором разоблачали мою коварную попытку поссорить братский горский народ с великим братским русским народом; так вот, перед этим решавшим мою судьбу собранием моя главная задача состояла в том, чтобы уговорить друзей не выступать в мою защиту. Тут крылась диалектическая тонкость. Если бы кто-то выступил за меня, это означало бы, что у нас группа, и в ту же ночь за каждым приехал бы воронок. А так — меня только исключили из партии. Но, знаете, юноша, что я вам скажу по секрету? Если бы не та

горская повесть, они бы нашли что-то другое. Ведь я был безродный космополит, с вредительскими целями прикрылся русским псевдонимом.

Продавец табачных изделий — то ли в шутку, то ли всерьёз — уверяет меня, что псевдонимы появились тогда, когда Великий-Вождь-И-Учитель возлюбил Великого-Учителя-И-Вождя. Колесо истории тогда тоже сделало резкий зигзаг. Пионеры дружно запели: «Москва-Берлин, Москва-Берлин, дружба навек, Сталин и Гитлер слушают нас!» А в нашей советской прессе, как назло, печаталось много евреев. И хотя в ней ни слова, Боже упаси, не говорилось против нацизма и дружественной Германии, Гитлер дал понять возлюбившему его Сталину: или — или.

Сталин пососал трубку, нажал на кнопку и возникшей беззвучной фигуре сказал:

— Послушай, генацвале, ты не находишь, что многовато еврейских фамилий появляется в наших газетах?

— Нахожу, товарищ Сталин, — с готовностью согласился генацвале.

— А нельзя ли как-нибудь... это-а... без них?

— Трудновато будет, товарищ Сталин. Очень уж много сидит их во всех редакциях. Грамотные очень, — с сожалением вздохнул генацвале.

— Значит, выхода нет! Правильно я вас понял, товарищ генацвале? — с едкой иронией спросил Сталин.

Генацвале в миг сделался белым как полотенце. То, что Великий-Вождь-И-Учитель перешёл на «вы», не сулило ничего хорошего.

— Непартийный подход, товарищ генацвале. Запомните раз и навсегда: нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики! — и Сталин стал раскуривать погасшую трубку.

— Выход есть, товарищ Сталин! — поспешил исправиться генацвале. — Если половину газет закрыть, евреев можно уволить!.. И отправить к Лаврентию, — поспешно добавил он, дабы упредить возможный упрёк в буржуазной бесхребетности и либерализме.

— Уволить к Лаврентию? — оживился Сталин. Но тут же опять помрачнел. — Какие вы скорые на расправу, товарищ генацвале. А если мы вас уволим к Лаврентию? — Сталин сделал паузу, ровно настолько, чтобы генацвале успел снова стать белым как полотенце. — Чуткости больше надо иметь. Такта и чуткости. Уважения к людям.

Поднимаясь из-за стола, Сталин назидательно махнул трубкой.

Генацвале понемногу приходил в себя. Похоже было, что светоч всего человечества философствует. Творчески развивает ВЖИРУ— Вечно-Живое-И-Развивающееся-Учение. А когда светоч развивал, большой грозы можно было не опасаться.

— Что значит — закрыть половину газет? — двинувшись по ковровой дорожке вдоль кабинета, раздумчиво спросил Сталин. И развернувшись у двери, ответил. — Закрыть половину газет — значит ровно наполовину обезоружить партию! — и он со значением посмотрел на генацвале. — А почему?

— Почему? — как эхо повторил генацвале.

— Потому что газета — это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор!

Сталин усилил взмахом трубки слово «организатор», и генацвале понял, что во ВЖИРУ вписана ещё одна бессмертная страница.

— Но тут возникает вопрос, — продолжал творчески развивать Великий-Вождь-И-Учитель, — как быть с евреями? У нас, понимаешь ли, все народы равны. Ты это понимаешь? — Сталин внезапно остановился перед генацвале и грозно зыркнул ему в глаза снизу вверх, так что тот снова похолодел от ужаса.

— По-по-нимаю, товарищ Сталин, — трясущимися губами пролепетал генацвале.

— Вот видишь! — удовлетворённо сказал Сталин и снова двинулся по ковровой дорожке, так что перед генацвале оказался не спеша удаляющийся аккуратно подстриженный затылок — такой круглый и беззащитный, что вдруг вспыхнуло необоримое желание схватить стул и со всего маху хрястнуть по этому круглому затылку. Ещё секунда, и свершилось бы непоправимое. Но тут снова раздался неторопливый, спокойно-рассудительный голос.

— Ты понимаешь! А наш новый друг не понимает. Наш друг Адольф нервничает. Мы должны беречь нервы наших друзей. Кадры решают всё. Как ты считаешь?

— Кадры решают, товарищ Сталин, — сглатывая подкативший к горлу комок, промямлил генацвале.

— Ну, так пусть евреи пишут себе на здоровье. Только... это-а... побольше фантазии. Я тоже не всегда был Сталин. А?..

Так Рабиновичи, Абрамсоны, Цейтлины, Розенфельды превратились в Ромашовых, Арбатовых, Цветковых, Рубашкиных.

Но друг Гитлер испортил нервы другу Сталину. За что и поплатился в собственном логове. Только нервы у товарища Сталина стали совсем никуда. Нервные клетки не возобновляются — это многое объясняет.

Под гениальным руководством шло героическое восстановление. А евреям не пришлось в голову проявить фантазию и вместо привычных уже псевдонимов взять прежние полузабытые фамилии. Сталин нахмурил поседевшие брови, выдохнул дым в прокуренные усы, и тогда раздался рык с разных сторон:

— Евреи, откройте забрала!

И им их открыли. Вывели, так сказать, на чистую воду. Прокравшихся. Просочившихся. Клевещущих. Шипящих. И даже смердящих. Их, с чёрного хода проникших в великую русскую культуру, по парадной лестнице вышвыривали вон. Из газет и журналов. Из издательств и из театров. С профессорских кафедр и с административных постов. Из творческих союзов и вообще отовсюду. Под свист и улюлюканье их заставляли каяться на многолюдных собраниях. И они каялись, больше всего опасаясь того, что какой-нибудь Дон-Кихот ринется их защищать.

Ну а те, кто не проникал? Те, кто довольствовался своим еврейским языком и своей маленькой еврейской культурой — национальной по форме и, конечно же, социалистической по содержанию? О, они, несомненно, представляли собой группу!

Их увозили в большой серый дом, стригли под машинку, отчего у всех вдруг выросли уши, пропускали через санпропускник и одевали в полосатые бушлаты, похожие на те, в какие их братьев одевали в гитлеровских лагерях смерти.

Они должны были признаться во всем — этого требовали творчески развитые законы ВЖИРУ. Но некоторые — вопреки законам — не признавались. Ни карцер не помогал, ни конвейер, ни иглы, заготавливаемые под ногти...

Этих некоторых вводили в огромный крупнокалиберный кабинет, в котором стоял огромный крупнокалиберный стол и за ним возвышался крупнокалиберный человек с крупными золотыми звёздами на погонах.

— Ну, что? — спрашивал он, глядя в дубовую крышку необъятного стола. — Не желаете открыть правду партии?

— Я говорю правду, — отвечал введённый, — я ни в чём не виноват.

В следующий миг стол подпрыгивал от мощных ударов двух многопудовых кулаков, звёзды взметались ввысь, и с высоты двухметрового роста искривлённый судорожной злобой рот изрыгал, обильно брызгая слюной:

— Ты, б..дь, скажешь всё что нам нужно! Иначе — на кишках повесим. И в самом прямом, а не фигуральном смысле!

Требовалось особое умение, чтобы с таким остервенением прокричать столь сложное и интеллигентное слово, как «фигурально». За это умение крупнокалиберный человек и получил свои золотые звёзды.

К ним подбирались, не суетясь и не торопясь, без площадной брани в газетах и на собраниях, с железной последовательностью сталинского пятилетнего плана. План, как и положено, выполнили досрочно, в четыре с половиной года. И кончили всё в один день. Это можно узнать из новой советской энциклопедии — про то мне разъяснил еврей из табачного киоска. Помню, я даже испугался, когда однажды, ясным летним утром, подойдя, как обычно, за сигаретами, увидел что-то особенное в его лице. Какое-то оно было серое, словно покрытое пеплом. А глаза, всегда такие острые и живые, помертвели и стали пустыми, как у булгаковского Воланда.

— Что с вами? — спросил я. — Может быть, вызвать скорую?

— Со мной-то всё хорошо, — ответил он хмуро, — а вот каково было им!..

— Кому? — не понял я.

— Вы что, забыли, какое сегодня число? — в чисто еврейской манере ответил он вопросом на вопрос.

— Кажется, 12 августа, — сказал я, ничего не понимая.

— И вы спрашиваете, кому — им? — в его глазах, наконец, появились признаки жизни. — Впрочем, откуда вам знать. Ну-ка смотрите сюда, я это специально для вас принёс.

Из-под прилавка, откуда он обычно вытаскивал дефицитные пачечки «Мальборо», он вдруг извлёк огромный тяжеленный том Большой Советской Энциклопедии темно-вишневого цвета. Он открыл книгу на заложенной странице и крепким ногтем очеркнул имя Переца Маркиша. Я стал просматривать крохотную статейку, из которой узнал, где Маркиш родился, какие книги издал, как радостно принял Октябрьскую революцию...

— Да не читайте вы этой галиматъи, — скривился еврей из киоска. — Вы посмотрите на дату. Не на первую, а на вторую. Видите? Двенадцать, восемь, пятьдесят два. Запомнили? Теперь смотрите сюда. Он нетерпеливо выхватил у меня том, убрал его под прилавок и извлёк другой, такой же тяжёлый.

Я начал просматривать статейку о Давиде Бергельсоне, но еврей не дал прочесть и двух строк.

— Посмотрите на дату! — требовательно приказал он. — Видите? Та же самая дата: двенадцать, восемь, пятьдесят два! Теперь смотрите сюда, — с неожиданным для его возраста проворством он выложил передо мной ещё один том.

В статье о Вениамине Зускине я увидел ту же роковую дату.

Потом появился том с именем Льва Квитко. И здесь ни слова не было ни об аресте, ни о причине смерти. Но дата — кричала. Она была та же самая!..

— Сколько же томов вы принесли? — спросил я.

— Семь! Все, где есть статьи о деятелях еврейской культуры, погибших в тот день.

— Но это же ужасная тяжесть? — посочувствовал я.

— Ничего, такая ноша не тянет. Даже Лозовского я прихватил для полного комплекта. Не писатель и не артист, но в тот же день удостоился пули в затылок. Вы спросите, почему у Лозовского та же дата, что у Маркиша, Фефера, Бергельсона? Кто их знает! Что мешало им провести всех по одному делу и в тот же день вывести в коридор!..

Вы знаете, как это делается? Человека в полосатом бушлате выводят в коридор — длинный, узкий, без дверей и окон, едва освещённый редкими пыльными лампочками, забранными в ржавые металлические решётки. Ему велят идти не оглядываясь. Потом приказывают поднять руки и заложить их за голову. Потом резкий приказ — упасть на колени. И в тот момент, когда он опускается на колени, ему всаживают пулю в затылок... Стреляющий промахивается редко. Стреляющий знает, что в тусклом свете забранных в решётки лампочек надо целиться в сплетение сведённых на затылке пальцев.

Его так и называют — коридорный. Редкая специальность. Дефицит! Даёт всякие льготы. И внеочередное присвоение звания. Вчерашний лейтенант завтра становится капитаном, а через пару лет он уже подполковник... Но знаете, редко кто дотягивает до полковника. Нервы не выдерживают. Нервы. Нервные клетки не возобновляют-

ся — это многое объясняет. Не все, выводимые в коридор, ведут себя тихо. Некоторые кричат. Пытаются сопротивляться, бьются в истерике. Иные вдруг раздражаются хохотом, что страшнее плача. А потом снятся, черти полосатые. Нет, если у вас слабые нервы, лучше вам не идти в коридорные. Ну их к лешему — все эти пайки, звания и бесплатный проезд на транспорте. Лучше уж спать спокойно.

Их выводили в коридор по одному.

Сперва Зускина.

За ним — Маркиша.

За ним — Лозовского.

За ним — Квитко.

За ним — Гофштейна.

За ним — Бергельсона.

Ну и других, менее крупных и потому не попавших в энциклопедию.

А, может быть, первым был Бергельсон, а Зускин шестым?

Интересно, сколько звёзд прибавилось в тот день на погонах их коридорного?

А где и как отмечены их могилы? Кто укажет нам, где зарыта еврейская культура?

— Ах евреи, евреи, всегда с вами так! — закачал головой еврей из киоска, когда я задал ему этот вопрос. — Протяни вам палец, так вы сцапаете всю руку. Только что им назвали время, так им уже мало, им и место теперь подавай! Вы ведь уже знаете, что с Квитко, Зускиным, Маркишем, Бергельсоном и теми другими, не попавшими в энциклопедию, покончили 12 августа 1952 года. Знаете же теперь. Ну, так будьте довольны!

...Исключение они сделали для Михоэlsa. Ими кончили, а им начали. Зато не в коридоре, а на свежем воздухе. Не пулей в затылок, а кувалдой в висок. У него оказался крепкий череп, его били долго, молча, остервенело.

Потом были траурные флаги, конная милиция, почётный караул и музыка, музыка, много еврейской музыки. И толстый слой грима на скульптурном лице артиста, почти не употреблявшего грима на сцене...

Его оплакивали пышно, голосисто и лицедейно. Сколько же крокодиловых слёз было пролито в тот короткий январский день. Это был самый грандиозный спектакль с участием Михоэlsa.

— Как всегда торжествовало ВЖИРУ — Вечно-Живое-И-Развивающееся Учение, — мрачно посверкивая глазками поверх очков, говорил еврей из табачного киоска. — ВЖИРУ разгромило механицизм и меньшевистствующий идеализм, а сверх всего — безродный космополитизм и множество всяких измов. Согласно законам ВЖИРУ, это назвали автомобильной катастрофой. ВЖИРУ всесильно, потому что оно верно — это многое объясняет.

Я никогда не знал, что из того, что он рассказывал, он знал достоверно, что только по слухам, а что было плодом его воображения. Но это было неважно. Ибо ведь и мы сами, возможно, только плод чьего-то воображения...

Еврей из табачного киоска уверовал в Бога в тот самый день, пятого, нет, даже второго марта того самого года, когда сообщили по радио, что Великого-Вождя-И-Учителя хватил кондратий. В тот самый миг, когда он услышал скорбно-торжественный бас Левитана, он сразу понял, что это дело рук Господа, не пожелавшего погубить свой народ...

— Видите ли, юноша, хотя пути Господни неисповедимы, но я полагаю, что коль скоро Он наделил нас разумом, то нам не возбраняется размышлять о Его промысле. Я думаю, что Господь посчитал шесть миллионов евреев, замученных Гитлером, достаточной искупительной жертвой за наши, надо признать, ужаснейшие грехи. Заморозить ещё три миллиона в Сибири — это было бы слишком.

— Позвольте, — усмехнулся я. — Я с детства помню эти пересуды. Ведь они были обычным еврейским паникёрством. Вы вправду думаете, что евреев собирались выслать в Сибирь?

— Молодой человек! — он возмущённо царапнул меня по лицу своими колючими глазками. — Зачем вы смеётесь над старым человеком? Что значит — «вы думаете?» Не думаю, а знаю! Хотя я не первый год работал тогда уже в табачном киоске, но меня не забывал кое-кто из прежних друзей. В ту зиму особенно часто бывал у меня один из псевдонимщиков. Он вовремя разоблачил другого псевдонимщика и потому не только не пострадал, но пошёл в гору. Теперь он и секретарь Союза, и главный редактор, и член президиума разных обществ — в общем, в обойме. Сигает по заграницам, как самому Эренбургу не снилось. Он не был у меня больше двадцати лет. Но после погрома космополитов он приходил часто. Пил водку, петушился, паясничал, плакал, словом, очищался. Мне было его жалко.

Он всё твердил, что если бы не разоблачил того псевдонимщика, то другие разоблачили бы его ещё сильнее и тогда ему бы не миновать Лубянки. А так — что, в сущности, произошло? Заклеймили, изгнали, исключили, закрыли двери редакций? Ему это даже на пользу! Ведь он талант, а талант закаляется в испытаниях. «Я верю в его талант! — говорил он с вызовом. — Он теперь уехал в геологическую партию и напишет роман о геологах. А кто его устроил в геологическую партию? Я!» С каждой выпитой рюмкой он становился развязнее. «Я позвонил и сказал: Товарищи! Человек осознал, хочет искупить честным трудом. Его и взяли. Ему и зарплата идёт, и подъёмные, и суточные, и командировочные. Пока напишет роман, всё уляжется. И я же помогу его напечатать». Так он рассуждал всякий раз. Он говорил, а я слушал. Я подливал ему водку, а он выпивал. И вдруг спрашивал заплетающимся языком: «Ты мне веришь? Веришь?» Я отвечал, что верю. А он опять вскидывал голову, победно оглядывал мою комнату и с жаром начинал объяснять, что он спас не только того псевдонимщика, но и меня, и вообще всех, потому что если бы он не разоблачил, то все мы оказались бы заодно, а это «знаешь чем пахнет?» «Да, я выступил! — кричал он и бил себя в грудь. — Я разоблачил. И этим спас! Тут то-о-о-нкая диалектика». И вдруг начинал плакать и слезливо спрашивать: «Ты мне веришь? Ты правду скажи — веришь?» Я отвечал, что верю. Мне было его жалко. Потом он приходил всё реже и реже, значит, стал успокаиваться. Я радовался за него. Но когда объявили о врачах-убийцах, он стал бывать у меня каждый вечер. Он хорошо знал, что делается наверху, и был в ужасной панике. Нет, не думайте, юноша, не так всё просто, как вам бы хотелось. Он боялся не за себя. Его-то всё равно бы не тронули. Письмо группы «видных евреев» — о том, что они сами просят выслать народ свой в Сибирь, ещё подписано не было, но текст уже был составлен. Как-то он даже принёс мне этот текст, но сохранить не позволил. Дал прочесть, после чего чиркнул зажигалкой (была у него, знаете ли, диковинная по тем временам американская зажигалка) и сжёг его до последнего уголочка, а пепел размешал в пепельнице. Больше всего он боялся, что ему тоже предложат подписать эту бумагу. Напившись, он кричал: «Не подпишу! Ни за что не подпишу! Ты мне веришь? Скажи правду — веришь?» Я отвечал, что верю. Несчастный человек! Я знал, что если только его сочтут достаточно видным евреем, чтобы предложить подписать, он, конечно, подпишет...

Он перестал бывать у меня в тот самый день, когда я понял, что Господь не хочет допустить новой расправы над своим народом. В тот день я пошёл в синагогу и с удивлением обнаружил, что не совсем забыл заученные в детстве молитвы. Синагога была набита битком. Раввин читал молитву о спасении жизни Великого-Вождя-И-Учителя, но я молился о другом. И теперь я не перестаю благодарить Господа за то, что он надомнил меня сделаться продавцом табачных изделий. Если бы вы знали, юноша, какая у меня замечательная профессия. Я имею кусок хлеба и не боюсь, что у меня его отнимут. В стране победившего социализма так мало желающих заниматься табачной торговлей! Даже за прогулы по субботам мне не грозит увольнение. И потом — у меня штучный товар. А вы знаете, что такое штучный товар? Гешефта на нём не сделаешь, зато как он удобен! Сколько бы не прошло в день покупателей, у меня всегда есть время кое с кем поговорить, кое за чем понаблюдать и даже поразмышлять о бесконечном величии и благодати Господа. Видите ли, когда началась оттепель, старые друзья тянули меня вернуться в литературу. Меня убеждали, что это нужно не только мне, но и литературе. Ей нужны свежие силы, новые идеи, а, главное, честность; чем больше будет честных людей, тем больше шансов, что старое не повторится. Что вам сказать? Человек слаб! Никогда я так не мучился, как в то время. Я уже почти решился. И только теперь я вижу, как мудр был Господь, удержавший меня от соблазна. Мой старый приятель-псевдонимщик, похоже, вовсе забыл ко мне дорогу, и я молюсь о том, чтобы он её так и не вспомнил. Но вы знаете, юноша, евреи теперь снова во всём виноваты, и чем дальше, тем больше. И вот я жду каждый вечер, что откроется дверь, и мой старый приятель начнёт новую исповедь.

Так мы беседовали с ним по утрам, почти всякий раз прерывая разговор на самом интересном месте, потому что подходил тот последний автобус, который мне уже никак нельзя было пропустить. Я вскакивал на подножку и потом всю дорогу думал о том, что из рассказанного им было в действительности, а что было только догадками, слухами, плодом ума и воображения, хотя, в сущности, это было неважно, потому что если судить трезво, то и сами мы, может быть, только плод чего-то воображения, да и тот, кто вообразил нас, может быть, выдуман кем-то другим.

За этими разговорами мне и в голову не приходило, что старый-еврей-из-табачного-киоска может мне чем-то помочь. Я просто обмолвился однажды без задней мысли. Знаете, как это бывает, когда наболит на сердце.

Я просто обмолвился, и вдруг вижу — он как-то по-особенному на меня глядит. Без обычной царапающей усмешливости.

— Давно вы с этим бьётесь, юноша?

— Да уж года полтора, как отправил в Израиль все данные, получил ответ, что всё сделано, много раз послано, а его всё нет.

— И вы ничего не предпринимали?

— Как же, — говорю, — предпринимал. Подал заявление на Международный почтамт.

— И?..

— Сказали, что через месяц ответят.

— И ответили, что для поиска пропавшего письма вы должны представить квитанцию. Ту, что выдали отправителю в Израиле.

Я посмотрел на него с изумлением.

— Откуда вы знаете?!

— Жаль, что вы раньше мне не сказали, — произнёс он, понизив голос. — Но не беда, лучше поздно, чем никогда.

— А вы действительно можете помочь? — спросил я, не утаив недоверия.

— Разве я уже ни на что не гожусь, кроме как сидеть в этом киоске? — мне показалось, что он несколько уязвлён.

— Не в том дело, — попытался я загладить неловкость. — Просто вызовы сейчас ни к кому не приходят. Они перекрыли почтовые ящики.

— Перекрыли. Но нет таких крепостей. Сейчас не то время, юноша, когда ничего нельзя было сделать. Если действовать умно и последовательно...

— И вы знаете, как? — в моём голосе опять прозвучало недоверие.

— Ручаться за успех не могу, но кое-что могу посоветовать. Должен же я вас чем-то отблагодарить!

— За что это? — я не заметил его перехода к обычной шутливости.

— Как так — за что! А план?! Что бы я делал в этом киоске, если бы не такие стойкие клиенты, как вы. На вас держится весь мой план! Моя прогрессивка! За столько лет вы не разу меня не подвели. А долг платежом красен, как учит нас Вечно-Живое-И-Развивающееся Учение. Приходите завтра пораньше, чтобы у нас было минут сорок. Для

первого разговора этого хватит. А теперь спешите, подошёл ваш автобус...

ОБ АВТОРЕ

Семён Резник (1938, Москва) — один из ведущих писателей и публицистов русского зарубежья. Живёт и работает в Вашингтоне.

В течение многих лет был редактором и автором знаменитой серии ЖЗЛ, автор биографий крупнейших учёных. После эмиграции в США был многолетним сотрудником «Голоса Америки».

Его перу принадлежат известные историко-публицистические книги «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына «Двести лет вместе», «Непредсказуемое прошлое», «Мифология ненависти», «Убийство Ющинского и дело Бейлиса», «Цареубийство» и др. Он написал и издал нескольких исторических романов.

Обширная биография Николая Вавилова была опубликована Семёном Резником в 2017 году.

Недавно в России увидела свет его переписка с известным писателем Сергеем Есиным.

Алексей ОРЛОВ «ВЫЧЕРКНУТЫЕ ИСТОРИИ»

ГЛАВЫ ИЗ НОВОЙ КНИГИ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Алексей Орлов, известный русскоязычный политический и спортивный обозреватель, специализируется на американской истории. Недавно вышла из печати его книга, овеянная мистикой: о том, как в течение более ста лет в результате проклятия индейского пророка умирали до окончания своего срока американские президенты, избранные в годы кратные двадцати. Книга вызвала интерес и быстро разошлась среди русскоговорящих иммигрантов.

Сейчас Орлов готовит к изданию вторую книгу. Это будет сборник «вычеркнутых историй» — рассказов о людях и событиях, о которых в наше время не полагается говорить и писать — в современной Америке, увь, набирает силу «cancel culture», то есть «запрещённая», или «вычеркнутая» культура, а попросту говоря — идеологическая цензура.

Мы печатаем две главы из этой книги.

МОЗЕС ЭЗЕКИЛЬ ЗАЩИЩАЛ РОДНОЙ ДОМ

Арлингтонское национальное кладбище — одно из самых посещаемых туристами мест в нашей стране. Ежегодно здесь бывает более четырёх миллионов человек, и это, конечно, не только американцы. Не опасаясь ошибиться, предположу, что могила Джона Кеннеди — одна из самых посещаемых. Могила Неизвестных (*Tomb of the Unknowns*) занимает, наверное, второе место. Но многие ли тури-

сты заглядывают в 16-ю секцию кладбища, где похоронены конфедераты, сражавшиеся с Союзом? Единицы, главным образом, из штатов бывшей Конфедерации. И каждому, кто приходит сюда, открывается величественный 10-метровый (32 фута) памятник потерпевшим поражение в самой кровопролитной войне в истории Соединённых Штатов Америки. Автор памятника — Мозес Джейкоб Эзекиль, один из известнейших американских скульпторов второй половины 19-го — начала 20-го века. Его могила — у подножия памятника. На плите выбито: «Мозес Дж. Эзекиль, сержант роты «Си» батальона курсантов Вирджинского военного института».

* * *

Мозесу Джейкобу Эзекилю не исполнилось 17-ти, когда началась война, вошедшая в историю Америки как Гражданская, но которую на Юге по сей день называют иначе, чаще всего — войной между штатами. Юный Мозес стремился сражаться, как и большинство его сверстников в Ричмонде, столице Виргинии, ставшей и столицей Конфедерации Соединённых Штатов.

Виргиния не была в числе первых штатов, порвавших с Союзом и присоединившихся к новому государству. И Виргиния не намеревалась отделяться. 4 апреля 1861 года — ровно через месяц после инаугурации президента Авраама Линкольна — 88 делегатов конвента, решавшего будущее штата, одобрили резолюцию за членство в Союзе, только 45 голосовали за отделение. Сразу же после голосования с Линкольном встретился делегат конвента Джон Болдвин, голосовавший против отделения. Он сказал президенту, что его решение отправить продовольствие и боеприпасы гарнизону Форта Самтер может привести к тому, что кто-то откроет огонь, и если это случится, то большинство в конvente Виргинии перейдёт к сторонникам разрыва с Союзом. По словам Болдвина, Линкольн не поверил ему. 12 апреля генерал Пьер Боэргард, первый генерал в только что созданной армии Конфедерации, приказал открыть артиллерийский огонь по Форту Самтер. 15 апреля Линкольн объявил о наборе добровольцев. 17 апреля делегаты виргинского конвента одобрили 88-ю голосами выход из Союза (33 были против). Вслед за Виргинией к Конфедерации присоединились Арканзас, Теннесси и Северная Каролина.

Евреи Ричмонда и всей Виргинии встретили известие о войне так же, как и остальные жители Конфедерации. В сегодняшнем Рич-

монде, в Музее Конфедерации, хранится копия обращения раввина Максимилиана Микелбахера к единоверцам. Он просит молиться за солдат Конфедерации и оказать финансовую поддержку семьям виргинских добровольцев. Призыв был услышан и семьёй Джейкоба и Катерины Эзекиль, у которых было 14 детей; Мозес был пятым по старшинству.

Дед Мозеса эмигрировал в 1808 году в Америку из Голландии, куда тремя столетиями раньше его предки бежали из Испании. Он поселился в Филадельфии, затем переехал в Ричмонд. Здесь он владел магазином готовой одежды. Работоторговцы одевали в этом магазине чёрных невольников, привозимых в Ричмонд на аукцион. Когда началась война, дед Мозеса поддерживал Союз и жертвовал деньги пленным северянам. Но его дети и внуки, включая юного Мозеса, были на стороне Конфедерации.

Много лет спустя Мозес Эзекиль писал в мемуарах: «Мы воевали не ради сохранения рабства, а за права штатов на свободную торговлю и защищая родные дома, в которые бесцеремонно вторгся враг». Катерина Эзекиль, его мать, сказала однажды, что не потерпела бы в своей семье сына, отказавшегося служить в армии Конфедерации.

Дед за Союз, дети и внуки за Конфедерацию; это была обычная ситуация во многих семьях. Три брата Мэри Тодд Линкольн, жены президента США, были в армии Конфедерации, и все трое погибли на войне. Родственники Варины Дэвис, жены президента Конфедерации, сражались в армии Союза. Оба сына сенатора Джона Криттендена из Кентукки были генералами: один — в армии Конфедерации, другой — в армии Союза.

Мозес Эзекиль рвался воевать за Конфедерацию. Он поддержал призыв раввина Микелбахера. Отец и мать не возражали, но посоветовали сыну научиться владеть оружием и ездить верхом. 17 сентября 1862 года, за месяц с небольшим до своего 18-летия Мозес поступил в Виргинский военный институт и стал первым курсантом-евреем в истории Института, основанного в городе Лексингтон в 1839 году.

Много лет спустя, в 1903 году, Джон Вайз, однокурсник Мозеса, писал, что Эзекиль вряд ли мог стать хорошим офицером — уж очень он был хлипкок. Но этому хлипкому курсанту пришлось вместе с соучениками принять 15 мая 1864 года участие в битве при Нью-

Маркете — небольшом в то время (да и сейчас) городе в долине Шенандоа — житницы штата Виргиния.

Весной 1864 года генерал-лейтенант армии Союза Улисс Грант приказал генерал-майору Францу Сигелю захватить контроль над долиной и перекрыть все дороги, идущие с запада на восток. В распоряжении Сигеля находилось 10 тысяч солдат. Под началом генерала южан Джона Брекинриджа было только 4500, и он обратился к руководству Виргинского военного института с просьбой о помощи. При этом обещал, что курсанты будут в резерве и их бросят в бой только в крайнем случае.

295 курсантов промаршировали 80 миль из Лексингтона до расположения армии Брекинриджа, и генерал их встретил такими словами: «Джентльмены, я верю, что мне не потребуется ваша помощь. Но если потребуется, я знаю, вы выполните свой долг».

Их помощь потребовалась. В победоносном для конфедератов сражении 48 курсантов были ранены, десять погибли. Среди погибших был ближайший друг Эзекиля Томас Гарланд Джефферсон, потомок Томаса Джефферсона. Эзекиль читал Библию у постели смертельно раненного друга... За доблесть в бою курсанту Эзекилю было присвоено звание сержанта. Битва при Нью-Маркете — единственная в истории страны, когда в одном сражении участвовали все до единого студенты высшего учебного заведения.

Поражение Конфедерации прервало учёбу курсантов. Но в конце 1865 года Эзекиль вернулся в Институт и в следующем году закончил его. К этому времени Мозеса уже знали как отличного рисовальщика. Сохранилось несколько свидетельств этого. Вот только одно.

После поражения Конфедерации Роберт Ли возглавил Колледж Вашингтона (ныне Университет Вашингтона и Ли), находящийся в Лексингтоне неподалёку от Виргинского военного института. В 1866 году Эзекиль, курсант выпускного курса, привлёк своими рисунками внимание Ли и его жены. Бывший генерал написал 22-летнему курсанту: «Надеюсь, вы будете художником, поскольку, мне кажется, вы рождены для этого. Но кем бы вы ни стали, постарайтесь доказать миру, что, хотя мы и не добились успеха в своей борьбе, мы достойны успеха, и заработайте репутацию в той профессии, которую выберете».

Мозес Эзекиль избрал профессию скульптора. Он провёл один год в Медицинском колледже Виргинии, изучая анатомию человека, потом переехал в Цинциннати, где учился в студии скульптора То-

маса Доу Джонса. По совету выпускников этой студии он отправился в 1869 году в Берлин, в Прусскую художественную академию.

В 1873 году Эзекиль, член Берлинского общества художников, получил международную награду, которая позволила ему переехать в Рим и основать там свою студию. Вся его последующая жизнь связана с этим городом. Время от времени он приезжал в Америку, обычно на открытие созданных им памятников.

В 1876 году Эзекиль приехал в Филадельфию на празднование столетия страны. Для филадельфийской юбилейной выставки он создал из мрамора группу «Религиозная свобода». Ныне эта работа находится в Филадельфии в Национальном музее американской еврейской истории.

Многие работы Эзекиля связаны с Виргинией, Виргинским военным институтом и Югом. В 1887 году был открыт памятник погибшим в битве при Нью-Маркете, и курсанты Института в течение многих лет участвовали из года в год в парадах перед этим памятником.

В 1910 году бронзовый памятник неизвестному солдату, названный «Outlook», был установлен на берегу озера Эрина на острове Джонсонс-Айленд (штат Огайо), на кладбище, где похоронены конфедераты, умершие в плену. Это был год последнего приезда Эзекиля в Америку.

Последняя работа Эзекиля — бронзовая скульптура Эдгара Аллана По, жившего много лет в Ричмонде. Она установлена в Балтиморе, где По скончался.

Эзекиль умер в Риме в 1917 году. Шла война, и он был временно похоронен в Риме. 31 мая 1921 года он был перезахоронен на Арлингтонском кладбище. Траурной церемонией руководил военный министр Джон Уикс. В почётном карауле стояли курсанты Виргинского военного института.

«Великий виргинец, великий художник, великий американец», — говорилось в послании президента Уоррена Хардинга.

* * *

Мозес Джейкоб Эзекиль — сержант роты «Си» батальона курсантов Виргинского военного института — один из сотен евреев, сражавшихся в войне между штатами на стороне Конфедерации. Памятник погибшим конфедератам на Арлингтонском кладбище — самое знаменитое его творение. В скульптурной группе мы видим негра-

конфедерата, марширующего вместе с белыми. Это первый в истории памятник, где запечатлён чернокожий конфедерат...

В 11 штатах Конфедерации было от 20 до 25 тысяч евреев. Когда Южная Каролина и вслед за ней другие южные штаты объявили о выходе из состава Союза, евреи-южане остались верными гражданами своей земли. Типичен пример военного врача, майора Дэвида Камдена Де-Леона — гражданина Южной Каролины. Объявление этим штатом независимости застало его в армии, и он тут же подал генералу Винфелду Скотту рапорт об отставке. Они были друзьями, вместе участвовали в Мексиканской войне. Скотт умолял друга отказаться от «предавшей» Союз Южной Каролины, обещал направить его на северо-запад страны, подальше от Юга. Он даже угрожал Де-Леону арестом, надеясь его таким образом спасти. Но Де-Леон всё-таки покинул армию Союза и вступил в армию Конфедерации

Евреи служили в пехоте, кавалерии, артиллерии, в военно-морском флоте. Те, кто не был военным — большинство — вступали в армию добровольно, не дожидаясь призыва. Были среди них иммигранты из Германии, покинувшие родину, чтобы избежать военной службы, и ставшие добровольцами вскоре после переезда за океан.

Меер Швабакер добрался из Европы до Ричмонда, когда война уже была в разгаре. Будучи иностранцем, он по закону мог уклониться от военной службы, но записался добровольцем.

Теодор Кон приехал из Баварии к своему дяде в Южную Каролину, оставив родителей. Незадолго до начала войны, когда мало кто сомневался, что её не миновать, отец Теодора написал сыну: «Сообщаю моё желание: уезжай быстрее из этой несчастной страны (Южной Каролины), потому что через несколько лет она будет лежать в руинах...» Сын не послушался отца. Он прошёл всю войну, был ранен, дослужился до капрала.

В 2000 году издательство Университета Южной Каролины выпустило книгу Роберта Розена «Евреи-конфедераты» («The Jewish Confederates»), в которой есть немало строк и о скульпторе Эзекиле. «Вы, быть может, не согласитесь с этими еврейскими конфедератами, но, конечно же, вы поймёте их лучше», — написал в рецензии на книгу известный всей стране юрист Алан Дершовиц.

Кто-то не только не согласился, но и не понял. Среди таковых оказались 22 потомка Эзекиля. 20 августа 2017 года газета «Washington Post» напечатала их просьбу снести установленный на Арлингтон-

ском национальном кладбище памятник конфедератам: «Как и большинство подобных памятников, эта статуя призвана переписать историю, чтобы оправдать Конфедерацию... Как бы наша семья ни гордилась художественным мастерством Мозеса, мы — около двадцати Эзекилей — просим убрать эту статую...»

Если вы, читатель, ещё не видели самую знаменитую работу Мозеса Джейкоба Эзекиля, поспешите. Неровен час, вся 16-я секция Арлингтонского национального кладбища будет сравнена с землёй.

«МОЗГ КОНФЕДЕРАЦИИ» ДЖУДА БЕНДЖАМИН

Фотografiровать нельзя! Запрещается! Это было первое, что я услышал, переступив порог бара «Соблазн» в Новом Орлеане. Войди я в это заведение, находящееся на первом этаже дома 327 по Бурбон-стрит, поздно вечером или ночью, то понял бы смысл запрета: в эти часы на сцене выступают девочки — не только «топлес», но и «ботомлес», их запрещено фотографировать. Правило распространяется на все подобные места, каких на Бурбон тьма и куда прохожих привлекают мужчины и женщины, чья профессия не вызывает сомнения. Но я пришёл сюда днём, когда никого, кроме дежурной, не было, а потому не мог взять в толк, почему запрещено.

— Я сказала: нельзя! — повторил свирепый голос, когда я достал камеру.

— А спросить вас о чем-то можно? — сказал я и, не получив ответа, всё же спросил: — Здесь давно находится бар?

— Сколько я работаю.

— А до вас?

— Здесь всегда был ресторан! — сказала она, сделав ударение на «всегда».

Она, конечно, не знала, что Бурбон-стрит не сразу стала в Новом Орлеане тем, что представляет собой ныне. Когда-то это была вполне респектабельная улица. А в доме, где встречает гостей «Соблазн», с 1833-го по 1845-й жил Джуда Бенджамин — первый в истории США сенатор-еврей, возглавлявший в последние годы жизни

Британскую ассоциацию адвокатов. Он мог стать и первым в истории евреем — членом Верховного суда США, но когда президент Миллард Филлмор предложил ему этот пост, отказался от высокой чести. И Джуда Бенджамин — единственный еврей, лицо которого запечатлено на американских деньгах — двухдолларовой банкноте Конфедерации.

Работница стриптиз-бара ничего не знала о Бенджамине, что не удивляло. На доме, в котором он жил, нет мемориальной доски. Да и во всём городе нет намёка на то, что здесь жил этот человек. Любезная хозяйка книжного магазина «Фолкнер-Хауз» (в этом помещении жил когда-то знаменитый писатель Уильям Фолкнер), городской старожил, не поверила мне, когда я ей сказал, что в Новом Орлеане нет никаких признаков того, что в нём жил Бенджамин. Она тут же связалась с историческим обществом, где ей подтвердили сказанное мной. В местном историческом музее есть, оказывается, кровать, на которой спал Бенджамин. Но в экспозиции её нет.

Почему в Новом Орлеане абсолютно ничто не напоминает о Бенджамине? Ответ знает каждый: Бенджамин был видным политиком в Конфедерации Соединённых Штатов. Он занимал посты министра юстиции, военного министра и государственного секретаря. Возможно, Бенджамин не был бы забыт, если бы еврейская община Нового Орлеана напоминала о нём потомкам. Но тамошние евреи (и не только, конечно, тамошние) не желают прославлять одного из ведущих деятелей Конфедерации, бывшего к тому же рабовладельцем. Американские евреи всегда назовут вам филадельфийского купца Хаима Соломона, который финансировал армию Джорджа Вашингтона, сражавшуюся в Войне за Независимость, но отведут в сторону глаза, когда упомянешь, что тысячи евреев сражались в армии конфедератов. Впрочем, у евреев есть формальный повод не помнить Бенджамина. Он был далёк от религии, не состоял членом какой-либо синагоги, женился на католичке.

Юриспруденция, политика, финансы — вот что входило в круг интересов Бенджамина. Его перу принадлежит ставшая классической работа о законодательстве в торговле. Изданная в 1868 году в Англии, эта работа стала классическим учебником юриспруденции, неоднократно переиздавалась. Биографы Бенджамина рассказывают, что вскоре после выхода книги в свет барон Самуэль Мартин, один из известнейших английских судей, занял своё кресло в суде

и попросил клерка принести книгу Бенджамина. «Никогда не слышал об этой книге», — сказал молодой клерк. Барон насупил брови: «Имейте в виду, отныне я никогда не сяду в своё кресло, не имея под рукой эту книгу».

«Продажа по Бенджамину» («Benjamin on Sales») — под таким названием книга дошла до наших дней. Она выдержала три издания при жизни автора, 8-е было опубликовано в 2010 году.

Но Бенджамин почти ничего не написал о своей политической деятельности. Только два упоминания. В сентябре 1865 года лондонская «Times» напечатала письмо Бенджамина, в котором он выражал протест по поводу заключения в тюрьму бывшего президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. В 1883 году Бенджамин написал в газету письмо с опровержением появившегося в США сообщения, что он положил в европейские банки миллионы долларов, вывезенных конфедератами. Эти два письма — всё, что написал Бенджамин в связи с Гражданской войной.

Политические и общественные деятели ранга Бенджамина вызывают обычно повышенный интерес историков. С ним этого не случилось. В XIX веке не вышло в свет ни одной его биографии. За весь XX век — только три: Пирса Батлера в 1907 году, Роберта Даутата Мейда в 1943-м, и Эли Эванса в 1988-м. Ни одна из трёх не отвечает на интереснейший вопрос: пересекались ли в Англии пути Джуды Бенджамина и Бенджамина Дизраэли — двух сефардских евреев, ставших видными экономистами и политиками в протестантских странах?

Джуда Филип Бенджамин родился 6 августа 1811 года на острове Сент Крой в Карибском море. Ему было два года, когда семья переехала в Фейетвилл (Северная Каролина), где жил его дядя Джейкоб; ему было десять, когда семья переехала в Чарлстон (Южная Каролина) — город с крупнейшей в Соединённых Штатах в начале XIX века еврейской общиной (больше 500 человек). Многодетная (восемь детей) семья Филипа и Ребекки Бенджаминов была небогатой. Ей принадлежала небольшая фруктовая лавка. Ребекка торговала в ней все дни недели, включая субботу, чем вызывала неприязнь единоверцев. В лавке работали и дети, в том числе Джуда. В 1824 году Филип Бенджамин подписал с группой евреев обращение в синагогу с просьбой проводить службы на английском языке, а не на иврите, и сократить

их продолжительность. Им в этом отказали, и тогда они сформировали «реформистское общество». Это было рождением реформистской синагоги, к которой сегодня принадлежит более трети американских евреев.

Став взрослым, Джуда Бенджамин не соблюдал еврейских традиций и обычаев, женился на католичке.

Джуда учился сначала в еврейской школе, а когда ему исполнилось 14 лет, отправился учиться за тысячу миль — в Нью-Хейвен (Коннектикут) в Йельский колледж, ставший впоследствии университетом. В первые десятилетия XIX века в Йеле учились многие южане. Назову только одного: Джон Кэлхун из Южной Каролины, один из самых известных политиков первой половины XIX века. Он учился в Йеле с 1802 года по 1804-й, закончил с отличием. Бенджамин проучился два года и покинул колледж внезапно, недоучившись, при загадочных обстоятельствах. В 1861 году нью-йоркская еженедельная газета «The Independent» напечатала статью Фрэнсиса Бэкона, учившегося в Йеле за 35 лет до этого, в то же время, что и Бенджамин. Статья рассказывала о случаях краж в колледже. «Мелкий воришка, — писал Бэкон, — недавний сенатор в Конгрессе...» Автор не называл имени, но не было сомнений, кого имеет в виду.

По словам Бэкона, кражи случились в 1828 году. Но Бенджамин покинул колледж в 1827-м. Он объяснял это финансовыми затруднениями в семье. Цель статьи была очевидной: Бэкон был аболиционистом, а Бенджамин в 1861 году был министром в правительстве Конфедерации... Бенджамин хотел подать в суд иск за клевету. Ему отсоветовали: судебное разбирательство могло привлечь всеобщее внимание, а статью в еженедельнике мало кто прочитает.

Так или иначе, но вопрос о причинах, заставивших Бенджамина уйти из Йельского колледжа, остаётся открытым. Вероятно, он покинул Йель в связи с тем, что отец бросил семью, а у матери не было возможности оплачивать учёбу сына. Вероятно...

Из Нью-Хейвена 16-летний Бенджамин едет не в Чарлстон, а в Новый Орлеан. Здесь он изучает право и французский язык, сдаёт адвокатский экзамен и приступает к юридической практике. В начале 40-х годов он уже пользуется славой классного специалиста; в 1842-м его выбирают депутатом от Нового Орлеана в палату представителей Луизианы. Будучи членом палаты, он принимает участие в написа-

нии конституции штата Луизиана. Это выдвигает Бенджамина в политические лидеры штата, и в 1852 году легислатура выбирает его в Сенат США.

В 1833 году Бенджамин женился на 16-летней красавице-креолке Натали Сен-Мартен. Через десять лет у них родилась дочь Нинет. Спустя два года мать уехала с ней во Францию, заявив, что жизнь в Новом Орлеане скучна и неинтересна. После этого она лишь однажды — когда муж был депутатом Сената — приезжала в Америку, в Вашингтон. «Провинциальный» Вашингтон разочаровал её, и она вернулась в Париж. Будучи депутатом Сената, Бенджамин каждое лето навещал жену и дочь в Париже. Других женщин у него не было, ходили слухи, что он то ли импотент, то ли гомосексуалист. Он не реагировал на слухи.

Сенатор Бенджамин защищал торговые интересы Луизианы и занимался вопросами, связанными с международной торговлей, международными соглашениями, строительством железных дорог. Знание в совершенстве французского и испанского языков и энциклопедические знания международных законов сделали его незаменимым в Сенате.

В дебатах с коллегами-северянами Бенджамин защищал рабовладение и был одним из немногих, кто не уступал в дебатах аболиционистам. И были аболиционисты, которые не упускали в дебатах случая, чтобы напомнить Бенджамину о его еврействе. Однажды, в очередном споре о рабстве, сенатор из Огайо Бенджамин Уэйд осунулся древней истории евреев и назвал Джуду Бенджамина «израелитом с египетскими принципами». Сенатор из Луизианы не полез за словом карман: «Это правда, что я еврей. И когда мои предки получали Десять заповедей из рук Всевышнего на горе Синай, предки моего оппонента пасли свиней в британских лесах».

Семья Бенджамина владела рабами, когда ещё жила на острове Сент-Крой. У Джуды их было несколько десятков. Пирсу Батлеру, автору первой биографии Бенджамина, довелось встретиться с двумя, дожившими до XX века. Они сохранили о своём хозяине добрые воспоминания, но в их рассказах не всегда можно было отличить правду от вымысла.

Бенджамин был в числе политиков-южан, настаивавших на отделении от Союза. 14 декабря 1860 года он подписал «Обращение некоторых южан-депутатов Конгресса к своим избирателям»; авторы тре-

бовали отделиться. 31 декабря он произнёс в Сенате речь, отстаивая конституционное право каждого штата на выход из Союза. 26 января 1861 года легислатура Луизианы проголосовала за отделение штата, а 4 февраля Бенджамин выступил с прощальной речью в Сенате. В ближайшие несколько недель, говорил он, мы, сенаторы-южане, перестанем встречаться с коллегами. «Мы просим, мы умоляем вас: позвольте нам уйти с миром. Я заклинаю вас не потакать иллюзиям, что моральный долг или совесть, выгода или честь убеждают вас в необходимости вторжения в наши штаты и пролития крови. У вас нет для этого оправданий».

Верил ли сам Бенджамин в то, что кровь не будет пролита? Сомнительно... Живших в Новом Орлеане сестёр он убеждал не уезжать из города в случае войны. Сам никогда в этот город уже не приезжал. Из Вашингтона Бенджамин направился в Монтгомери (Алабама) на сессию Конгресса Конфедерации. 25 февраля он занял пост министра юстиции Конфедеративных Штатов Америки. Осенью этого же года он стал военным министром, а с марта 1863 года и до последних дней Конфедерации был государственным секретарём.

Историки называют Бенджамина «мозгом Конфедерации», ссылаясь при этом на президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. Варина Хоуэлл Дэвис, жена Дэвиса, говорила о нём как о «правой руке» мужа. Бенджамин и Дэвис сотрудничали в Сенате, но дружескими их отношения не были. Однажды даже запахло дуэлью. В дебатах о финансировании армии сенатор из Луизианы Бенджамин сказал, что его коллега из Миссисипи Дэвис просит «слишком много». Дэвис, в прошлом офицер армии, героический участник войны с Мексикой, не желал выслушивать нравоучения «гражданского человека» и назвал его «казачьим адвокатом». Это было оскорбление, и джентльменский код южан требовал от Бенджамина немедленной реакции. Реакция последовала: Дэвису был передан письменный вызов на дуэль. Если бы дуэль состоялась, предсказать её исход было не трудно. Один — бывший офицер, прекрасный наездник, стрелок, шпажист, второй — близорукий человек, никогда не державший в руках оружия. Но и Дэвис был джентльменом. На следующий день он публично извинился перед сенатором из Луизианы. Это случилось в июле 1858 года.

Спустя почти три года, в феврале 1861-го, президент Конфедерации Дэвис назначил Бенджамина министром юстиции. Они с рабо-

тали рука об руку до последних дней Конфедерации. Дэвис не хотел покидать Америку, Бенджамин не намеревался оставаться в стране. Дэвис и Бенджамин тепло попрощались, не догадываясь, что увидятся. Они встречались несколько раз в Англии, где Бенджамин стал практикующим адвокатом, а Дэвис приезжал увидеться с бывшими конфедератами.

30 августа 1865 года Бенджамин приплыл в Саутгемптон, чтобы в 54 года начать новую жизнь. В первые месяцы он перебивался случайными заработками. В начале января 1866 года поступил учиться в одну из старейших английских юридических школ Lincoln's Inn, названной именем графа Линкольна, который подарил Обществу правоведов Лондона здание для школы. Студент со странным заокеанским акцентом вызывал улыбку и насмешки соучеников, которые были в два раза младше его. В отличие от большинства он был трудоголиком. Рассчитанный на три года курс учёбы Бенджамин завершил за шесть месяцев. Он учился и зарабатывал на жизнь обзорами международных событий для лондонской газеты «The Telegraph».

6 июня 1866 года Бенджамин сдал экзамен на право заниматься юридической практикой. В прошении о приёме в ассоциацию адвокатов он написал, что находится в «политической ссылке» (political exile). Адвокат Бенджамин пребывал в безвестности до августа 1868 года, когда вышел в свет написанный им «Свод законов о продаже личного имущества». Он стал одним из ведущих британских юристов, возглавил всеанглийскую ассоциацию адвокатов, ему был присвоен титул королевского адвоката. Он поставил точку в своей блестящей карьере 24 июля 1883 года, когда представил в Палате лордов «дело» о праве на рыбную ловлю герцога Девонширского в водах Ирландии.

...Умер Бенджамин 6 мая 1884 году в своём парижском доме. Узнав о его кончине, Варина Дэвис написала: «Завершилась земная жизнь одного из величайших умов столетия».

Жена и дочь похоронили Джуду Бенджамина на кладбище Пер-Лашез. Его имени нет на туристских картах, где помечены могилы Мольера, Россини, Шопена, Бальзака, Бизе, Оскара Уайлда, Сары Бернар и многих других знаменитостей.

В 1938 году парижское отделение организации «Объединённые Дочери Конфедерации» установило на анонимном надгробии надпись:

«Джуда Филип Бенджамин... Сенатор США от Луизианы, министр юстиции, министр войны и государственный секретарь Конфедеративных Штатов Америки, королевский адвокат. Лондон».

В Новом Орлеане о нём ничто не напоминает.

ОБ АВТОРЕ

Алексей Орлов — журналист, эссеист. Окончил географический факультет и факультет журналистики Ленинградского университета. Эмигрировал в США в 1976 году. Работал почти четверть века в ежедневной газете «Новое русское слово». Ведёт на Дэвидсон-Радио еженедельную часовую передачу «Моя Америка» и ежедневные — с понедельника по пятницу — пятиминутные утренние выпуски спортивных новостей. Продолжает писать исключительно об Америке — история, политика, спорт.

Владимир ФРУМКИН
ПЕСНИ ВЕРНУЛИСЬ, ЗАПАХИ ИСЧЕЗЛИ.
КРОМЕ ОДНОГО...

Раз-два-три, раз-два-три... Вальсовый ритм, обаятельный и наивный шарманочный напев:

Шарманка-шарлатанка,
как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка,
куда меня зовёшь?
Шагаю еле-еле —
вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели,
когда ботинки жмут?..

Выступая перед западной публикой, я говорил, что старый шарманщик в этой песенке Окуджавы на самом деле никакой не шарманщик. И что советские слушатели прекрасно понимали: автор прозрачно намекает на то, каково достаётся поэтам, писателям, художникам, творящим под прессом тотальной цензуры. Прошли годы, и некоторые окуджавские метафоры, аллюзии и намёки стали для меня самой что ни на есть реальностью. «Шагаю еле-еле...» — да это же про меня сегодняшнего! Ну, может, и не еле-еле хожу, но далеко не в прежнем темпе. Вместо *allegro moderato* — *adagio trudnovato*...

Возвращаются ко мне, как бумеранг, и песни Александра Аркадьевича Галича, много раз петые по обе стороны океана.

*Чувствуем с напарником: ну и ну!
Ноги прямо ватные, всё в дыму...*

Всё верно. Абсолютно точное попадание. И про ноги, и про дым. Который я в моих недавних воспоминаниях-размышлениях заменил туманом. Начинались эти воспоминания строчками из ранней песни Булата:

*Уходит взвод в туман, туман, туман,
а прошлое ясней, ясней, ясней.*

И продолжились словами о том, что теперь я «сам ухожу в туман. Во мглу, имеющую странное свойство: она не снаружи, не вокруг меня. Она внутри. В черепной коробке. Заползает в глаза, мешает читать и писать, ходить уверенно и прямо. Мешает жить...

Ну, а как насчёт прошлого? Непонятно почему, но оно и у меня ясней, ясней, ясней. Как у тех оруджавских солдат, уходящих на войну под грохот барабана. Сквозь противную, изматывающую муть в голове и немыслимо длинную череду прожитых лет всё отчётливее проступает многое из того, что происходило со мной с малолетства, с трех-четырёх лет. И всё яснее, как на рентгеновском снимке, видится мне картина моего детства. Картина довольно таки причудливая».

Да, вот такая диалектика получилась. Единство и борьба противоположностей, материи и духа, физиологии и сознания. Дым и туман мешают видеть и двигаться. А память работает, способность думать и понимать, что к чему, не ослабевает. Да, «уходит жизнь из пальцев», как уходила у Егора Петровича Мальцева, героя галичевской «Баллады о сознательности», занимавшей видное место в моём репертуаре. Однако же мои слабеющие пальцы продолжают выстукивать на компьютере тексты, которые, судя по реакции издателей и читателей, всё ещё имеют какой-то смысл. Да, «вскорости, похоже, не будет ничего», как у того же Егора Петровича. Ну и что? «Так природа захотела. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить». Оруджава высказал (спел) эту мудрую мысль по другому поводу, но она вполне годится и для этого случая. Когда размышляешь о неизбежном. О том, что *ars longa, vita brevis*... Таков закон таинственной, непостижимой и неутомимой Природы. Смирись и не рыпайся.

Ну, и ещё одна песня вспоминается в эти закатные дни и месяцы. Петая часто и мной одним и в дуэте с дочкой Майкой. Написал её Булат. «Батальное полотно» называется. «Сумерки. Природа. Флейты

голос нервный. Позднее катанье. На передней лошади едет император в голубом кафтане». Это начало. А в конце:

Всё слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.

Где-то под ногами и над головами — лишь земля и небо.

Меня миновала ностальгия по оставленной стране. Не тосковал, не мучился воспоминаниями. Единственное, чего мне не хватало на Западе, — запахов. Особенно тех, что наполняли моё белорусское детство, протекавшее в глуши, в маленьких посёлках возле спирт-заводов, где работал мой отец. До сих пор помню ни с чем не сравнимый запах парного молока от нашей собственной коровы. Неподражаемо пахла весенняя почва, когда мы вскапывали наш огород. А как благоухали потом выросшие на нём помидоры, морковь, огурцы, смородина, клубника. Не могу забыть пьянящий запах антоновских яблок. Белорусские леса, дикие и густые, местами заболоченные, источали прихотливую гамму запахов, которые я не берусь ни перечислить, ни описать. Помню, как я обрадовался, увидев в Америке кусты сирени. Подошёл к одному, приник к ветке — сирень, да не та. Не тот запах. Не та интенсивность. Бедноватый запах. То же самое — с жасмином, липой, клёном, тополями. С запахами тающего снега в начале весны...

Был у моей первой родины ещё один, специфический запах, по которому я абсолютно не скучаю. Он, собственно, и вынудил меня её покинуть. Я имею в виду запах несвободы. Которого я поначалу не ощущал, но по мере взросления стал чувствовать всё явственнее и невыносимее. Станным образом, я стал ощущать его в воздухе моей второй родины, и не то, чтобы этот удушливый запах приносит случайным ветром откуда-то извне: из Ирана, Китая, России или Северной Кореи. Нет, похоже, что его начинает издавать наше родное, слегка подгнивающее, общество. Моим согражданам, как видно, порядком поднадоели свободы, которые, подобно мощному магниту, продолжают притягивать к Америке миллионы людей из разных континентов планеты. Между тем, половина Америки почему-то решила, что настала пора эти вольности поурезать, обкарнать, а некоторые и вовсе похерить. Интересно, куда мы придём, подгоняемые этой половиной, к которой 20-го января присоединилась ещё и наша исполнительная власть?

Всё слабее звуки прежних клавинонов, голоса былые.

Только цокот мерный, флейты голос нервный, да надежды злые...

Это и про нас тоже. Про сегодняшнюю Америку. Былые голоса, провозгласившие невиданные американские свободы, звучат всё глуше. Отцы-основатели, оказывается, не так безупречны, как думали предыдущие поколения американцев. Они были колонизаторами и рабовладельцами. А потому и к их идеям не может быть полного доверия. Америка нуждается в глубокой трансформации на основе новых, прогрессивных идей. Почерпнутых у знаменитых философов Франкфуртской школы, того же Маркузе, у неомарксистов, в 1935 году переместившихся в Нью-Йорк — от гитлеровской несвободы к американской свободе, которую они в своих писаниях и лекциях призывали поломать, отменить, чтобы построить более справедливое общество. Без капиталистической эксплуатации и без притеснения белыми людьми угнетённых цветных меньшинств. Вот такая философия.

Другую половину страны от этих идей охватывает оторопь: вы что, спятили? Совсем потеряли здравый смысл? Ведь то, что вы предлагаете и уже начали делать, ничего хорошего стране не сулит! Только misery, как предупреждала незабвенная Маргарет Тэтчер. То есть, несчастье, страдания, нищету.

Увы, инициатива — не за этой, здравомыслящей половиной. Её перехватили искатели истинной справедливости и тотального равенства. В их руках теперь, практически, все рычаги власти. Плюс почти все информационное поле огромной страны, университеты, государственные школы, Голливуд. Воинственность их риторики достигла опасного уровня: на несогласных с их идеями навешан ярлык внутренних террористов, подобных бандитам Аль-Каиды и ИГИЛа. Для защиты от которых они превратили Капитолийский холм в подобие осаждённой крепости, которая охраняется тысячами национальных гвардейцев.

Пассионарность наших «прогрессистов» всё больше смахивает на маниакальность. Они не остановятся. Одна надежда, что двигаться они будут, как оруджавский шарманщик. Еле-еле, вершок за пять минут. А лучше бы — ещё медленнее. Притормозите, господа! Проверьте ваши навигационные карты! Пока ещё не слишком поздно.

НЕ ПРОЙДЕНА ЛИ ТОЧКА НЕВОЗВРАТА?

Пришло письмо от московского друга:

«Добрый день, Володя!

Прочитал твой «Пир победителей».¹ Всё это грустно, но мне со стороны кажется, что всё перемелется, и мука будет. Помнится, по поводу высказываний одного профессора я говорил в твоей передаче [по «Голосу Америки»] лет 15 назад, что у вас там изначально заложена система сдержек и противовесов, и всё так или иначе приходит в равновесие.

Так что все образуется. В отличие... Но об этом не будем, здесь всё ясно. С.»

«Всё перемелется и всё образуется». «Это всё пена, сойдёт», — прочитал я в следующем письме от того же корреспондента. Мне шлют эти, отдающие валерианкой, успокоительные сентенции друзья и знакомые, живущие по обе стороны Атлантики и полагающие, что я слишком остро реагирую на происходящие в Америке причудливые перемены и вводящие в ступор перекосы. Эта страна представляется им чем-то вроде гигантского Ваньки-встаньки. Уж как её шатало и трясло: войны, Великая Депрессия, экономические кризисы, убийства президентов, массовые протесты и беспорядки. И ничего. Выпрямлялась и крепла. Стала самой мощной державой мира и бастионом Западной цивилизации. Америка непотопляема. Она выстоит под любыми ветрами и штормами, потому как отцы-основатели заложили в её конструкцию мощные защитные механизмы, главный и надёжнейший из которых — сдержки и противовесы, регулирующие разделение властей — законодательной, исполнительной и судебной. Так что спи спокойно, дорогой товарищ!

Нет, друзья, не получается по-вашему. Спится мне нынче ещё хуже. А почему? Из-за чрезмерного моего любопытства. Дай-ка, думаю, обращусь за разъяснениями к одному из отцов-основателей, автору Декларации Независимости, государственному секретарю молодой республики, её первому вице-президенту и третьему президенту. Да,

¹ см. <https://club.berkovich-zametki.com/?p=60342>

да, к самому Томасу Джефферсону. «Что вы думаете, сэр, — спросил я его, — о роли государственного устройства в обеспечении устойчивости нации и её процветания? Ведь вы — один из главных изобретателей этого чуда: американской модели управления, состоящей из трёх независимых, но успешно взаимодействующих между собой ветвей власти. Так вот: ваша модель — панацея от всех возможных бед и проблем? Единственная гарантия сохранения американских свобод? Или есть ещё и другие факторы, необходимые для выживания свободной и процветающей республики?»

Ответ на мои вопросы нашёлся в письме сэра Томаса второму президенту Америки, Джону Адамсу, написанному в 1819 году. В нём Джефферсон делится впечатлениями о только что прочитанных письмах Цицерона: «Они определённо дышат чистейшими излияниями возвышенного патриота», — пишет 76-летний автор письма. И продолжает: «Однако, когда энтузиазм, разожжённый пером и принципами Цицерона, сменяется холодным размышлением, я спрашиваю себя, что это было за правительство, которое добродетельный Цицерон с таким рвением пытался восстановить, а Цезарь стремился ниспровергнуть?» Читая далее, мы узнаём, что у «добродетельного Цицерона» не было никаких шансов спасти республику от превращения в деспотию. Почему? Потому что его высокие достоинства напрочь отсутствовали у его народа:

«Если бы их народ действительно был, как и наш, просвещённым, миролюбивым и по-настоящему свободным, ответ был бы очевиден. (Далее автор письма перечисляет меры, которые следовало бы предпринять римским республиканцам, располагай они добродетельным народом). Но имея народ, погрязший в коррупции, пороке и продажности, что могли бы сделать даже Цицерон, Катон, Брут?.. Ни одно правительство не может продолжать делать добро, если не находится под контролем народа; а их народ был настолько деморализован и развращён, что не мог осуществлять полноценный контроль».

Что следует из этих размышлений-рассуждений Джефферсона? Что разумное управление страной возможно лишь при наличии разумных людей, населяющих эту страну. И что система сдержек и противовесов, обеспечивающая плодотворное сосуществование-

сотрудничество трёх ветвей власти, работает только в здоровом обществе, состоящем из образованных граждан, понимающих ценность гарантированных конституцией свобод и руководствующихся здравым смыслом. Есть ли такие люди в сегодняшней Америке? Есть. И их достаточно много. Но они стали персонажами второго плана, отодвинулись вглубь сцены. Тон задают люди иного покроя и склада. Инициатива сегодня у тех, для кого их убогая и нелепая идеология гораздо важнее здравого смысла и накопленного человечеством опыта.

Они называют себя «прогрессистами» и «проснувшимися» (woke). Очень правильно спросил однажды Наум Коржавин в своей «Балладе об историческом недосыпе»: «Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребёнок спит?» наших радетелей сомнительного прогресса разбудило протестное молодёжное движение 1960–70 годов, а воспитывали их наши университеты, увлечённые идеями неомарксизма, привезённого в Америку философами Франкфуртской школы, которые бежали от нацистской несвободы, чтобы проповедовать в Америке несвободу иного типа. Ту, которая поможет избавиться от капиталистической эксплуатации и от угнетения белыми расистами и сексистами цветных и сексуальных меньшинств.

Главная цель сегодняшних прогрессистов, поддерживаемых подавляющим большинством СМИ, социальными сетями, университетами, Голливудом, — установление полного, тотального равенства. Их абсолютно не устраивает принцип равноправия, провозглашённый отцами-основателями в Декларации независимости. Им мало equality. Они требуют немедленного введения другого принципа — equity. Справедливость, понимаемая ими как равноценность всех людей безотносительно к их личным качествам, знаниям и навыкам — вот их идеал. Это означает, в частности, что при приёме на работу главным критерием должен быть не профессионализм кандидата, а цвет его кожи или сексуальная ориентация. Ибо цель «прогрессивной» кадровой политики — обеспечить расовое и гендерное разнообразие персонала и свести на нет «белое доминирование». Это относится к любым профессиям, о чём я узнал недавно из телеинтервью с влиятельной демократкой, которая на вопрос журналиста о том, как, по какому принципу, следует отбирать претендентов на должность пилота гражданской авиации, ответила: «Конечно, очень важен уровень владения профессией. Но ещё важнее — справедливый уровень расового и этнического разнообразия».

Перестанем ахать от удивления и заламывать руки от возмущения. Попытаемся понять природу этой напасти, обрушившейся на нашу страну и грозящей изменить её до неузнаваемости. Присмотримся к вырвавшейся вперёд половине Америки и прислушаемся к её риторике. Что означает провозглашённая левыми концепция «cancel culture»? На русский она переводится как «культура отмены». Однако, если присмотреться к тому, как осуществляется реализация этого лозунга, напрашивается другой вариант перевода: «отмена культуры».

В самом деле: с пьедесталов сшибаются памятники, запрещаются «расистские» книги, фильмы, музыкальные произведения (пример — запрет на исполнение двух пьес Клода Дебюсси в музыкальной школе Нью-Йорка: в них использованы негритянские сюжеты и ритмы). Объявлено табу на шесть книг знаменитого на весь мир детского писателя доктора Сьюза. Он, как и Мартин Лютер Кинг, был «расовым дальтони́ком», color blind. Личные качества каждого отдельного человека были для них важнее цвета их кожи. Куда там! Ни к чему нам дальтонизм! Новоявленные идеологические комиссары заменили Кинга Оруэллом: все расы равны, но некоторые — равнее! Попробуйте вслух сказать: «Все жизни важны!» Вас тут же запишут в расисты.

Что ещё? Отменяется школьный учебник истории Америки, базирующийся на реальных фактах, и заменяется «Проектом 1619» — злой карикатурой на подлинную историю страны. Отменяется биология: отныне пол человека определяется не его биологическими признаками, а его, человека, субъективным выбором. Мужчине, объявившему себя женщиной, разрешается соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике. А также переселиться из мужской тюрьмы в женскую. И так далее в том же абсурдистском духе. На наших глазах происходит причудливая деформация американской культуры, ведущая к её обеднению и упрощению. Она становится одномерной и примитивной. Её навязывает обществу та его часть, которая не поднялась до высокой культуры, не понимает и побаивается её. Ниспровержение культуры помогает нашим доморощенным шариковым и швондерам самоутвердиться — и компенсировать свою заурядность чувством обрётённого контроля и власти. Серые начали, и они выигрывают. Обнаглевшая посредственность атакует фундаментальные американские ценности, перекраивает на свой лад науку, культуру, историю, мораль — и почти не встречает сопротивления.

Другая половина Америки, не заражённая левым радикализмом, стусевалась и притихла. Она, по словам писателя и публициста Денниса Прагера (я ссылаясь на него ранее в моём «Пире победителей»), боится высказывать своё мнение практически во всех университетах, киностудиях и крупных корпорациях... Людей подвергают социальному остракизму, публично стыдят и увольняют за то, что они расходятся с Black Lives Matter (BLM), группой, ненавидящей Америку и ненавидящей белых больше, чем кто-либо и когда-либо. И мало кто из американцев осмеливается высказаться против. К примеру, когда BLM требует, чтобы посетители ресторанов, сидящие за столиками на улице, подняли кулаки, чтобы продемонстрировать свою поддержку BLM, почти каждый посетитель сделает это... Будучи исследователем тоталитаризма с того времени, когда я учился в аспирантуре международных отношений Русского института Колумбийского университета, я всегда считал, что промыть мозги обществу можно только в условиях диктатуры. Я был неправ. Теперь я понимаю, что массовое «промывание мозгов» может иметь место в номинально свободном обществе.

Заметьте, дорогие мои оптимисты: речь идёт о промывании мозгов, совершаемом не тоталитарной властью, а гражданами пока ещё демократического общества. Одной его: половиной, которая шельмует и терроризирует другую половину, не встречая решительного противодействия. А теперь позвольте вас спросить: что может остановить эту разрушительную «культурную революцию» и спасти Америку от деградации и превращения в страну третьего мира? Промежуточные выборы 2022 года, если они обеспечат республиканское большинство в обеих палатах конгресса? Или президентские выборы 2024 года, если они вернут Белый Дом в руки республиканской администрации? Или заложенный в американскую модель хитроумный механизм сдержек и противовесов? Что может умерить революционный пыл фанатиков примитивной идеологии и остановить производимую ими «фундаментальную трансформацию» Америки, которую провозгласил и начал 13 лет назад Барак Обама?

Обдумывая ответ, учтите, что эта идеология — марксизм, обильно приправленный расизмом — успела внедриться в ткань общества. Она всосалась в его плоть и кровь. Вспомним теперь, каким был народ, под контролем которого возникла и успешно работала новая система

власти, созданная сэром Томасом и его товарищами. Был он «просвещённым, миролюбивым и по-настоящему свободным». Можно ли, положа руку на сердце, сказать такое о сегодняшнем народе Америки? Или хотя бы о его большинстве?

Если, как пишет Деннис Прагер, во время пандемии десятки миллионов американцев с лёгкостью приняли иррациональные, неконституционные и беспрецедентные государственные ограничения их свобод, включая даже свободу зарабатывать на жизнь... То же самое можно сказать и о принятии большинством американцев безудержной цензуры в Твиттере и на всех других основных платформах социальных сетей. Даже врачи и другие учёные лишены свободы слова.

Куда девалось знаменитое американское свободолобие? И как его можно возродить? Кто сдует пену, кто соскребёт ядовитую накипь демагогии, лицемерия, интеллектуального убожества, нетерпимости и ненависти? Накипь, которая, подобно ржавчине, всё глубже просачивается в общественный организм? Власти это не под силу, будь она даже семи пядей во лбу. Где же выход, и есть ли он вообще — для Америки и для других Западных демократий, охваченных тем же синдромом, который философ Алан Блум определил как «закрытие разума». Он сделал это в книге, вышедшей в 1987 году и озаглавленной «Закрытие американского разума. Как высшее образование подвело демократию и обеднило души сегодняшних студентов». (*The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students*).

Снижение качества образования началось в университетах и продолжилось в школах, что убедительно продемонстрировала Сюзан Джакоби в книге «Эпоха американской неразумности». (*Susan Jacoby. The Age of American Unreason. 2008*). Оба бестселлера описывают и анализируют первую из роковых отмен, произведённых американскими левыми — адептами мультикультурализма и релятивизма: отмену классического канона в гуманитарном образовании, отказ от культуры, созданной «Мёртвыми Белыми Мужчинами». Книги наделали много шума, но деградация образования не только не прекратилась — она ускорила. А ведь тут-то и зарыта собака. Тут-то и кроется одна из главных причин наших теперешних бед. Когда нация перестаёт учить уму-разуму своё подрастающее поколение, она заболевает интеллектуальным иммунодефицитом и легко заражается лживыми

мифами и убогими идеологиями. На авансцену выходит и торжествует посредственность.

Так что, дорогие мои друзья-оптимисты, отсюда и надо бы начать возвращение Америки к самой себе, к её ценностям, её свободам и здравому смыслу: с глубокой реформы школьного и высшего образования. Если это будет сделано — всё со временем перемелется, и мука будет. Перемелется руками и волей поумневшего народа. Но кто возьмётся за такую реформу? У кого, у какой части общества достанет разума, мужества и сил, чтобы справиться с этой задачей?

У меня нет ответа на эти вопросы. Но есть другой вопрос: не ушёл ли поезд? Не пройдена ли точка невозврата?

ОБ АВТОРЕ

Владимир Фрумкин (р. в 1929 году) — известный музыковед, публицист, эссеист. Автор ряда книг.

В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов. В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Булата Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986).

Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт). С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в России вышла его книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин — постоянный автор журнала «Времена».

* * *

Когда кончаются дружбы, легко сыскать виноватых:
Обычно виновны оба, а можно сказать — никто.
Идут недоразумения, как лыжники в маскхалатах —
Возможно, поодиночке, а может быть — сразу сто.

Когда ломаются семьи без разлучников и разлучниц,
Легко обвинить болезни, безденежье, неуют.
И только злая надежда, как озверевший лучник,
Пускает острые стрелы, пока её не убьют.

Когда погибают страны и к власти приходит сволочь,
Легко распознать причину в беснующейся толпе.
А если страна орешек, который сколько ни колешь,
Он никогда не расколется — и дело здесь в скорлупе?

Это в чём-то подобно технической неполадке:
Случилось то, что случилось, ничего не попишешь тут...
Будто звонишь знакомым, говоришь: «У вас всё в порядке?» —
«Да,» — тебе отвечают. И ты понимаешь: врут.

(2015)

* * *

Вспомнился запах мастики.
Господи, как же я его ненавидел!
Входила в мои обязанности натирка полов в квартире.
Оказалось, я всё это помню: большую банку,
Липкую тряпочку, щётку с широкой ляжкой
Невыразимого цвета, соскальзывавшей с ноги,
Неприменно соскальзывавшей с ноги.
Барчук, белоручка — но вовсе не в этом дело! —
Я ненавидел дощатый пол, старавшийся быть паркетом,
Ненавидел презрением окопной правды к салонной прозе,
Неприятною простого репейника к чайной розе.

И ещё — несколько раз нам пришлось натирать пол в школе,
В актовом зале,
Там были щётки с чёрными лямками, которые не сползали,
Там был настоящий паркет,
Выщербленный, но честный.

И мастика почти без запаха,
Намного жиже той, которая дома.
Цвет её и консистенция делали неизбежной
Ассоциации с тем, что я мог бы назвать, но мне неохота
Пачкать стихотворение словом на букву «г»,
Именно так: неохота пачкать,
Хоть я совсем не эстет, ну — никаким боком.

Казалось бы, давно распрощался я с этим со всем —
И с богом:
Живу себе дальше,
Живу, а не доживаю.
Осторожен с воспоминаниями:
Не форсирую, не пережимаю,
Даже стараюсь обуздывать, но когда накатит,
Трудно сказать себе самому: довольно, хватит.

Вспомнился запах мастики.
Вспомнилось само это слово,
Поменявшее смысл с годами.
Что быстрее меняется —
Язык или мы сами?

Старость — не радость, молодость — гадость,
Жребий — безликий.
Падать в грязь приятней, чем на пол,
Натёртый мастикой,
Особенно если падаешь, ещё не поверив в подножку.
Но об этом — точно не стоит. Хорошего понемножку.

(2020)

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Всё замечательно, только сознание втиснуто
В узкий футляр, словно сдутый матрац надувной.
Все сторонятся друг друга — и это естественно:
Слишком нас много гуляет по суше земной.

Страх перед тем, что невидимей тайной полиции,
Тем основательней, чем унижительней он.
Что миллион — в виде доли от всей популяции?
Да и, к тому же, ещё не вполне миллион.

Цифры давно превратились в абстрактные символы
И ничего уже более не говорят.
Всё наше братство едва ль заслужило осиновый
Кол: потому-то не все вымирают подряд.

Знание манит, но не так, как банальная выгода.
Дождь скоро кончится — верно, неполон ушат,
Тучки развеются, солнышко позднее выглянет
Перед закатом. И — славно. И легче дышать.

(2020)

* * *

Гансы, Рихарды и Вильгельмы
Вовсе не были дураками,
Каждый — сам по себе, отдельно —
Хорошо шевелил мозгами,
Был обучен письму и счёту,
Разбирался вполне в укладе,
Знал прекрасно свою работу
И с начальством неплохо ладил.

Карлы, Германы и Манфреды
Вовсе не были подлецами,
Все старались помочь соседям,
Все сводили концы с концами,
Избегая расходов лишних,
Совершали в субботу стирку,
И, получше одев детишек,
В воскресенье ходили в кирху.

Францы, Людвиги и Альберты
Были славные патриоты,
Крепко чтили Большую Берту,
Чтили — несколько меньше — Гёте,
Знали цену окопной дружбы,
Дисциплины и послушанья,
И считали, что то, что нужно,
Нужно делать без колебанья.

Хорсты, Герхарды и Бертольды
Не казались какой-то кликой,
Все мечтали о славе гордой,
Все желали страны великой,
Все мечтали о древней правде,
Все желали исконной силы —
Как сегодня желают явно
Джоны, Джорджи, Сэмы и Филы.

(2020)

КАССАНДРА

На рыночной площади, возле казармы,
Где к битвам героев готовят опять,
Весь день непрерывно вещает Кассандра.
(А голос, о боги, ну только вещать!)

Какое царит оживленье в Пергаме!
Герои, смеясь, заступают в наряд,
Торгуют оливками и пирогами,
Философы спорят, поэты творят.

Торгуют рабами, зерном, овощами,
У винного ряда толпится народ.
Кассандра не пьёт, Кассандра вещает.
Кассандра вещает, Кассандра не пьёт.

С кровавой зари до немислимой ночи
Взывает и плачет она...
Работает рынок. Кассандра пророчит.
Уже неизбежна война.

Пергаму — погибнуть. Бессмертными, кстати,
Богами сие суждено.
Чего же вещать для не слышащих? Хватит! —
Чуток поживи... Не дано.

(1974, 2020)

* * *

Пусть лучше он меня переживёт
И злится, мучается, выбирает:
Пойти на похороны или нет?
Ведь не пойти — нелепо: как-никак
Мы были с ним старинными друзьями,
Но и явиться... после стольких лет? —
Абсурд и с лицемерием граничит.

А если я его переживу,
Монетку брошу, чтоб орёл и решка
Решали сами, делая мой выбор
Между плохим и худшим.

Ночь — такая,
Что жалко оторвать глаза от неба,
Где облака — ну прямо ткань в горошек.
Они, хотя безветрие внизу,
Летят легко и быстро, словно юбка
У женщины танцующей. Луна
Блестит подобно лампочке за тюлем.
К тому же — полнолуние. Светло.
Такая бесплатно развлекуха.

Нет, пусть уж он меня переживёт,
Поскольку, как ни ляг монетка, духу
Не хватит мне пойти. А он придёт.

(2020)

* * *

Ты не можешь влиять на цунами,
Что накроет тебя с головой,
Лучше пользуйся мирными снами,
Забавляйся, покуда живой —

Покупай семена и рассаду,
Ешь бананы, купайся в пруду.
Когда рай приближается к аду,
В нём бывает страшней, чем в аду.

Ключ пропал, позабылася кличка,
С новым кодексом ты не знаком,
И утрачена напрочь привычка
По угольям ходить босиком,

Да и лёд — холодней, чем когда-то,
Да и пьявки больше сосут...
Так что думать об этом — растрата
Драгоценных, быть может, минут.

Если страшно тебе временами,
Сам себе расскажи анекдот.
А цунами — на то и цунами,
Что никто от него не уйдёт.

(2020)

* * *

Я исхожу из правды жёлтых листьев
Из их неоспоримой правоты.
Здесь начерно намечены кулисы,
А задники ненужные сняты.
Софитов нет. На полутёмной сцене
Актёры полусонные бубнят
Бессмысленные реплики о ценах
И целятся друг в друга невпопад.
Помреж от скуки ёжится на стуле
И сам себе бормочет: «Не ворчи!».
И только две берёзки-актрисули —
Кровь с молоком — свежи и горячи.
Блаженную банальность репетиций
Я с молодостью путаю порой,
Презрительно-надменным, как патриций,
Не я там был, а некто, мой герой.
На берег Камы, на высокий берег
С берёзками ходил он на закат,
Небрежно обнимая их обеих,
Он их обеих заставлял вздыхать.
Он не был никогда угрюм и скован,
Развязен — тоже, разве что слегка.
В любом театре есть свои законы
И он усвоил их наверняка.
Ни брань, ни спесь на вороту не висли,
Он не бранил — журил: «Дурак же ты!»
Мы лишь входили в пору жёлтых листьев
И их необратимой правоты.

(2020)

* * *

Я знаю точно: солнце скоро сядет,
Попрячется стрекоз кордебалет,
Сатир за речкой дудочку наладит:
Мир предсказуем. Но другого нет.
И следует смотреть не слишком строго
На этот долго длящийся пикник,
Где ангелы, не верящие в Бога,
Оберегают мыслящий тростник.

(2020)

ОБ АВТОРЕ

Леопольд Эпштейн (1949, Винница) — американский русскоязычный поэт и переводчик. Окончил механико-математический факультет МГУ. Начал писать стихи с 1962 года. Эпизодически печатался в СССР (журнал «Дон», альманах «Поэзия»), однажды опубликовался в журнале «Континент» (1983).

С 1987 года живёт в США, работал программистом в Бостоне.

Автор пяти книг стихов. Публиковался в антологии «Освобождённый Улисс», журнале «Время и мы» и др. Переводил поэзию с английского (Шекспир, Байрон, Китс, Джойс), грузинского, китайского языков. Леопольд Эпштейн — мастер философско-психологической лирики. По оценкам критики, «Леопольд Эпштейн — поэт горький, пессимистический и одновременно мужественный и дающий надежду».

Максим Д. ШРАЕР

КОЗЬЕ МОЛОКО И МРАМОРНЫЕ ЛЬВЫ

ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО РОМАНА

Однажды в середине 2000-х годов мне приснился двойной сон, в котором отец учил меня сочинять стихи и ловить рыбу. Хотя сон был о моём детстве в России, мы говорили по-английски. Это было в Честнат-Хилле, западном пригороде Бостона, в том гиа-цинтовом викторианском особняке, где мы с Кэрен прожили с 2001-го по 2011-й, где родились Мируша и Танюша. Я не запомнил, в каком именно году приснился мне этот сон, но знаю, что это было ещё до рождения нашей старшей дочери.

Во сне я вижу себя второклассником-восьмилеткой; мы с отцом сидим у него в кабинете за журнальным столиком, похожим на аэроплан времён Империалистической войны. Перед нами карандаши и стопка бумаги. Отец показывает мне классические размеры, с лёгкостью импровизируя стихи. Словно фокусник, он без малейшего усилия превращает обыденные, знакомые вещи в волшебные строчки. В дело идёт всё, что окружает нас в комнате и что нам видно из окна, — троллейбус, больничный корпус, канализационные люки, скворцы на проводах. С четырехстопным ямбом просто, он так послушен и податлив, как глину мнёшь его в руках, — и строчки прячутся в рукав. «А теперь хорей попробуй», — говорит отец, но мне-то слышится совсем другое: «Пробуй шоколадный трюфель», как попробуешь, навеки не забудешь этот запах, этот терпкий вкус стиха... Я беру строку хорей, подношу к губам, и правда — это мёд, сладчайший мёд. «А теперь, сынок, рифмуем, — говорит отец, — рисуем звуки на песке страниц. Рифма — это мера стиля, но не умничай, рифмуя, и не забывай, сынуля, что стихи — не модный дом. Лучше слыть простонародным, чем затасканным и модным». Я оставлен в кабинете рифмовать

стихи о лете: «На рыбалку мы с отцом...» Я пишу стихи и слышу, как отец на кухне варит в джезве кофе по-турецки, маме что-то говорит. Я дрожу от возбуждения, но уже тускнеют краски. Сумерки, зима, Москва...

А мы тем временем переносимся в Эстонию. Мы с отцом рыбачим на нашей речке. Когда подъезжаешь по шоссе, наша речка блестит и вьётся, как мокрый уж, а потом падает с крутого обрыва и бесследно исчезает. Мы годами приезжаем сюда порыбачить из курортного города Пярну, где обычно отдыхаем летом, — когда месяц, когда два. Мы оставляем машину на высоком берегу и спускаемся к воде. Пахнет свежим сеном, и стога стоят, словно стражи, охраняющие наш покой. Мы всегда удачливы здесь, на нашей речке. Вокруг ни души, только сдвоенные стога сена, отражающиеся в речной глади. В ведре уже полно рыбы — традиционный набор средневропейской речной живности: подлещики, плотва, лини, караси. Я верчу ведро, разглядываю улов и уже предвкушаю ужин — мама обвалывает рыбу в муке и зажарит на сковородке в шипящем подсолнечном масле. Вдруг начинается июльская гроза. Мы бросаем удочки и укрываемся под ближайшим стогом. Это не стог, а скорее шалаш, в котором во время покоса отдыхают эстонцы-работники. Внутри пахнет прелым сеном, осенью, скорым возвращением в Москву, — лету конец, конец чуду. Дождь прошёл, мы вылезаем из-под навеса-шалаша, возвращаемся к нашим вымокшим под дождём снастям, насаживаем свежих червей, забрасываем удочки.

С ликующим победным криком отец вытаскивает какую-то здоровенную золотую рыбу — такая большая нам ещё никогда не попадалась. Это не просто карп, а какая-то неведомая нам редкая разновидность. Золотые, безупречно ровные чешуйки сверкают в лучах заходящего солнца тем же блеском, каким блестят мамино обручальное кольцо, луковки церковных куполов, сотни тысяч золотых зубов, вырванных изо ртов убитых евреев. У золотой рыбины серые печальные глаза, которые прячутся за стёклами очков в массивной роговой оправе. Рыбина смотрит на нас пристально, не отрывая глаз. У неё породистый нос с горбинкой. Отец снимает рыбину с крючка и держит её на открытой ладони левой руки. Рыбьи губы, такие тонкие и бескровные, начинают шевелиться и с бульканьем извергают слова на каком-то гортанном языке. У отца дрожат руки, он выпускает удочку из правой руки и держит рыбу уже двумя руками, сложив ладони, как

чашу. «Мы должны её отпустить, сынуля, — говорит отец. — Это ведь последняя из тех, кто уцелел».

* * *

Я родился 5 июня 1967 года, и первым порывом отца было назвать меня «Израиль» — в честь победы Израиля над Египтом, Иорданией и Сирией в Шестидневной войне. Но такое имя неминуемо превратило бы меня в ещё более уязвимую мишень для антисемитских нападок, так что взамен выбрали имя «Максим». В середине 1960-х годов это имя, похоже, было в моде, судя по тому, скольких ровесников-тезок мне довелось повстречать впоследствии. Среди них и мой московский друг Максим (Макс) Муссель. Свою роль в выборе имени сыграл и мой вес: я весил больше 4-х килограммов, и роды дались маме тяжело.

Я появился на свет в суматошной маминой Москве. Родись я не в Москве, а в суровом отцовском Ленинграде, многое сложилось бы иначе. В 1962, когда мои родители познакомились, отец работал над кандидатской диссертацией по микробиологии в ленинградском Институте туберкулёза и одновременно писал и переводил стихи, а также пробовал свои силы в прозе. Он разрывался между двумя призваниями, двумя поприщами. Писатель-врач — похоже, что в России этот союз встречается особенно часто. Чехов, Булгаков, Вересаев, Аксёнов. В англо-американской культуре, конечно, тоже попадают писатели, принёсшие клятву Гиппократу, — Уильям Сомерсет Моэм или Уильям Карлос Уильямс. И тем не менее, в сознании многих россиян двуединство литературы и медицины укоренилось не как сочетание двух профессий, а как двойная любовь, брачный союз, судьба. «Медицина — моя законная жена, — говаривал Чехов, — а литература — любовница». Мой отец держится того мнения, что литература и медицина органически связаны своими задачами и методами. Окружающие люди для него одновременно объекты медицинского наблюдения и предметы писательского воображения.

Мои родители поженились в 1962 году и после этого два года прожили в Ленинграде. Мама перевелась из Московского института иностранных языков на филфак ЛГУ и работала на полставки в научной лингвистической лаборатории. После пёстрой карусели московской жизни сырые ледяные ленинградские зимы и атмосфера музейности не пришлись маме по вкусу. Не по нраву ей было и то, что, живя в Питере, она то и дело наталкивалась на следы былой холостяцкой

жизни отца. Ленинград был для неё чужим, неуютным; её тянуло домой, в Москву. Как и многие ленинградцы его поколения, вступившие в литературу во время «хрущёвской оттепели», мой отец считал Москву городом гораздо больших возможностей, да и обстановка там была в те годы более либеральной, чем в Ленинграде. В Москве открывались новые горизонты, и отец решился на переезд, тем более что к 1964 году он уже успел закончить экспериментальную часть диссертации. Мама перевелась обратно в Ин-Яз; родители бросили ленинградское жильё и перебрались в советскую столицу. Они поселились в коммунальной квартире в огромном старом доме на Маяковке, с окнами на Садовое кольцо, где, как известно, движение такое большое, что гул по ночам не утихает, а превращается в бередящий шум.

В Москве родители прожили вплоть до самой эмиграции в 1987 году. Москвич по рождению и воспитанию, я люблю избыточность и абсурдность в искусстве, а порой и в живой жизни. Но по корням своим я ленинградец-петербуржец, и поэтому не могу существовать без определённой степени порядка и стройности; сама природа требует ежедневной дозы классической красоты. Дитя Москвы с невской кровью в жилах, искатель меры абсурда, — вот как я описал бы самого себя. Уже в студенческие годы я по-настоящему открыл для себя и научился любить родной город отца, архитектурный парадиз, где всё — чопорность его жителей, гомеровская неспешность существования, былая слава, обилие повсеместных мемориальных табличек — передаёт чужакам ощущение их собственного несовершенства.

Отец ценил Москву за всё, что она могла предложить пришельцам из других миров, — масштабность, открытость, разнообразие «нравов и народов» — всё то, чего его родному городу, высокомерному и внутренне неуверенному в себе, недоставало изначально (и стало ещё больше недоставать в 1918-м, когда после заключения Брест-Литовского мира Ленин обезглавил Питер и перенёс столицу обратно в Москву). Но при этом отец ни на минуту не перестал любить Ленинград, тосковал по родному городу. Однажды, когда мне было лет пятнадцать, в 1982-м или в 1983-м, мы с родителями заехали в Ленинград по дороге в Пярну. Продолав путь в семьсот километров на северо-запад от Москвы — по меркам тогдашних автомобилистов солидное расстояние, — мы к вечеру достигли чертогов Ленинграда.

Отец, который из-за сильной близорукости всегда особенно осторожен за рулём, вёл машину совсем не так, как обычно. Мы скользили по городу, сворачивали не притормаживая, пролетали перекрёстки без остановок на светофорах. То ли отец нарушал правила, то ли ему просто везло и мы всё время ехали на зелёный свет. Был разгар белых ночей; закатное солнце сверкало в кружеве мостов, полыхало в реках и каналах. «Можно поехать вот сюда, — шептал отец, поворачивая руль влево, — а можно вон туда, направо. Это такой необыкновенный город». Отец разговаривал сам с собой, с мамой, со мной, с нашим белым жигуленком, а мы всё скользили, плыли по городу. Ленинград в сознании отца существовал как некий универсум, а вот Москва, где он к тому времени прожил почти двадцать лет, так и не стала для него вселенной. Всю дорогу, пока мы пересекали город, направляясь на Выборгскую сторону, где отец родился и вырос, на губах его играла блаженная улыбка. Белая ночь влекла его по набережным былого. Эта поездка по городу запомнилась мне как нечто совершенно завораживающее, и даже нахрапистый гаишник, который остановил нас из-за какого-то ничтожного нарушения, не смог испортить отцу удовольствие от возвращения домой в Ленинград.

* * *

Теперь такое редко говорят без доли иронии или сарказма, но вот, извольте, господа фрейдисты: у меня было счастливое детство. Меня любили, поощряли, поддерживали во всём, кроме жестокости, обмана и приспособленчества. В кадрах самых счастливых воспоминаний о детстве я неизменно оказываюсь рядом с родителями. Вот мы с мамой сидим у меня в комнате на травянисто-зелёном диванчике. Мы занимаемся английским. Мне шесть лет, в первый класс я пойду только осенью, а сейчас весна. Я учусь произносить слово *hedgehog* (ёжик), и мы с мамой покатываемся со смеху. «*Is this a cat?*» — спрашивает мама, показывая мне картинку с игольчатым зверьком, ушастым и остроносым. «*No tommy, —* отвечаю я по-английски. — *This is a hedgehog. A hedgehog.*». Именно благодаря маме, филологу и переводчику, английский на всю жизнь стал для меня захватывающим приключением. Именно мама первой показала мне, как играть с английскими словами, которые она сама обожала. Иногда мне кажется, что приобретённый от матери английский — это именно её язык, а русский — язык моего отца и его уроков стихосложения.

Летом 1969 года, когда мне исполнилось два года, родители сняли полдома в деревне Михалково, километрах в десяти к западу от Москвы. Когда-то это были княжеские владения, сначала рода Голицыных, а потом Юсуповых. Юсуповы и основали здесь богатое имение Архангельское. Помещичий дом уцелел в пожарах революции и Гражданской войны. Из дачно-деревенской жизни я помню резную веранду, выкрашенную в коричневое и зелёное, деревянное крылечко, на котором мамой любили сидеть и дожидаться приезда отца из города. Мамины светлые волосы убраны назад и повязаны квадратной косынкой, сложенной вдвое. У меня на голове — фламандский серый берет, который мне определённо велик. Помню косматого чёрного пса, которого я называл «Дик-Дикуша»; пёс рвался на ржавой цепи. Помню деревенскую молочницу, с виду сущую матрёшку, у которой мы покупали парное козье молоко. По пути на автобусную остановку, обозначенную выбеленным извёсткой дорожным столбом, мы пересекали цветущее картофельное поле. Мы встречали отца, и вот он наконец выпрыгивал из переполненного автобуса, держа в руках авоськи с продуктами. Помню ещё расцвеченную солнцем косулю, застывшую на лесной прогалине. Там, в утреннем лесу, в траве, сверкающей каплями росы, мы с мамой собирали скользкие молодые маслята, нежнейшие из лесных грибов.

Мы с мамой идём по заросшему английскому парку в Архангельском. Главная аллея, прямая как стрела, усыпана красным гравием; если тут споткнёшься и упадёшь, то не просто до крови раздерёшь ладони и колени, но ещё и измажешься. Мы выходим на лужайку перед барским домом. Слоновьи ноги колонн, изумрудно-зеленые водосточные трубы, высокие застеклённые двери. На крыльце, по обе стороны от ступеней, лежат мои любимые каменные львы. Мои львы охраняют вход.

— Мамочка, смотри, смотри! — и я со всех ног бегу вперёд, чтобы обнять и погладить мраморных друзей.

Львы всё ближе, они смотрят мне прямо в глаза, но вовсе не скалят клыки, а улыбаются мне, вытянув перед собой тяжёлые лапы, совсем нестрашные. Я взбегаю по массивным ступеням и бросаюсь к правому льву — скорее, скорее погладить его шею и морду, потом перебегаю к левому льву и кладу ему руку под подбородок. Привстав на цыпочки, я дотягиваюсь до кончиков львиных ушей, мрамор холодит мне пальцы, но до макушки, до самого верха пышной львиной гривы, мне не достать.

— Мама, пойдём! — говорю я, и она спешит ко мне по красной гравиевой дорожке. На ней сарафан салатového цвета и кеды.

— Ну и как дела сегодня у наших львов? — спрашивает мама.

Теперь я могу вскарабкаться им на спину — одному мне не разрешается. Мама прислоняется к белой облупленной колонне, развязывает косынку и распускает позолоченные солнцем волосы. В этот ранний час на музейном крыльце больше ни души. Мама целует меня, шепчет что-то ласковое, и львы мурлычут от удовольствия, словно котятa, кивая каждому её слову.

В детстве мама была для меня идеалом радостной красоты. Как я обожал её смеющиеся глаза, её причёски, одежду, походку, её духи. Она привила мне зачатки вкуса. Мама стала самым первым источником моих представлений обо всём том, что именовалось «западной культурой». Именно она приобщила меня не только к западным литературе и искусству, но и к тому, что в брежневские годы считалось «западным» образом жизни. Мама рассказывала мне об улицах и достопримечательностях Лондона (куда её, еврейку, наотрез не пускали на стажировку), о соборе Св. Павла или Трафальгарской площади, — рассказывала так, будто прожила в Лондоне всю жизнь. Моё детство прошло под знаком маминых рассказов о «Западе». О Нью-Йорке и Сан-Франциско. О Голливуде. О Фрэнке Синатре и Элле Фитцджеральд. Она рассказывала мне обо всём — о моде, о музыке, о танцах. Мама преподавала по утрам и ко второй половине дня обычно бывала дома. Помню, как-то раз зимой, в третьем или четвёртом классе, я пришёл домой из школы, мама поставила пластинку и мы пустились в пляс. Танцевали мы под одну из драгоценных американских пластинок с рок-н-роллом. Вторя маминым движениям, я крутился посреди комнаты под звуки «The Night Chicago Died» — на конверте пластинки длинноволосые рок-музыканты с гвоздиками в лацканах пиджаков и с автоматами в руках.

Лето 1969 года стало нашим последним дачным летом. Своей дачи у нас никогда не было. Папа с мамой не стремились обзавестись своим собственным клочком земли, лачугой с проржавелой рифлёной крышей, кустами крыжовника. Их меньше всего привлекал летний отпуск в дачном посёлке, разбитом на одинаковые участки в «шесть соток» с пыльными коттеджиками и огородиками. После кончины моего ленинградского деда Петра (Пейсаха) Шраера его просторный, ещё до революционной постройки, дачный дом в Белоострове, где я провёл

почти всё лето 1968-го, отошёл к его третьей жене, и больше мы туда не ездили. Отцу в наследство досталась половина мышино-серенького 403-го «Москвича» и фамильные золотые швейцарские часы. А также ироническое отношение к истории и любовь к живописи.

Во многих кадрах детства я брожу по музеям и выставочным залам в обществе родителей. Особенно часто я вижу себя в залах импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея. Некоторые полотна из богатейшего музейного собрания я помню лет с шести-семи, когда впервые их увидел. Яркие пасторали Пьера Боннара, лето, осень, стога, коровы, молоденькие селянки; портрет Жанны Самари кисти Ренуара: бутылочно-зелёное платье, рыжеватые волосы, земляничный фон. Помню, как я мальчиком замер перед сезанновскими «Пьеро и Арлекином», заворожённо слушая, как отец импровизирует рассказ о безответной любви, ревности и гордыне. Через несколько залов концовка рассказа является мне на картине Пикассо «Арлекин и его подружка», где перед бродячими лицедеями стоят два разномастных стакана с выпивкой. А вот и моя самая любимая картина той поры. Я вижу её ещё из соседнего зала, через дверной проём. Пикассовская серебристо-голубая девочка балансирует на шаре, а перед ней на кубе сидит сепиево-стальной африканец — великолепно очерченная мускулатура и грация титана.

Уверен, что именно так, во время походов с отцом в музеи, постепенно, словно из мягкой глины, лепились мои представления о форме. Представьте мокрую, пастельно-размытую толпу на «Бульваре Капуцинок» Моне или же гипнотический круговорот матиссовских голодных золотых рыбок, которые мечутся по комнате, заставленной цветами. Или вообразите диковинные джунгли Анри Руссо, гигантских кузнечиков, ягуаров, впившихся клыками в лошадь. Эти картины дарили мне ощущение какого-то нездешнего совершенства, переносили в другое, несоветское измерение, где действовали иные меры истинности и красоты. Никогда не забуду, как отец впервые подвёл меня к картине Руссо «Поэт и его муза». На холсте был изображён мужчина средних лет с каким-то свитком в левой руке и гусиным пером в правой. Справа от него стояла женщина в венке из чёрных цветов и в сиреневом платье-пеплуме до пят. Правая рука музы указывает в небеса, на вершину Парнаса.левой рукой она полуобнимает поэта, взгляд которого сосредоточен на чем-то далёком, находящемся за пределами картины. «Вот это мы с мамочкой», — объяснил отец.

Среди этих волшебных картин, в их воображаемых мирах моё детство длилось бы вечно. Но в реальной жизни детство закончилось, когда мы стали отказниками. Мечтательный мальчик из отказнической семьи, я в одиночестве бродил по залам Пушкинского музея, навещая излюбленные полотна, к которым меня когда-то привёл отец. Теперь я выделял другие картины тех же художников. Помню, это было примерно в седьмом классе, я лишь скользнул безразличным взглядом по «Красным виноградникам в Арле», перед которыми раньше благоговел, но замер перед другой картиной Ван Гога: «Прогулка заключённых». К тому времени мы уже сидели «в отказе» больше двух лет. Я невольно отождествлял нашу жизнь с этими понурыми заключёнными, которые наматывали бесконечные круги по тёмному тюремному дворику. Да, это были мы, еврей-отказники. И даже «Девочка на шаре» Пикассо утратила свою гипнотическую власть надо мной; теперь меня притягивало другое полотно — «Старый еврей и мальчик». Я подолгу всматривался в эту картину, узнавая отца и самого себя.

Перевод с английского Веры Полищук и автора

ОБ АВТОРЕ

Максим Д. Шраер (*Maxim D. Shrayer*) родился в 1967 году в Москве. Эмигрировал в США в 1987 году. Профессор в Бостонском колледже.

Он поэт, прозаик, литературовед, переводчик, автор более 15 книг на английском и русском языках, среди которых «В ожидании Америки», «Бунин и Набоков. История соперничества», «Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы».

Сергей ХАЗАНОВ
ИЗБРАННОЕ

НЕЗАВЕЩНОЕ

Спасибо, жизнь, за всё, за эту старость,
Где книги, звёзды и заросший сад,
И память обо всём, что мне осталось —
Январский зной, июльский снегопад.

За завтра, где смышлён, хотя и молод,
И дням счастливым не видать конца,
И дети юны и послушны снова,
Внимая знаку каждому отца.

За прошлое поклон, за эту милость
Слова ценить не меньше, чем дела.
За ту любовь, что, к счастью, не случилась,
За ту, что прямо к счастью привела.

За радость, что с бедой делила ложе,
За строки, что витали между строк,
За лишний день, что всех былых дороже,
Фортуною подкинут на порог.

За миг, что растянулся на два века,
За лжи бальзам и откровений яд,
Там явь как сон. Там ночь, фонарь, аптека,
Там книги, звёзды и заросший сад.

Geneva, 2018

КАЗИНО

Полдня ушло, как будто бы пол-жизни,
Как полтысячелетия, в песок.
Их замыслам, делам, триумфам, тризнам,
Ни места не нашлось, не вышел срок.

По счастью, есть в запасе и другая
От жизни долька радостей и бед,
Куда б ни заносила нас лихая
Фортуна, обгоняя тьму и свет.

По счастью, есть чудесное мгновенье,
Чтоб камни разбросать, едва собрав,
Сбивать мозоли, наслаждаться ленью,
И сомневаться, если трижды прав.

И разойдясь, судьбу пустить на ветер,
И выстоять в жестоковыйный час,
Когда одним щелчком взрослеют дети,
Чтоб дальше полететь уже без нас.

А нам вступать в итоговую фазу,
Где снится на покое вечный бой,
И счастье, по философов наказу,
Хотя б немного разбавлять бедой.

И падать, и вставать, смеясь и плача,
И дальше жить, ладонь храня на лбу,
Как в казино, где каждый неудачник
Переломить надеется судьбу.

Geneva, 2019

ОТВЕТ

Пусть грехи и заслуги отпущены,
От ответа никак не уйти
За забытое напрочь грядущее,
За былое, что ждёт впереди.

За упущенные столетия,
Не потраченные долги,
И что мимо прошёл, не заметив
Я протянутой с неба руки.

Отвечать мне по форме и сущности
За намеренья и за дела,
За возможности что упущены,
И за те, что судьба отвела.

Что на вкус, раз не вышло по совести
Фантазировал, действовал, жил,
И влюблялся совсем не в достоинства,
И порок осуждать не спешил.

Не шпаргалкой ведам, а наитием,
Я по полной отвечу шкале
За мучительный мой, вопросительный,
Восклицательный след на Земле.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Внезапно всего свело —
Ни двинуться, ни вздохнуть.
Сознание утекло
Как из термометра ртуть.

И понял — последний миг,
Торопит Харон «Скорей!»,
Как твой рыжекудрый лик
Взошёл над судьбой моей.

Взошёл и развеял боль,
Дыхание возвратил,
И как из раствора соль
Я выпал обратно в мир.

Где радость глотал и пыль,
Свободен был и пленён,
Где сон, что трезвит как быль,
И быль, что пьянит как сон.

Где вышла моя пора,
Как недопечённый стих,
Где ты — моего ребра,
И я — веснушек твоих.

Geneva, 2020

ТАМ, ГДЕ

Трав изумруд между пиками снежными,
Где и не пахнет бедой,
Где я иду, окрылённый надеждою,
Глупый, смешной, молодой.

Где все проблемы решаемы вечные,
Радость гуляет в крови,
И только изредка шрамы сердечные
Ноют по первой любви.

Там, где учёба, семья, выживание,
Грёзы, что бьются о быт,
Смехом отчаянья, грустью познания
Время грозит и манит.

Где детский гам как от смерти оружие,
Счастья рулетка и рок,
От поцелуев их до равнодушия
Долог и короток срок.

Где через взлёты и тут же падения,
Коиx всегда без числа,
Сердца незрелость и тела дряхление,
Мудрость, что так не пришла.

Там, достиженья поверив утратами,
В кровь ободравши края,
В ложе прокрустово меж двумя датами
Жизнь уместилась моя.

Geneva, 2020

JUSTICE

Достойным людям в жизни не везёт.
Беда их не обходит стороною.
Помечены Фортуной роковою,
Или случайность — кто там разберёт.

К лицу ль несправедливость небесам?
Уже и Авраам Творца оспорил,
И Моисей свою оплакал долю —
Вести народ, куда не ступит сам.

Коперник, Галилей. Примеров тьма —
Добро и ум в загоне, зло в почёте,
И тонет в невезеньи как в болоте
Под вечное «Слова, слова, слова».

Ни здесь, ни там, ни прежде, ни потом
Ответа нет — ни в буре, ни в молчаньи,
Ни в том, как грусть рифмуется с познанием
И фатализм Данайцем входит в дом.

Всё к лучшему, как мир, который был
Подарен нам божественной заботой.
А что страдают вдовы и сироты —
Не нам судить, когда Творец решил.

Всё к лучшему — в подушку слёзы лить,
То сердцем, то горбом ища ответа.

Всё тот же сон — тоннель, бегущий к свету.
Что мы Гекубе? Ей не с нами жить.

Geneva, 2020

КОКОН

Вселенский опыт успешно учит,
Что по указке комфортней жить,
Что — прочь сомненья, и пусть не мучит
Сакральный выбор — быть иль не быть.

Виват, стабильность — ведь перемены
Всё усложняют, в конце концов.
Не биться зря головой о стену,
Не писать против семи ветров.

Чтоб неуклонно к сорокалетью
Перебесившись и свив гнездо,
Покой найти, что жар-птицей светит
В конце тоннеля моих годов.

И наслаждаться трудов плодами,
Живя, чтоб есть, или есть чтоб жить,
И лишь во снах, что длинней с годами,
Взлетать и падать, мечтать и быть.

И что ни день, суетной ли, судный,
Рассвет встречая, под душем петь.

Родиться гусеницей нетрудно,
Труднее бабочкой умереть.

Женева, декабрь 2020

ОБ АВТОРЕ

Сергей Хазанов — швейцарский литератор и учёный русского происхождения. Живёт в Женеве. Пишет стихи на русском и прозу на французском.

Более ста рассказов и стихотворений опубликовано в журналах «Дружба народов», «Юность», «Москва», «Огонёк», «Собеседник», «Время и Мы», газетах ЛГ, Лит. Россия, МК, Неделя.

Выпустил 7 книг прозы стихов, в частности,

Роман *LETTRES RUSSES* получил положительные рецензии и переводился на английский, немецкий и польский языки.

Печатает публицистику в журналах «Le Temps», «Passe-Muraille», «Наша Газета» и т.п.

Зоя ПОЛЕВАЯ

«В МОЙ КОСМОС ДОРОГА ОТКРЫТА...»

О ТВОРЧЕСТВЕ ГРИГОРИЯ ФАЛЬКОВИЧА

И наша любовь оживёт продолжением нас

Г. Фалькович

Поэзия — плод высшей любви. Земля и земное, Небо и небесное отражаются в ней как в зеркале. Избранные ею наделены способностью видеть зорче, слышать острее, чувствовать тоньше, понимать глубже. Поэта, который приглашает читателя в свой Космос и о котором пойдёт здесь речь, зовут Григорий Авраамович Фалькович. «Приговорённый говорить», несёт он нелёгкое бремя своего исключительного таланта с достоинством.

В годы, именуемые застойными, поэт дебютирует книгой стихов на русском языке. Позже выходит в свет двуязычный русско-украинский сборник, и после этого книги стихов издаются исключительно на украинском. Названия книг, вероятно, так же как имена людей, определяют в той или иной степени их жизнь и судьбу. Приведу названия поэтических сборников Григория Фальковича: «Высокий миг», «Скрижали откровения», «Сповідуюсь, усе беру на себе...» («Исповедуюсь, беру всё на себя...»), «Шляхами Біблії пройшла моя душа» («Путиами Библии прошла моя душа»), «На перетині форми і змісту» («При слиянии формы и смысла»), «У Все світі, на сонячному боці» («Во Вселенной, на солнечной стороне») — томик избранных стихотворений, готовящийся выйти из печати.



Помимо стихов для взрослых читателей, уже четверть века имя поэта прочно связано с детской литературой. Весёлые, остроумные, добрые и ненавязчиво поучительные стихи выходят немалыми тиражами из печати, радуя украинских детей и их родителей. Эти книжки метко названы литературой для всей семьи. Стихи Фальковича входят в школьные программы, становятся нередко песенками, мультипликационными фильмами и миниспектаклями.

Два языка: русский и украинский, два направления в литературе: поэзия для взрослых и для детей, две линии судьбы, слившиеся воедино: еврейская и украинская — определяют жизнь и творчество поэта. Это сплетение языков, культур и корней в поэзии Григория Фальковича — благодатное поле для профессиональных литературных исследований. Этот же очерк — краткое путешествие очарованного читателя в мир размышлений, сострадания, боли и любви, в мир красоты и гармонии, именуемый поэзией.

1

Если условно разбить это путешествие на две части, то первая — будет посвящена русским стихам, написанным в основном в ранний период творчества поэта, а вторая — стихам, написанным по-украински.

Григория Фальковича называют живым классиком. Искусством стихосложения он владеет виртуозно. Стихи его легко запоминаются и воспроизводятся в той неповторимой комбинации слов, которая точна, звучна, понятна и логична.

В мою память прочно впечатаны строки из стихов поэта. Афористичность — одна из характерных черт его поэзии. Звук, слово, ритм, рифма выполняют в каждом поэтическом произведении свою задачу. В этих стихах нет усложнений и нагромождений, нет абстрактности, размытости, вялости, приблизительности. Это поэзия мысли и чувства, точной формы и конкретного содержания. За ней угадывается цельная, собранная, честная, деятельная натура автора.

Приведу в качестве примера строфы, которые в определённой степени являются небольшим самостоятельным произведением в контексте целого стихотворения:

*Бог нам судья, прощающим невинных,
Бог нам судья, прощённым невпопад.
Пройдя по жизни жизнь до половины,
Хоть в чём-нибудь да будешь виноват.*

или —

*Правда — правдивым. Хоть правда нужнее лгунам.
Так же порою нужней недосказанность фразам.
Век скоротечный, прости среди прочего нам
Знание без разума, без разумения разум.*

или —

*— Безумный старый Лир, зачем тебе рассудок?
Ведь кровь свою и плоть ты проклял сам.
— Даруя нам детей, господь даёт нам ссуду.
Я должен заплатить по векселям.*

Стихи, как правило, начинаются мощными, упругими строками: ритм уже обозначен, стихотворение берет разбег с первого, определяющего четверостишья:

*У каждого города — солнце своё и печать,
У каждой реки — свой особенный почерк и колер.
Пространство болтливо. Лишь время умеет молчать.
А наши дороги — прогулки в пространстве, не боле.*

В поэтическое озеро заброшен камешек. Расходятся концентрические круги причин, следствий, частных и обобщений. Стихотворение продолжается:

*... Кого вспоминая, кружит вдоль забора трава,
Забор вдоль дороги и эта дорога вдоль сада?
Спроси у мгновенья — у века получишь ответ.
Он будет опять запоздалою правдой отмечен.
Когда у разлуки печального прошлого нет,
Оно отзовется печалью при будущей встрече.*

Начало стиха — это высокий час и момент его рождения. Вот уже лопнула скорлупа ожидания, звуки родились, выстроились в шеренгу, у каждого своё место, своя особая роль. Слушайте:

*Пришло искушенье глотком недоступной воды,
Желанья греховны. Желание смерти — тем паче...*

Жёсткий звук, чёткий, сухой, металлический...

А что же дальше? Ослабнет ли напряжение? Что придёт по следу скользкого существа? Что последует за ложью? Прервётся ли цепь больших бед, идущих по следу мелких грехов? Пощадим ли живое в живом, захотим ли быть милосердными, сумеем ли умерить свой гнев? «Душа моя жаждет, душа моя, скверны полна, / С ведёрком бездонным стоит у колодца». Смело, да? В каком же контексте появятся эти строчки? А вот он:

*По следу улитки спешит мировая война
На слово неправды озонный проём отзовется.
Душа моя жаждет, душа моя, скверны полна,
С ведёрком бездонным стоит у колодца.
Что помыслы наши? Не промысел божий, увы.
Зачем так бездонно и гулко моё каждодневье.
Хотел я пройти по траве, не калеча травы,
Хочу я хоть слово сказать не во гневе.*

.....

Вот стихотворение о блютере, залившемся собственной кровью от перенапряжения на скачках. Где-то в середине будут такие строки:

*Плохой скакун ноги не ломает
И кровью своих жил не разорвёт.*

Но вслушаемся в начало — слова резки и точны, образы зримы до болезненности:

*На сучьях и ветвях генеалогий
Развешены жокейские хлысты,
Чтобы резвей навёртывали ноги
Тугие ипподромные холсты.*

Вот лирическое стихотворение, начинающееся мягкими звуками, напоминающими скольжение воды. Дальше — влажное дыхание летней ночи. Дальше — лунное сияние, а после — тревога при слове «погона», и тишина уже другая, нет в ней больше покоя — кони пронеслись, топот утих — пустота осталась:

*По следу ливней вырастет трава,
По следу трав уйдут в ночное кони.
Протянется луна по следу табуна
И тем же следом бросятся в погоню
Вначале топот, после — тишина.
Всё на земле по следу, следом в след
Вослед разлукам — неподвижность лет...
.....*

Ниже — две строфы одного стихотворения. Первые две строчки — иконописной чистоты, следом — предвосхищение «великих страстей». Второе четверостишие уже обращено лицом к природе, к её материнской сути. Удивительное сочетание звука, слова и образа.

*Застенчивость сельских детей
И тайная набожность женщины
Не с вами ли миру завещаны
Начала великих страстей?*

*Во влажности ваших глубин,
В прогретой и дремлющей почве
Взойдут и осветятся ночи,
Зажжённые грустью рябин.*

Недавно, перечитывая ранние стихи Фальковича, я нашла стихотворение «Разрушение храма»:

*Сломали дом. Рассыпалась стена.
На кирпичи — на атомы, на судьбы.
Лета без войн — это тоже судьи
Для всех, кого не тронула война.
Мой первый дом — вселенная, очаг.*

*Тут всё впервые, всё неповторимо:
Глубь ожиданья в маминых очах,
Сосед без рук, пожар и запах дыма.
Свой первый взгляд в осознанную тьму
Уже не помню, как бы ни пытался.
А детский страх остаться одному
Не повзрослел — он дочери достался.
Тут всё впервые. Всё как быть должно,
Непостиженье смерти, постиженье.
И сердца непослушные движенья.
И птица, залетевшая в окно.*

Пройдут десятилетия, и в моей библиотеке появится великолепно изданная книга «Будинок» — «Дом» Патрика Льюиса («The House», J. Patrick Lewis), иллюстрированная итальянским художником Роберто Инноченти, перевод с английского на украинский Григория Фальковича. И невероятным образом снова воскреснет тема дома, свидетеля жизни поколений, одушевлённого существа, рассказчика истории своей долгой жизни, упадка и возрождения.

Листаю пожелтевшие странички стихов из прошлого. Письмо из больницы. Послушайте:

*По грани неба и стены
В палату полночь проникает —
Стоит над каждым и вздыхает
Дыханьем ветра и вины.
В больничной стынущей тиши
Отлучены мы друг от друга,
И принимаем боль души
За род телесного недуга.
В квадратной проруби окна—
Ветвей и капельниц сплетенья.
Нам не досталось только сна.
Не только сна — и пробужденья.*

И неожиданная концовка. Ассоциации ведут автора в неминуемое будущее, связанное с памятным прошлым:

*Ах, как отчётливо видна —
В раздумье, у границы века —
Стоит грядущая война
С лицом больного человека.*

А вот стихотворение в ритме набирающего скорость поезда. Запах шпал, стук на стыках, чередования света и тени:

*Движенье —
Сложенье
Ударов и пауз,
Перронов скольженье,
Вагонов напор...
.....*

А что же дальше? Время летит, опережая наше сознание. Растерянность, недоумение: как же так?

*Ты скажешь
— Дождался,
А выйдет
— Дожился...
Я тоже пойму твой растерянный взгляд —
На наших местах,
В наших куртках и джинсах
Не мы, а другие,
Другие сидят.
И смотрят на зиму, летящую мимо,
И видят, как полночь заходит на круг,
И едут счастливые, к нашим любимым...
Нет, к тем, что похожи на наших подруг.*

Узнаю я и более поздние стихи, их темы, образы, их звучание, обобщения, мудрость. Вижу в них единство макро- и микромира, малого и великого, сиюминутного и вечного, вижу повторения, усиления — эту восходящую вверх спираль. Вижу эту нежную лирическую канву, на которую накладываются мысли и события. Масштабы поэзии расширяются до континентов, планеты, Вселенной.

Взгляд устремляется за видимые горизонты, скользит вдоль времени, по обе его стороны: в прошлое и в будущее. Всё чаще встречается слово «душа» в сочетании с понятиями безграничность, вечность, беспредельность.

*Последний майский день — уже ничей,
Но, от весны переходящий к лету,
Продолженный во времени, ручей
Преобразится в Стикс, а дальше — в Лету,
И связку эту — коды и следы —
Замкнёт под новой радужной подковой
Круговорот русановской воды:
Днепровско-иорданско-родниковой.
В Движение это, в этот вечный Рух,
Извечно в мирозданье вовлечённый,
Включится тополиный беглый пух,
Сиюминутный, тленный, обречённый.
Но эти птицы! Слышишь? Погоди...*

Художники и поэты в своих произведениях, так или иначе, пишут свой автопортрет. И стилем, и словом, и смыслом, и звуком. Так или иначе, их черты проступают сквозь полотна или строчки. Это небольшое стихотворение, мне кажется, добавляет к портрету автора немало.

*Доискиваясь нужной глубины
Сквозь письма, события и даты,
Дойду до слоя собственной вины,
С которой всё и началось когда-то.
И, поражённый скудостью её,
Моё переломившей бытиё,
Вдруг распознаю горькие черты
Жестокости и постыдной доброты,
И оборву истёршуюся нить
Желания что-либо изменить,
И снова буду бережно хранить
Предательским бездействием своим.*

Есть стихи, поражающие своей видимой простотой. Кажется, если не обращать внимания на рифмы, то это просто доверительный разговор. Неясно только, почему вдруг наворачиваются слёзы, почему так трогают неожиданно звучащие слова: «Тверда, но не крепка, увы, земная твердь», и сжимается сердце от того, что линия горизонта так стремительно превращается в «рубеж безмолвья и молвы».

*Наверное, всегда — тем паче, знойным летом —
Тверда, но не крепка, увы, земная твердь.
Не более, чем жизнь, даётся нам с рассветом,
А на закате ждёт не менее, чем смерть.*

*Возможно, мы уже бродили не однажды
По кромке синева и выжженной травы,
Но так ещё душа не мучилась от жажды
На этом рубеже безмолвья и молвы.*

Простота эта — опыт, просеянный сквозь сито жизни и ставший мудростью. Всё лишнее — ушло, всё нужное — осталось. А душа так же «с бездонным ведёрком стоит у колодца», так же «мучится от жажды» уже «на рубеже безмолвья и молвы».

* * *

Есть в поэзии Фальковича важная и необыкновенно сильно звучащая тема, связанная с историей, жизнью и катастрофой еврейского народа. В 90-е годы прошлого столетия эти стихи увидели свет. Это гражданская лирика — искренняя, высокая, напряжённая, откровенная, болезненно прочувствованная и осознанная через потери своей семьи, через исторический опыт и знания. Эти стихи неизбежно вызывают резонанс, как у больших знатоков и ценителей поэзии, так и у менее подготовленного читателя и слушателя.

Если (как говорил Бродский) поэт — орудие языка, то поэзия — орудие души. Так и возник этот неповторимый симбиоз: сначала — русского, позднее — украинского языка и еврейской души, переполненной опытом предков, познавшей «беспредельность миров и пределы жестокой земли... изнутри просветленья и боли». Эти слова взяты из стихотворения «Моисей». Приведу ниже несколько строф:

*Дружелюбный огонь не желал мне ущерба и зла.
 Равнодушный металл не стремился войти в моё тело.
 Но угрюмая сила меня убивала и жгла,
 И могилы мои пощадить не хотела.
 Разве мной был поставлен Извечный вопрос?
 Разве я дал ответ и заверил печатью?
 Запах истины — запах пустыни и слёз —
 Мои первенцы знали ещё до зачатья.
 Я молился любви — но жалел, что молитвы дошли.
 Я склонялся к борьбе — понимая, что это безволие.
 Беспредельность миров и пределы жестокой земли
 Я познал изнутри просветленья и боли.*

Подобные стихи не сочиняются, они с болью рождаются из душевной печали, скорби и любви. Однако нигде вы не найдёте в них ни укоров, ни угроз, ни воинственно-враждебного тона — только горестный и вечный вопрос к земле и Небу. Двухязычие в поэзии и двуединство в судьбе становятся знаком жизни и творчества поэта. Такое откровение можно найти в стихах, посвящённых памяти друга-поэта:

<i>Біда й біда, в житті не те, що в книзі: Сміюсь прилюдно, плачу крадькома.</i>	<i>Беда и беда, в жизни, не то, что в книге: Смеюсь прилюдно, плачу тайно.</i>
--	--

<i>Мій Господи, мій Дніпре, мій Синаю, Хто з Вас — хай Вас ця доля омине! — По скибочці, по дольці відтинає Від мене частку цілого мене?</i>	<i>Мой Боже, Днепр мой, Синай мой Кто из Вас — пусть Вас минует эта доля! — По ломтику, по дольке отнимает От меня частицу целого меня?</i>
--	---

Вот названия лишь некоторых написанных на русском языке стихов, в которых звучит еврейская тема то из библейского далёка, то из недавнего прошлого, то из дня сегодняшнего: «Яд Вашем», «Бабий яр», «Иерусалим», «Жертва Авраама», «Убитым еврейским поэтам», «Михоэлс», «Варшавское гетто», «Диаспора» «Экклесиаст».

В стихотворении «Диаспора» — тема бесприютности в жестоком мире, отторгающем «инородную» душу. Душу, сохраняющую вопреки

всем катастрофам Завет, прощающую людей «обречённых не любить». И вечные вопросы. Вопросы без ответа. Отзывается только древний как мир ветер — потусторонняя, увлекающая за собой стихия. Как звучат эти стихи, какая открывается в них беспредельность:

*Огромный мой мир, подари теплоту и уют.
 Погромный мой мир, дай хотя бы дожждаться Мессии.
 Из Бабьего Яра куда нас дороги ведут?
 Обрато в Египет? А после опять до России?
 Неужто опять мне придётся все круги прожить?
 Неужто опять я Завет преступить не посмею,
 Прощая людей, обречённых меня не любить,
 Прощаясь с землёй, почему-то опять не моею?
 Смешалась печаль потемневших славянских озёр
 И чёрные слёзы сухих палестинских колодцев.
 Кошнется ветер. Он мне с незапамятных пор
 Недолгим страданьем и вечной любовью клянётся.*

Поэт затрагивает темы болезненные, сложные. В стихотворении «К славянам» он обращается к народу, чья речь была дарована ему, с напоминанием о завещанной братской любви. Где всё это? Забыто, утрачено? Наступит ли тот час, когда народы простят «друг другу прошлую вину»?

Стихотворение начинается мощно, точно, и сила его нарастает. В нём нет заискивания, есть историческая правда, есть вопрошающий взгляд в грядущие времена.

*Сомнение опасней, чем восстанье.
 Ещё из предыстории своей
 Я угадал враждебность и братанье
 В переплетеньи веток и корней.
 Мои русоголовые предтечи,
 Прибившиеся к берегам Днепра,
 Вы дали мне ключи славянской речи
 От кладовых вселенского добра.
 Но я обязан это вспомнить снова —
 О, сколько раз преддверием беды
 На языке, родившемся из «Слова»*

*Звучало слово смерти и вражды.
А помните: «Еврея или грека...»
А помните, в земном своём плену,
Учил Христос: «Любите человека!»
Так что же мы, хоть на исходе века
Простим друг другу прошлую вину?*

Комментировать такие стихи — излишне. Их надо читать. Хочется, вопреки правилам жанра, привести здесь одно стихотворение целиком. Оно послужило поводом к знакомству и личной переписке автора с внучкой Шолом-Алейхема, американской писательницей Бел Кауфман.

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

*Шолом-Алейхем, попросту, Шолом —
Произнесу и стану чуть добрее.
Великий прадед, я Вам бью челом
От имени сегодняшних евреев.
Великий прадед, ребе и хохмач,
Двадцатый век вершит своё суждение.
Надежда плюс надежда (в скобках — плач) —
Вот формула славянского еврейства.
У каждого на свете свой удел.
Мы все живём Судьбе и Богу внемля.
Простите, ребе, я бы не хотел,
Чтоб Вы опять пришли на эту землю,
Чтоб вы смотрели в наши зеркала,
Накрытые Варшавскими ночами,
Чтоб разбирали детские тела,
Чтоб наша кровь Вам под ноги текла,
Чтоб ужаснулись Вы: не снег, не мгла —
То пепел наш клубится над печами.
Зачем Вам видеть мир из-под крыла
Полесской прокажённой чёрной речки?
И лучше Вам не знать, что умерла
Вселенная еврейского местечка.
Вам повезло. У Вас иной удел.*

*Но, если жить, велению сердца внемля,
Поверьте, ребё, как бы я хотел,
Чтоб Вы опять пришли на эту землю!
Мы вместе будем в будущем своём —
Все сущие — евреи, не евреи...
Шолом-Алейхем! Попросту, Шолом!
Да будет нами этот мир добрее.*

Закончить первую часть своего повествования мне хотелось бы строфами, характеризующими жизнь автора, избранного Поэзией в служители своему культу:

*Я продолжаю: на лету,
В надводных и других скитаньях —
Искать и видеть красоту
В словах и словосочетаньях,
И проверять, наедине,
На подлинность, как на звучанье,
Слова, дозволенные мне
В уплату за моё молчанье,
И вновь, надеюсь, что к добру,
Включаться в ту, сверхчеловечью,
Непостижимую игру,
Которая зовётся речью...*

2

Украинский язык вошёл в творчество Фальковича без предварительных предупреждений. Сам он об этом говорит так: «... конец 80-х — начало 90-х. Переход случился абсолютно неожиданно и неосознанно. Это был неподконтрольный, стихийный процесс... выглядело это примерно так: «Щоранку о п'ятій, о п'ятій, о п'ятій... «(Каждое утро, в пять часов)». Чуть раньше или чуть позже, возникали украинские стихи... Нужно было только их зафиксировать... Они просто вкладывались в мозг, как бы звучали, надиктовывались... На первоначальном этапе «украинизации» это были, как правило, уже гото-

вые стихи...» И ещё одно интересное замечание поэта на этот счёт: «Если русские стихи «выхаживались», то есть возникали во время ходьбы, попадая в ритм движения, то украинские стихи появлялись в полусонном сознании целиком и сразу». Интересно, да?

Начиная с этого момента, моя задача значительно усложняется тем, что украинский язык знают не все. Скажу лишь, что ритмическая основа украинского и русского, при всей их славянской родственности, совершенно разная. Украинский язык — певучий, в нём много открытых окончаний. Построение фраз зачастую другое, другое звучание и произношение слов. В недрах языков также кроется различие культур и образа мышления народов. Не моя задача здесь вдаваться в глубокий анализ, это дело профессиональных лингвистов. Скажу лишь: я очень рада тому, что владею украинским языком в той степени, которая даёт мне возможность понять и оценить поэзию, и тому, что существуют электронные словари на тот случай, когда в них заглянуть необходимо. В этой части своего повествования я приведу стихи с подстрочным переводом (в той или иной степени точным) и в конце очерка дам несколько стихотворений в собственном литературном переводе, точнее — сделаю такую смелую попытку.

Украинские стихи Григория Фальковича необыкновенно хороши. Лирическое, тонкое начало его стихосложения совпадает с профилем самого языка. Замечателен тот факт, что поэт продолжает писать стихи на двух языках, но уже три десятилетия украинский — основной язык его творчества. Украинские стихи «старше» большей части русских стихов почти на полжизни. Время — это мудрость, опыт, мастерство. Да и годы — судьбоносные. Из «развитого социализма» в застойной его фазе — в бурные, насытые и трудные девяностые, а за ними — непрерывные «новые времена» разъятий, разделов и военных конфликтов. Мир меняется. Адаптация болезненна. Поэзия — механизм чуткий, она по-своему — пророчески определяет настоящее в его проекции на будущее. Поэт не заигрывает с эпохой, он — переживает и переосмысливает её. Ещё в прошлом столетии появляются стихи, обращённые к Украине:

*Я воскреслу тебе не впізнаю,
Поспитаю в людей, де тиє,
Україно, сплюндрований раю,
Зачароване гетто моє.*

*Я воскресную тебя не узнаю,
Распрошу у людей, где же ты,
Украина, разрушенный рай мой,
Зачарованное гетто моё.*

<i>Поміж нас — ні кордону, ні дроту.</i>	<i>Между нами — ни проволоки, ни границы,</i>
<i>Тільки натяк. І він май жезник.</i>	<i>Только намёк. И он почти исчез.</i>
<i>І сама ти не знаєш достоту, Хто з нас в'язень, а хто вартівник.</i>	<i>И сама до конца ты не знаешь, Кто из нас узник, а кто конвоир.</i>

<i>Давній спогадзі тёрто на порох,</i>	<i>Давнее воспоминание стёрто в порох</i>
<i>І не знайдеться віщий сувій, Де сусіда мій, брат мій і ворог,</i>	<i>И не найдётся вещей свиток, В котором сосед мой, брат мой и враг,</i>
<i>І я сам — в іпостасі одній.</i>	<i>И я сам — в ипостаси одной.</i>

Сильные, смелые и честные стихи. Фраза «и я сам — в ипостаси одной» не оставляет места для обид. Поэт, живя внутри времени неуверенности и раздвоенности, несёт ответственность за него наравне со всеми. И где найти совет в прошлом? Его нет. Нелегко даётся новый опыт.

Сборник «Сповідуюсь, усе беру на себе...» («Исповедуюсь, беру всё на себя...») с этими стихами вышел из печати в Киеве в 1994 году. В людях, нациях и народах зреет предчувствие беды. Открытая война между соседними государствами начнётся через двадцать лет. В масштабах вечности — это пороховая песчинка. Но в масштабах человеческой жизни — это время. В одном из стихотворений этого сборника уже звучит пророческое предупреждение:

<i>Вже зведено курки й розведено отруту,</i>	<i>Уж взведены курки, разведена отрава,</i>
<i>Обтерто насухо обрізи й тесаки</i>	<i>Обтерты насухо обрезы, тесаки</i>

А Украина — отпущенная раба, с желто-голубой (цвета национального флага) повязкой на глазах, не знает, в какую сторону ей податься:

<i>Пов'язка на очах сонцево-голуба.</i>	<i>Повязка на глазах солнечно-голубая.</i>
<i>На мить, як на віки, завмерла Україна —</i>	<i>На миг, как на века, замерла Украина —</i>
<i>Не зна, куди іти, одпущена раба.</i>	<i>Не ведает, куда идти, отпущенная раба.</i>

Григорий Фалькович по маминой линии киевлянин в четвёртом поколении. Это значит, что ещё при царе-батюшке его дед и прадед, покинув черту оседлости, жили уже не в местечке, а в крупном городе и были образованными и небедными людьми. Киевляне, особенно коренные, любят свой город (читай — родину) безмерно. Фалькович — не исключение. И только любящий человек может с болью выдохнуть такое признание: «О Києве, о батьку мій, мій кате,/Ненавиджу тебе, люблю тебе» (О Киев, мой отец и мой палач,/ненавижу тебя, люблю тебя»). И несколько строф стиха, предшествующих этому признанию:

<i>Моя вітчизна, ось вона — в тобі. Та годі вжео свідчень у коханні.</i>	<i>Моя отчизна, вот она — в тебе, Но уж достаточно в любви к тебе признаний.</i>
--	--

.....

<i>О, Києве, прамученику мій, Мій прамучителю, прасвідкумій байдужий, Бай дужістюти сам себе подужав — Не тії москалі, не той Батий.</i>	<i>О, Киев, прамученик мой, Мучитель и свидетель равнодушный, Ты сам одолел себя равнодушием — Не те москали, не тот Батый.</i>
--	---

.....

<i>Ти забував жалобні голоси Сирітства безневинного і вдівства. Тебе, принаду вічного жидівства, Не проклинаю, Господи, спаси.</i>	<i>Ты скорбные не слышал голоса Сиротства невинного и вдовства. Тебя, приманку вечного жидовства, Не проклинаю, Господи спаси.</i>
--	--

Оглядываясь на тяжёлое прошлое, автор пишет и более жёсткие строчки, реагируя на день сегодняшний, на его горячность, суету, на его лозунги, его безумие и взрывоопасность:

.....

<i>Навіки Україні слава! Не одцураймось волі ми! Радій, жидівочко ласкава, У землю втоптана кіньми...</i>	<i>Навеки слава Украине! Не отречёмся от свободы мы! Радуйся, ласковая жидовочка, Втоптанная в землю лошадьми...</i>
---	--

Есть у поэта стихи, относящиеся к циклу «Бабий Яр». Очень тяжело касаться этой темы. У каждого еврея в этом невероятно страшном ме-

сте (или в ему подобном) тлеют кости родных и близких. У Фалькови-
ча погибла почти вся семья: взрослые, дети, старики. Эта тема стучит
в сердце непрерывным набатным колоколом и плачет печально оди-
нокой и горестной скрипкой. Она присутствует в поэзии не как дань
истории, не как обобщение коллективного знания, а как собствен-
ная глубокая рана. Конец сентября — печальная годовщина трагедии
Бабьего Яра. Ниже — несколько строф поэта:

.....

*Цей світ розкуркулено, все в нім— нічийне та спільне,
Траншеї та кулі, і кров, що загула на дні.
Згвалтована осінь зродила дитя божевільне,
І цим немовлям присудилося бути мені.*

*То що є життя—чиспокусав оно, чи спокута?
Я з ранку шукаю, а з ночі ховаю в землі
І свастики хрестик, і чорну зорю п'ятикутну,
Й тавро поліцая в сусідисвого на чолі.*

.....

*(«Этот мир раскулачен, всё в нем — ничейное и общее,
Траншеи и пули, и кровь, которая загустела на дне.
Изнасилованная осень породила безумное дитя,
И стать этим младенцем суждено было мне.*

*Что же есть жизнь — искушение она, или покаяние?
Я с утра ищу, а к ночи прячу в земле
И свастики крестик, и чёрную звезду пятиконечную,
И клеймо полицая у соседа своего на челе»).*

Любовь и боль неразделимы. Родина — понятие очень ёмкое. От-
ношение между личностью и государством могут быть разными, но
родина — это другое. Она — в тебе, ты — в ней. Кровная связь.

<i>Потрощено галактики й світи.</i>	<i>Разорены галактики, миры.</i>
<i>Птахи й вітри забулирідну мову.</i>	<i>Ветра и птицы свой язык забыли.</i>
<i>Людських надій обірвано дроти.</i>	<i>Людских надежд оборваны концы.</i>
<i>Довкола нас— німрії, ні мети.</i>	<i>Вокруг нас нет ни цели, ни мечты.</i>
<i>Я знаю, що у всьому виннати,</i>	<i>Я знаю, что во всем виновна ты,</i>

<i>Та я, мабуть, тебе пробачу знову.</i>	<i>Но я тебя прощу, должно быть, снова.</i>
.....	
<i>Невже такого розпачу нема, Такого болю і такої сили, Страху такого, дива чи керма — Щобти себе пробачила сама, Та й нас, усіх: за все і, зокрема, Що ми даремно Господа просили?</i>	<i>И неужели нет такой тоски, Такой вот боли или даже силы, Такого страха, чуда, иль кормила — Чтобы простила ты себя сама, И нас: за всё, и в частности за то, Что мы напрасно Господа просили.</i>
.....	

На отрывках из стихотворения, приведённого ниже, я оборву (ибо завершить невозможно) своё повествование на тему гражданской лирики поэта.

.....	
<i>Але нестидного полону Я ще не заступив между — В душі не виплекав прокльону — Підсерце не принадив лжу.</i>	<i>Но я нестыдного полона Между ещё не преступал — В душе не пестовал проклятий — Под сердцем ложь не пригревал.</i>
.....	
<i>І згоден я — за тим порогом, Де чорнаніч, де білийсвіт — За Україну дати одвіт Перед моїм єврейським Богом.</i>	<i>Согласен я — за тем порогом, Где ночь черна, где белый свет — За Украину дать ответ Перед моим еврейским Богом.</i>

В этом месте, остановившись, я призадумалась. Что же делать? Передо мной лежат сотни страниц великолепных украинских поэтических текстов. Хочется читать эти стихи, перечитывать и делиться этим богатством. Но как можно передать всю их силу, мощь и красоту их смысла, их звучание? Поэзия — вещь самодостаточная. Она говорит сама за себя, теряя свою первоизданность в любых интерпретациях, фрагментированиях и переводах. Стихотворение появляется как дитя. Оно едино и неделимо. Поэзия — в большой степени форма, звук, мелодия, ритм. Она, рождённая мыслью и чувством, вольна как ветер, легка как птица. В ней есть необыкновенная свобода, недоступная жанру прозы. Поэзия — соль литературы. Что подстрочный перевод? Он — лишь сырой и серый материал, лишь намёк на возможное чудо.

И всё-таки я продолжу.

Стихи Фальковича глубоки, ассоциативны и многослойны. Изысканное изящество языка, точность фраз, логичность построения стиха, его афористичность определяют его поэзию. Бескомпромиссная честность и в то же время деликатность, исповедальность тона, сострадание и сопричастность позволяют ему касаться самых непростых и болезненных тем. Поэт не посторонний наблюдатель. Он участник всех событий. Он, «исповедуясь, берёт всё на себя». В стихах своих пишет: «За подлость людскую меня и себя прокляни/История, вот она — можно коснуться рукою». Поэт не судит, не выносит приговор. Он мыслит и чувствует глубоко и гуманно. Милосердие и братская любовь — понятия общечеловеческие. Вот и строки в стихах об этом: «Плачуть українські Єремії про народ мій і про мій полон» — «Плачут украинские Иеремии о народе моём и моей неволе» и как зеркальное отражение — «Козака в турецькому полон іод співає кантор на Подолі» — «Казака в турецком плену отпоёт кантор на Подоле». В стихотворении «Моисей» есть строки, которые во многом определяют собственную позицию автора в жизни и поэзии: «Я к вам с миром иду. Пусть останутся кровь и вражда/Позади на дорогах, измученных нами». Дело поэта и поэзии — умножение добра и света, возвращение миру гармонии. Григорий Фалькович — безусловный служитель этого кюльта.

После поездки в Израиль у поэта рождается замечательный цикл стихов, связанных с этой страной. Небольшой фрагмент стихотворения ниже:

<i>Свою країну звать вони «Земля»</i>	<i>Свою страну они</i>
	<i>называют «Земля»</i>
<i>Неначе на землі вона єдина.</i>	<i>Как будто на земле она</i>
	<i>единственная.</i>
<i>Та й справді,</i>	<i>И верно,</i>
<i>Тут навколо все первинне —</i>	<i>Все вокруг здесь первородно —</i>
<i>Біблійне небо, магма і рілля.</i>	<i>Библейское небо, магма и поля.</i>

Поэт говорил, что не только возрождение Украины, но и поездка в Израиль сыграла свою особую роль в переходе его на украинский язык. Вероятно, в процессах возрождения есть общие ключи. В одном из стихотворений израильского цикла есть строчки:

<i>Там предок мій з Давидового роду</i>	<i>Там предок мой с Давидова рода</i>
<i>На провесні, у спеку, у сльоту</i>	<i>Весной, и в непогоду, и в жару</i>
<i>Ходив середмого ж таки народу</i>	<i>Ходил средь моего ж таки народа,</i>
<i>І намовляв на вічну доброту.</i>	<i>И в проповідях славил доброту.</i>

Приведу ещё несколько поэтических строф Григория Фальковича, завершая краткое знакомство с израильской темой:

<i>Не від фараонів ми тікали.</i>	<i>Не от фараонов мы бежали.</i>
<i>Під покровом Божої руки,</i>	<i>Под покровом Божьей руки,</i>
<i>Ми любов, ми істину шукали,</i>	<i>Мы любовь, мы истину искали,</i>
<i>Крізь кордони, смерті та роки.</i>	<i>Сквозь границы, смерти и года.</i>

<i>Із мого біблійного «далека»</i>	<i>Из моего библейского «далёка»</i>
<i>Кожен день — неначене мовля.</i>	<i>Каждый день — новорождённое дитя.</i>
<i>Український Фенікс —</i>	<i>Украинский Феникс —</i>
<i>птаха Лелека</i>	<i>птица Ауст</i>
<i>Чорно-білим символом кружля.</i>	<i>Чёрно-белым символом кружит.</i>

....

<i>Тут убито стільки мрій і храмів,</i>	<i>Здесь убито столько вер и храмов,</i>
<i>Стільки мов сплюндровано</i>	<i>Столько языков затёрто в пыль.</i>
<i>поспіль.</i>	
<i>Я — прямий нащадок Авраамів.</i>	<i>Я — прямой потомок Авраама.</i>
<i>Де мій Київ?</i>	<i>Где мой Киев?</i>
<i>Де мій Ізраїль?</i>	<i>Где мой Израиль?</i>

В поезии Григория Фальковича часто встречаются слова «Душа», «Вселенная», «Космос». Суть этих понятий объединяет безмерность, беспредельность.

Беречь душу — одна из основных заповедей в стихах Фальковича.

<i>Необережні подорожні,</i>	<i>Неосторожные путешественники,</i>
<i>Ми множимо слова порожні,</i>	<i>Мы множим пустые слова,</i>
<i>Клонуємо думки тривожні</i>	<i>Клонируем мысли тревожные</i>
<i>І почуття, думкам тожожні.</i>	<i>И чувства, тождественные мыслям.</i>
<i>«Відчай», по-давньому — «еуш».</i>	<i>«Отчаяние» по-древнему «Еуш»</i>
<i>Од примхи людської залежні,</i>	<i>От прихоти людской зависимые,</i>

*По-людськи ми й необережні:
Не бережём овласних душ.
А душі, проліски горішні,
Вони з народження безгрішні
І давнім спогадом святі.*

*По-человечески мы и неосторожны:
Не бережём собственные души.
А души, подснежники горные,
Они от рождения безгрешны
И святые давней памятью своей.*

.....

В творчестве Фальковича найдём мы и необыкновенно проникновенные стихи, посвящённые матери, найдём и глубокую любовную лирику, и стихи, посвящённые жене, дочери, стихи, друзьям, стихи, обращённые к каждому из нас. «За кого? Завжди є за кого/Просити у Господа Бога:/За ближніх і за невідомих...»—/За кого? Всегда есть за кого/Просить у Господа Бога:/ За ближних и за неизвестных...»,— напишет он.

Есть ещё одна замечательная грань творчества поэта—детские стихи или стихи для всех возрастов. Вот уж где фантазия, юмор, игра слов, разного рода выдумки и всяческие литературные изыски поджидают нас. Сам поэт, отвечая на вопрос, не мешают ли друг другу «взрослость» и «детскость», говорит следующее: «Думаю, что взаимодополняют. В нормальном человеке всё должно быть в наличии: озабоченность и беспечность, зрелость, наив и озорство... Моя «взрослая» поэзия—довольно серьёзная, грустная, иногда трагическая. Слава Богу, что можно «уравновеситься», хоть на время вернуть себе детскую незамутненность взгляда, первичность восприятия, внимание и иронию по отношению к самому себе и естественную реакцию на внешний мир».

Планета по имени «Детская Поэзия Фальковича»—тема для отдельного разговора.

Заканчивая свой очерк, рискну показать два собственных литературных перевода, с оговоркой, что это—опыт дилетанта и только попытка приблизиться к замечательным текстам, написанным по-украински.

Первое стихотворение было переведено почти четверть века тому назад.

*Сповідуюсь, усе беру на себе,
Як осінь листопадове ярмо.*

*Я исповедуюсь, всё на себя беру,
Так осень тянет бремя листопада*

<i>Із нею вдвох нам прощення не треба — Навіщо ж ми до снігуїдемо?</i>	<i>Нам с нею вдвоєм прощення не надо — Зачем же к снегу путь наш на ветру?</i>
<i>Пощо нам та байдужа холоднеча, Відчужені колодязі й сади? Що сповідь— то повернення чи втеча? Відкіль тікати, вертатися куди?</i>	<i>На что нам безразличье отчужденья, Холодный дух в колодцах и садах? Что исповедь— побег иль возвращенье? Побег откуда и возврат куда?</i>
<i>Десь поза там, десь поза тим кордоном, За сухолистом, за сирим бетоном Лежить комусь обіцяна земля. А в сповідальні дмевсе світній протяг, Наївні дерева скидають одяг, І пахне снігом — хтозна-звідкіля...</i>	<i>А где-то там, за дальним-дальним склоном, За сухолистом, за сырым бетоном Обещанная нам лежит земля. В исповедальню бьёт вселенский ветер, Дерева без оджд и лик их светел, И пахнет снегом из небытия.</i>

Был и второй вариант концовки:

*А где-то там, за дальним-дальним склоном,
За сухолистом, за сырым бетоном
Лежит земля ниспосланных даров.
Вселенским сквозняком тепло уносит,
Наивные деревья входят в осень,
И пахнет снегом из иных миров.*

Помнится, как бы я ни старалась, не получалось избежать конкретики, «запирающей» образность своей однозначностью. У автора земля обещана не «нам», а «кому-то», и снегом пахнет «неизвестно откуда». И характерное троеточие в конце (тот случай, когда вспомнишь: «Так же порою нужней недосказанность фразам»). Неопределённость расширяет масштабы до безграничности, нет барьера, в который упирается мысль. Не получилось...

Ещё одна попытка перевода произошла недавно. Объектом интереса стало давно любимое мною стихотворение.

*Не бачу надміру в цвітінні,
Не бачу обмалі в любові.
Що починалося з півтіні,
Воно й скінчиться на півслові.
Не бачу вищості у вітті,
Не бачу зверхності у хмарах.
Спокійні та несамовиті,
Роки розібрані по парах.
А я—між ними, я—між ними,
Та все стежинами кружними.
Не чую в пісні примітиву.
В дощі не убачаю втоми.
Глибінь псалмового мотиву
Знов нагадала, що ми й хто ми.
І я блукаю, мов сновида,
Шукаю той псалом Давида,
Де закодоване віками
Моє життя поміж рядками*

*Не вижу лишнего в цветеньи,
Не вижу мелкого в любви.
Что начиналось с полутени,
То оборвётся на полслове.
Высокости не вижу в кронах,
Надменности не вижу в хмарах.
Годам спокойным, исступлённым
Идти, разобранным по парам,
А мне—меж ними, мне—меж ними,
Да всё тропинками кружными.
Не слышу в песне примитива,
В дожде не чувствую истомы.
Мне глубь псалмового мотива
Напомнит снова что мы, кто мы.*

*И я блуждаю как сновида,¹
Ищу я тот псалом Давида,
Где закодирован веками
Мой путь земной между стихами.*

В этом переводе мне удалось сохранить оригинальный ритм и близость к тексту, не перегружая стих дополнительной вынужденной обр-азностью. Однако оригинал несравненно лучше, надо признать. Ну что ж—была смелая попытка. Такие стихи ждут профессионалов.

Двадцать пятого июня 2020 года Григорий Фалькович отметил своё восьмидесятилетие. «Непостижимая игра, которая зовётся речью», продолжается. Если счёт вести от ста двадцати, то восемьдесят—средний возраст, когда мудрость и бодрость не исключают друг друга. Оставаться молодым, вероятно, и есть феномен творческой личности, аккумулирующей энергию Космоса и трансформирующей её в искусство.

ОБ АВТОРЕ

***Зоя Полевая** окончила Киевский институт инженеров гражданской авиации. В 90-е годы посещала поэтическую студию Леонида Николаевича Вышеславского «Зеркальная гостиная».*

В 1999 году в Киеве вышел её поэтический сборник «Отражение».

Немало лет живёт в США. Печатается в литературных журналах в Украине и изданиях русского Зарубежья.

В 2002 году организовала в Нью-Джерси литературный клуб, которым руководит и поныне.

¹ сновида (укр.)—сомнамбула

Илья ГАБАЙ

ЧУЖАЯ БОЛЬ КАК СВОЯ

*Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью...*

На Верхней Нагорной, в нескольких шагах от угла улицы Кецхове-ли, в Баку, в январе 1974 года ещё был дом, уже полуразрушен-ный, заброшенный после пожара и заваленный мусором.

В этом доме в семье Якова Ихильевича Габая¹ и его жены Доры Марковны Ридер² в октябре 1935 года появился второй ребёнок.

Это был Илья Габай.

В семье деда Ильи хранили традиции еврейства и разговаривали на идиш. Привязанность к еврейскому народу Илья Габай сохранил на всю жизнь, хотя считал себя человеком русской культуры.

Очень рано, в возрасте пяти лет, Илья остаётся без матери и живёт с отцом и сестрой.³ Его занятия в это время — игра в «пёрышки» с ребятами на улице, чтение книжек с сестрой при свете керосинки.



Он рассказывал, как сестра впервые привела его в библиотеку. Книгу на полке, попавшую в поле его зрения самой первой, он прочитал вслух: «А. Пушкин. «Цыганы». И объявил во всеуслышание: «Я эту книжку знаю!» Он не просто знал эту книжку: он знал её наизусть.

¹ Габай Яков Ихильевич (1887–1946) — отец И.Я. Габая

² Ридер Дора Марковна (?–1940) — мать И.Я. Габая

³ Габай Сима Яковлевна (1929–1988) — сестра Ильи Габая, врач-рентгенолог.

Друзья и книги становятся страстью Ильи, которую он пронёс через всю жизнь.

Уже в раннем детском возрасте в маленьком Миле, как звали его в семье, появляются черты необыкновенной сострадательности к людям, чужому горю, понимание человеческой боли. Через много лет студент 2го курса педагогического института Илья Габай публикует в институтской многотиражке «Ленинец» стихотворение «Чужое горе».

Ленивый взгляд вокруг себя бросая,
Из любопытства посмотрев назад,
Мы очень часто мельком замечаем
Нам непонятный и тоскливый взгляд.

Наверно, боль легла ежом на сердце,
Печаль сдавила горло, как лассо,
И человеку хочется, поверьте,
Прохожему поведать обо всём.

Мелькнуло горе чужеродной тенью,
Заставило задуматься на миг...
Но мы прошли, забыв в одно мгновенье,
Чужую боль,
Чужого сердца крик.

Своей беды нам ворон не назовет,
Беда других — ничтожна и мала...
Наверно, от такого безразличья
И повелись преступные дела.

Мне говорят: опять мудришь.
Не знаю,
Неважно это, слишком мелко, что ли,
Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью.

Так оно и было: чужая боль жила в нём как своя собственная, и маленький Миля по дороге из магазина домой — они тогда были в де-

сяти шагах друг от друга — всем, кто ни попросит, раздавал военный пайковый хлеб, оставаясь голодным сам и оставляя голодными сестру и отца. Это его свойство быстро узнали ребяташки с соседних улиц и весьма успешно им пользовались.

Когда Илье было 10 лет, умер и его отец. К этому времени относятся первые попытки творчества: Илья сочиняет пьесы, пробует писать стихотворные поздравления к праздникам. И очень много читает. Любовь его к книгам, к чтению поражала в нём всех, кто его знал. Он читал в транспорте, в антрактах в театре, на улице на ходу, не замечая прохожих и натываясь на них, читал под столом на свадебном обеде, читал при любой степени усталости.

Эта страсть привела его в 1950 году в Московский библиотечный техникум. Москва становится вторым родным городом Ильи. Столичная культурная жизнь захватила Илью целиком. Днём он учится, вечерами пропадает в музеях, театрах и библиотеках. Пришла пора споров до хрипоты с друзьями о справедливости и неправде на земле. Об этом времени он писал много позже в поэме «Отчуждение».⁴ А поздней ночью он возвращается «домой», на Якиманку,⁵ в девичье общежитие 2-го медицинского института, ночуя под кроватью сестры-студентки тайком от коменданта: у Ильи не было московской прописки, другого дома у него тоже не было.

Первые неприятности общественного характера начались у Ильи здесь, в Москве, в 1952 году. В самый разгар «дела врачей» Илья с техникумовскими друзьями составляет список евреев — врагов народа. Первый в этом списке — Карл Маркс, где-то в середине его — верный соратник И.В. Сталина Л.М. Каганович. Дело начиналось шумно, но было замято со смертью Сталина и реабилитацией врачей. На этот раз Илье Габаю повезло: его политическое дело не состоялось, исключение из техникума тоже. Он успешно заканчивает техникум и уезжает обратно в Баку, где днём работает в школе, а вечерами учится в Бакинском университете на русском отделении филологического факультета. В его родном доме уже давно живут другие люди. И Илья Габай поселяется в семье очень любимого им двоюродного брата Миши, который, по словам Ильи, «баюкал его детство».

⁴ Поэма «Отчуждение» была помещена в стенной газете историко-филологического факультета МГПИ «Молодость» в 1959 г.

⁵ Якиманка — улица в Москве.

Отсюда, в 1954 году, его призывают в Советскую армию. После того, как он отслужил полный срок, его вызвали в военкомат и выдали «белый билет» — освобождение от воинской повинности в связи с близорукостью. Илья шутил, называя это «еврейским счастьем».

В 1957 году Илья поступает на дефектологический факультет Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Через полтора года он переходит на историко-филологический факультет и заканчивает его в 1962 году. За полгода до окончания института он уезжает работать в сельскую школу на Алтай, приезжая в Москву в отпуск на каникулы и для сдачи государственных экзаменов. На Алтае, в Зелёной Роще — так называется село, где он преподавал, он пишет многие из своих стихов, в том числе цикл «Еврейские мелодии», шутивную поэму «Зиманиана», письма-инсценировки и письма-рассказы друзьям.

В 1963 году он возвращается в Москву и преподаёт русский язык и литературу в 521-й московской школе в Черёмушках, в педагогическом училище, читает лекции на подготовительных курсах Историко-архивного института. Потом уходит на редакторскую работу. В эти годы написана им незаконченная поэма «Книга Иова», над которой он продолжает работать почти до самой смерти. И только отступничество его ближайшего друга, Петра Якира,⁶ предательство им дружбы и идеала свободы, которым поклонялся Илья Габай, прерывает эту работу и делает невозможным для него всякое дальнейшее творчество.

К 1965 году относятся первые вызовы Ильи в КГБ «на беседы» в связи с участием его в демонстрации протеста против ареста писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. С этого момента КГБ не выпускает поэта изпод наблюдения до конца его жизни.

26 января 1967 года Илья Габай был впервые арестован. На этот раз «чужое» горе привело его на демонстрацию на Пушкинскую площадь.⁷

⁶ Якир Пётр Ионович (1923–1982) — друг И. Габая, историк, сын расстрелянного в 1937 г. командарма И. Э. Якира. Узник ГУЛАГа с 14 лет. Автор книги «Детство в тюрьме». Участвовал в правозащитном движении против реставрации культа личности Сталина. Арестован летом 1972 г. по делу о «Хронике текущих событий». Во время следствия по этому делу сотрудничал с КГБ;

⁷ См. «Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22/1–1967 г.» под редакцией П. М. Литвинова. Изд. О. П. И., Лондон, 1968 г.

Его волнует судьба только что арестованных А. Гинзбурга,⁸ Ю. Галанскова⁹ и других, и судьбы многих, кто ещё будет арестован по новой политической статье, введённой в уголовный кодекс страны за несколько недель до этой демонстрации.

4 месяца Лефортовской тюрьмы — и после этого невозможность преподавательской работы до конца жизни.

Друзья помогают Илье устроиться в археологическую экспедицию на работу землекопа. Там, в Кишинёве и на молдавских раскопах, весной и летом 1968 года были написаны им «Волхвы», «Ну как не знать» и стихотворение о Софье Перовской¹⁰ «В последний раз в имени родовом...». Последнюю попытку учительствования, без которого Ильяс очень тосковал, он делает осенью 1968 года, уезжая в глухое село Красногорье под Кинешму Ивановской области.

А между тем обыски в его квартире на Новолесной¹¹ продолжают. Продолжаются и допросы в КГБ. И каждый следующий обыск уносит в его «дело» стихи, статьи, письма-протесты, личные письма.

Зимой и осенью 1968 года написана им большая часть публицистических работ. Они послужили основой для следующего ареста поэта и обвинительного приговора. 19 мая 1969 года Ильяс Габай был снова арестован и увезён в Ташкент, подальше от друзей, родных и иностранных корреспондентов. Приговором Ташкентского городского суда¹² ему было определено три года исправительно-трудовых работ в лагере общего режима. В переводе на обычный человеческий язык это означало: поэт и учитель будет жить среди матёрых уголовников,

⁸ Гинзбург Александр Ильич (1936–2002). Журналист, издатель, правозащитник. Составитель поэтического альманаха «Синтаксис» и сборника материалов по делу Синяевского и Даниэля «Белая книга». Советский политзаключённый. Был обменен на двух советских граждан, обвинявшихся в шпионаже в США.

⁹ Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972). Составитель общественно-политического и литературного сборника «Феникс-66», за что был арестован и на т.н. «процессе четырёх», приговорён к семи годам лагерей строгого режима. Умер в заключении.

¹⁰ Перовская Софья Львовна (1853–1881). Народоволка. Участвовала в покушении на императора Александра II. Повешена.

¹¹ Улица в Москве, где жил Ильяс Габай.

¹² См. Д. И. Каминская. «Шесть дней». Фонд Крым–Нью-Йорк, 1980; Д. И. Каминская «Записки адвоката», изд. «Хроника», Нью-Йорк, 1984 г.

законодателей этого рода лагерей, не будучи никак и ничем защищён от их произвола.

Там, в кемеровском лагере, Илья Габай пишет свою последнюю поэму «Выбранные места...». В марте 1971 года появилась возможность передать поэму на свободу: администрация лагеря дала Илье Габаю одну ночь для свидания с женой. Рукопись поэмы незадолго до этого была отобрана у него в один из лагерных обысков и находилась у администрации. Илья записал поэму по памяти. Он писал всю ночь. Писал на форзацах книг, привезённых ему для чтения.

За два месяца до выхода из заключения поэт был вновь перевезён в Лефортовскую тюрьму на новое следствие по делу № 24 (делу о «Самиздате», о «Хронике текущих событий»). Ему угрожали новым сроком заключения. Но всётаки выпустили из тюрьмы. Однако свобода оказалась той же тюремной цепью, только отпущенной подлиннее.

Работы попрежнему не было, а для бывшего политзаключённого, не раскаявшегося к тому же, и быть не могло. Незадолго до смерти поэта КГБ предложило ему, полуслепому, работу корректора-подчитчика в газете «Лесная промышленность».

Через четыре месяца после «освобождения» Илью вновь начинают вызывать на допросы в КГБ, а после завершения дела № 24 — на «беседы». Вновь и вновь предлагают ему написать раскаяние, признать свои публицистические работы клеветническими, вновь и вновь он отвечает отказом. Ему говорят: без такого заявления никогда не будет другой работы. Кроме того, под угрозой находится его собственная теперешняя свобода, реален новый арест. И не только его, но и его жены.

Измотанный многими годами безработицы, оторванный от любимого дела, без всякой надежды на будущее, истощённый заключением, замученный допросами и добитый предательством, поэт прерывает цепь нестерпимых мучений...

Такова была эта жизнь, оборвавшаяся 20 октября 1973 года. Короткая. Стремительная в радостях и бесконечная в страданиях. Но живут его стихи, живёт в тех, кто его любил, память о нём, живёт в его детях он сам.

Галина Габай

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Трудность

Под тяжестьюгнулись и самые рослые,
Швыряли на снег матюкания жёлчные,
И ветер, холодный и резкий, — нордостовый,
Дарил
Таровато
Глухие пощёчины.
Я видел сердитые, хмурые лица.
Мне тоже хотелось нещадно браниться.
Но трудность — она заключалась не в этом.
Мне трудность была — чтобы жить — не коситься,
Чтоб жить — и не верить домашним наветам,
Остаться собой в незатейливом быте,
И все же не быть здесь цветком чужеродным,
Уметь не копаться в неумных обидах
И помнить о завтра в неважном сегодня.
И чтобы однажды
На зыбкой крутине
Понять, что теперь ты —
Не крохотный лютик.
И чтобы тебя, наконец, наградили
Скупыми улыбками
Щедрые люди.
1958 г.

ЕЩЁ О ПОЭЗИИ

Честь какая!

Беранже

Сиятельный боров плываает в бор,
И, царственно стыд презрев,
Он лепит уборные возле дерев,
Телесен, весел и бодр.

С боярскою грузностью в лужу сев,
Он думает: мир — это тёплый хлев.
Поэтому он так бодр.

Сиятельный боров вступил на ковёр
Дороги, ушитой в грязь.
И он снисходит до грешных нас,
Вступая со мной в разговор.

(Познав, как корыто, вселенский двор,
Он знает, кого отпихнуть — и кого
Зазвать в эту царскую грязь.).

Сиятельный боров: «Ну есть ли толк
В писании вздорных замёт?
Мы — смертны. И даже меня, заметь,
Паяльник и нож увенчают: смерть.

Но если ты сыт и не завтра смерть —
Картошка — в подпольщиках,
Птицей — листок,
Вспорхнувший на целый метр!»

Сиятельный боров сиятельно прав.
«Сиятельство ваше, не в лесть
Скажу вам, что вы — безграничны, как лес,
Глубоки, как корни трав.

Прозрев, я ценю ваш фламандский нрав
И жизненность ваших фламандских телес
(С горчицей!) — скажу не в лесть.

Сиятельный боров! Назад заберу
Былые смешки я. Ужом
Готов я пред вами ползти под дождём,
По лужам, как моль по ковру».

Не сказка ль?! Я, серый, сейчас говорю
С единственным розовым — в этом бору,
Окрашенном в чёрный дождём?!

Сиятельный боров поднимается из лужи,
давая понять, что аудиенция окончена.

8 октября 1962 г. Зелёная Роща

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

А я, закручен как пола,
живу с учётом всех поправок
на жизнь.

А раньше жизнь была
дотошным собираньем правды!

И быть — как быт. И пыл — как бред.
И я живу в простудной вате,
как пешеходы в октябре
плывут в случайном снегопаде.

С привычной поступью пера
и, поступательный, как график,
живу.

А раньше жизнь была
приобретеньем биографий!

Тщеславный двигатель надежд
на назидание и броскость
и — на виду у всех — на день
неоспоримого геройства! —

Тщеславный двигатель — исчез!
И лишь как след его, — порою
моя неправда: честь — не в честь,
герои — вовсе не герои...

И оттого, что цел и жив,
что не страдалось, не томилось, —
мои стихи, как лейтмотив,
как рельс, прорезал горький минус.

И не нашлось в стихах моих
пусть не хвалений — просто нужных
и добрых слов — за ласку их,
за милость их и верность в дружбе.

И вот: ломается хорей,
и слово бьёт не в цель, а мимо.
Так — о друзьях анахорет.
Так — о любимой нелюбимый.

За то, что так, бесславно, жил,
что жил, не рвал, не знал сожженья, —
всё стало горьким и чужим,
как этот трезвый день рожденья.

...Стихи нещадны, как стекло,
как фельетон, кромсают жалость.
А я — добрей своих стихов,
но и слабее их, пожалуй!..

Так что ж? Пройти и близь и даль?
Искать? Устать? И жизни подле

похристарадничать: подай,
яви хотя бы малый подвиг?!

А, может, топкий, как волна,
ломая графики и поступь,
мой день придёт и, как война,
разделит всё на «до» и «после»?..

9 октября 1962 г., Зелёная Роща.

* * *

И быть собой. Собой — и только...

Ну, как не знать!
И всё же — в это лето,
в очередной осмысленный побег,
я поиному ощутил нелепость,
которой жив нелепый человек.

И то — побег! И разве кануть в Лету
и убежать подобия страстей,
когда ни чистых глаз анахорета,
ни мудрости угрюмых рыбарей.

И в эти дни, без воплей, без бравады,
я понял: есть предельная черта.
За ней нельзя нелепость и неправду
встречать опять ужимками шута.

Спасибо, южный город отчуждения,
за равнодушный, праздный твой уют.
Я ощутил до богооткровенья,
что я погиб. Что лето — не спасенье.
Что воробьи и солнце не спасут.

Я в это лето пролистал страницы
пророческих косноязычных книг.
Они открыли мне, как духовидцу:
пророков нет, и ты давно погиб.

Ну как не знать! Но только этим летом,
но только в отчуждении, в этот зной,
я понял: мне отпущен, как поэтам,
лишь выбор между чернью и чечнёй.

И дело здесь, пожалуй, не в утратах,
не в том, что нечто обратилось в прах,
что, прапорщик, блистательный когдато,
ты тянешь лямку в вечных унтерах,
что чтото сбилось и сдалось на милость,
что надо лицедействовать и лгать,
что чтото не сбылось и не случилось
(не написано, надо полагать).

Что всё — из рук, и с тем пребудет, видно,
и так живёшь уже который год,
что жаловаться — книжно и бесстыдно,
а гордость клоунадой отдаёт,
что ты не белой кости и не касты
особенных и что в твоих устах
простая горечь, скорбь Экклезиаста —
расхожий лозунг, чуть ли не устав,

что даже сокровенные идеи —
масонский знак обличья высших каст,
что горстка православных иудеев
потешится, а там — глядишь — предаст,
что спор и крик давно отлились в окрик,
в высокий жест и барственный приказ,
что каждый раз рассказ у нас — апокриф,
что всё давно невесело у нас, —

а в том, что возвращенье к полубедам
заведомо таит в себе побег.
Что не сбежать. Что нет тебе побега.
Что просто ты нелепый человек...

Когданибудь (не вечна же тщета
соединенья бардаков и бардов)
наступит час Нестрашного Суда.
Но ты найдёшь подобие щита:
ты примешь суд с ужимками шута,
со скованной развязностью бастарда...

*29 июня 1968 г.
Кишинёв — Требужены*

ИЗ ЦИКЛА «ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Кому должны? Мы — не должны.
Ну, может, в сток житейский ввязан,
Ты мужем у своей жены,
Как гражданином, быть обязан.

...У смены лет на поводу
Идёт безликая потеря
не только фраз — скудельных душ,
не только жестов — строгой меры.

Неточной, правда... Ниткой шит
гнилой — твоё: «Смешно! Не помню!»
И пьётся, чтоб себя открыть,
как на качелях, до исподнего.

Взрослеют младшие. И гул,
возню ненашенских подножек
осилит наше: «Не могу
молчать». А ты научен. Можешь.

Ты спрятал правду в закрома —
и не от страха, что изымут...
Не спорю: написать роман
труднее, чем уйти из дома.

Не спорю: вздорно и смешно,
воспоминаниям в угоду,
мельчить. Так жить, кругло́, как ноль?
И — без романа? Без ухода?

С уходом в тень? С плетеньем тин?
За четырьмя стенами — с старой
ворчнёй: «Когда бы хоть один,
хоть заваливающий дрейфусарий?»

Взрослеют младшие. Сердясь,
ты им поведаеть: терпенье
в такие годы, как сейчас, —
фермента род и вид сраженья.

Взрослеют младшие, сердясь
на мир, — на это — перемирие.
И вырастут подобьем нас.
Хоть брюки уже, взгляд пошире —

и то мерси. Когда, как мусс,
подслащён кнут — какие Бруты?
Хоть в спину камень — никому,
и то мерси! Мерси за брюки,

за обнадёжу, за посуд,
за страхи — якобы-не-страхи.
Взаимное: не судит суд,
и средь страдальцев — патриарх ты.

А те сочтут за смелый труд
твоё дотошное корпенье
над схемой вязких объяснений
своих бесстыдных амплитуд.

29 марта 1963, Зелёная Роща.

* * *

Лёве Аксельруду

Если вдруг одолеет усталость,
Станет грустно — стихи подсобят.
Очень мало сейчас осталось
Утруждающих мыслью себя.

Мы не те, кто проверенным ходом
Ищет жизнь — чтоб тепла и тиха...
Мы — извечные Дон-Кихоты,
Донкихотствующие в стихах.

И за эти слова — рубаки,
Что умеют, как слезы, душить,
Мы — последние скинем рубахи
Без того небогатой души.

Будем жить. И дороги-годы
Не свернут нас и в стариках.

Мы — извечные Дон-Кихоты,
Донкихотствующие в стихах...

1957 г., Павловская Слобода

МАЛЬЧИКАМ

Перестанут умничать юнцы,
превратятся в практиков и циников
и внесут в анкетные столбцы
продвиженье в чинности и чине,

вступят в караул надёжных вер
верной и неумолимой стражей.
Будет и завет их, и совет
добреньким, проверенным и страшным.

И они юнцам, отвергшим зло,
тем, кто не прощает и плошает,
поднесут площадность точных слов
и — на утешенье — танцплощадность.

(Всё б им беспокоиться, юнцам!
Всё бы мельтешить им и мешать им!)
...Опыт беспощаден к «мудрецам»,
опыт снисходителен к мещанам.

Мир прозревших точен и гранён,
и они охочих до протестов
оглушают истовым враньём,
как истцы на ведовских процессах.

...И опять межуют твердь и хлябь,
составляют табель о пороках...
...Только чтото горше стал их хлеб,
чтото им невесело порою.

Может, потому, что в зону битв
входит с непреложностью и смёткой
память? Та, что с юности «мудрит»,
И «мудрит» до старости, до смерти?!

30 сентября 1961 г.

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Желанна или нежеланна,
Но ты, презрев дневной галдёж,
Как дождь, возникнешь из тумана
И захлестнёшь меня, как дождь.
Как огонёк безлюдной степи,
Меня, обманная, маня,
Ты возведёшь в иную степенъ
Немузыкального, меня.

Меня мелодия завертит,
Как ветер — горсточку золы.
Я буду в этой песне ветра
Песчинкой, поднятой с земли.

Лечу! И значит: вон из кожи!
Вон из себя! Из пустяков.
Из давних, на стихи похожих,
И всё же — якобы стихов.

И мне, песчинке безызвестной,
Звенеть, как струнам камыша.
И в этом созиданье песен
Мне будут все и вся мешать.

Мешать приток чужих эмоций
И громкий чужеродный залп,
И даже этот милый Моцарт,
Что слишком вхож в концертный зал.

Я буду верен новой вере,
Я буду все ломать, менять...
И вдруг пойму, что я — Сальери,
Что ты уходишь от меня...

28 июля 1961 г.

ГОСПОДЬ — САТАНЕ:
«ОБРАТИЛ ЛИ ТЫ ВНИМАНИЕ НА ИОВА...»

Я знаю цену льстивых слов,
Но я хотел бы верить в цену
Затверженных бесстрастных слов.
Не предавай меня, Иов!

Пусть обещание измены
В потоке их бесстыдных слов —
Пускай! Не мне ли знать им цену!
Не предавай меня, Иов!

Ценой предчувствия измен
(В их раболепности вассальной
Всё — почва будущих измен)
Плачу за слабость быть всесильным,
Творить и рушить, чтоб затем

В их раболепности вассальной
Увидеть признаки измен —
И всё за слабость быть всесильным!

В затверженности льстивых слов
Всегда готовность измениться.
Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных льстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!

Я обессилел от чудес.
В минуты слабости всесильной
Я, обессилев от чудес,
Готов идти дорогой пыльной,

Готов принять земную плоть
И на юдоль земного люда
Сменить бессмертие небес,
Предать забвенью чуда,

Забуть самую возможность чуда,
Простить, что в их потоке слов
Не ожидание Христа,
А ожидание Иуды.

Я отдаю возможность чуда
За чудо — хлевное тепло,
И право высшего суда —
За перебранки, пересуды.

Я знаю цену льстивых слов,
Но я б хотел презреть их цену,
Забуть бесстыдство и измену,
Сменить на хлевное тепло,
На перебранки, пересуды
Бессмертье и возможность чуда.

Но, бог и раб бесстрастных слов,
И я не вправе измениться;
Мне остаётся лишь молиться:
«Не предавай меня, Иов!»

1964–1965 гг.

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ
ТАЙНА БИТКОИНА

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

С РОГАМИ И КОПЫТАМИ

Но как, как выглядит этот чёртов биткоин? Он ещё неуловимей, ещё призрачней, чем проклятый коронавирус. Тот, по крайней мере, материален, хотя его тоже не увидать глазом и не пощупать руками. Но в сильнейший микроскоп его всё же можно разглядеть, у него есть какое-никакое, пусть суперкрохотное, тельце, из которого торчат омерзительные рога — их тоже можно увидеть в электронном увеличении и даже сфотографировать. А у биткоина нет ни веса, ни массы, ни высоты, ни длины. Если вы его увидите, то будете сильно разочарованы. Какие-то бледные строчки высыпаются на компьютерный экран — не понять, где они начинаются и где кончаются. Крохотные единички да нолики. И ничего больше ведь там нет, разве что буквы иногда беспорядочно и бессистемно туда ещё вставлены, по крайней мере так кажется с первого взгляда. Да и они, эти строчки — лишь след чего-то другого, происходящего в потустороннем электронном мире. И вот ЭТО, этот невнятный, эфемерный призрак навязывается человечеству в качестве денег новой эпохи? И неужели он может стоить десятки тысяч долларов? Да с какой такой стати?

Людам понадобилось нечто, что могло бы примирить их психику с этой несообразностью. Нечто материальное, понятное, осязаемое. Сначала явился внятный символ — **฿**. Посмотрите на него — по-моему, похоже на латинскую букву B, но с рогами и копытами, разве нет? Поклонники криптовалюты, впрочем, с этим не согласны и уверяют, что это — след двух вертикальных линий, перечёркивающих знак —

а значит, отсыл к доллару США, который биткоин намерен потеснить. Потом придумали знак почему-то наклонить на 14 градусов вправо и вышло вот что: ₿

Но этого было мало, и кто-то создал сувенирные монеты, латунные, а затем даже серебряные и золотые, красивые тяжёлые штуки, евро может позавидовать. Подержать такую монету в руках было очень приятно, она придавала биткоину некий смысл. Монеты те имели и кое-какую материальную ценность — в том числе коллекционную. Но на самом деле они соотносились с настоящими биткоинами примерно, как придуманные фантастами зелёные человечки с где-то наверняка существующими, но неизвестными нам внеземными цивилизациями. В 2011 году появились монеты Casascius — это было уже нечто принципиально иное, попытка соединить виртуальное с материальным, в монете были записаны коды, удостоверяющие реальное владение одним биткоином, который мог соответственно колебаться вместе с курсом самой криптовалюты. Но это всё равно подмена, игра. Монета та играла роль лишь кошелька для настоящего биткоина, но никакого иного финансового смысла в ней не было. Чистая психология — попытка облегчить человеку взаимодействие с чем-то труднопознаваемым, чужеродным и странным.

Но вообще-то если бы меня заставили определить биткоин как можно короче, я бы рискнул сказать: это интернетные деньги. Шифрованный метод перемещения средств в киберпространстве. (Хотя кто-то скажет иначе: технология). Да-да, в итоге это и то, и другое. Но в любом случае эта шифротехнология наделала всемирного шуму.

Создатель биткоина дал своему детищу определение ненамного длиннее моего: «Одноранговая система электронных денег». Но лапидарная эта дефиниция требует множества непростых пояснений. Для начала — что такое одноранговая? С этим нам ещё предстоит разобратся.

И кто он сам, этот сумрачный гений? Тоже призрак? Тоже — лишь символ, не имеющий физического тела и облика? Якобы 36-летний, якобы японец, якобы по имени Сатоши Накамото. 3 января 2009 года он якобы пробежал пальцами по клавиатуре, и самое поразительное явление XXI века родилось на свет. «Бит», понятное дело, это единица измерения информации, а «коин» произошёл от английского слова «coin», монета. В том, что сотворил таинственный программист, было

очень много битов — 31 тысяча линий кода, но никаких, разумеется, монет. Появился на свет и «ник», аббревиатура, которая станет самым употребимым именем в криптокругах — BTC.

Мало кто за пределами узкого круга специалистов обратил в тот момент на произошедшее внимание, а в числе тех, кто его заметил, большинство скептически крутило носами. А тут вдруг является некий самозванец, мутный тип со странным, претенциозным именем — вернее, псевдонимом. И выступает с неслабыми претензиями: что он, ни много ни мало, а создал принципиально новый вид денег для цифровой эпохи. Деньги эти, утверждал он в опубликованной ранее «Белой книге», освободят людей от навязчивого контроля банков и государств, позволят анонимно оплачивать товары и услуги, а также накапливать капиталы и инвестировать их. В общем — полная свобода и неприкосновенность частной жизни! Лозунг этот звучал в унисон господствовавшему в тот момент в мире настроению: в разразившемся всемирном финансовом кризисе общественное мнение винило прежде всего банки, а во вторую очередь — правителей, не сумевших или не захотевших защитить простого человека, но мигом пришедших на выручку жадинам-банкирам.

Тем не менее проект не вызвал восторга у подавляющего большинства экономистов. Я и сам в то время поддался их уверениям, что биткоин — пустое дело, и будущего у него нет. Да и невозможно спорить с фактом: создавать локальные или отраслевые денежные суррогаты пытаются с незапамятных времён, и эти квазиденьги часто провозглашались великими революционными открытиями, но неизбежно заканчивались пшиком.

Ко всему прочему, и настоящее имя своё изобретатель новой валюты скрывает, прячется — то ли шарлатан, то ли изодранный мошенник, нашедший новый способ ободрать наивных и легковерных, рассуждали знатоки. Да пусть покажет своё лицо и раскроет тайну псевдонима. А пока он этого не сделает — есть все основания предполагать худшее, говорил один из самых известных в Британии экономистов.

Я, как и многие, как абсолютное большинство, не поверил в биткоин — и не разбогател, как те немногие, кто поверил. Как, например, юный американец, мальчишка Эрик Финман: в 2011 году он вложил в биткоины тысячу долларов, подаренную бабушкой к 12-летию, и теперь, глядите на него, ходит в мультимиллионерах, важный, как Илон

Маск. Эх, знать бы, какой актив подорожает в сотни или тысячи раз (не говоря уже о миллионах), и можно свой путь не то, что соломкой, а розами или золотом устилать. Но есть, наверно, высшая справедливость в том, что этого, как прикупа в преферансе, не дано знать никому. Угадать можно только по дикому везению.

Первая сделка с биткоином — покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов — была произведена в мае 2010 года. Надеюсь, что программист из Флориды Ласло Хэнич, его друзья и родственники слопали те пиццы с особенным аппетитом, но, подозреваю, что он испортился бы, зная они, что через семь с половиной лет, в декабре 2017 года, стоимость того ланча дойдёт почти до 200 (двухсот!) миллионов долларов. А ещё позднее — в марте 2021, когда будет сдаваться в печать этот текст, приблизится и вовсе к умопомрачительным 400 миллионам. И кто его знает, есть ли цене тех двух пицц хоть какой-нибудь предел...

Ещё одно имя вошло в историю криптовалюты в том же ряду: Джеймса Хауэллза. Этот программист из Уэльса обратился в биткоинскую веру очень рано — прямо в начале того же, достославного 2009 года. Он стал одним из первых «криптошахтеров», освоивших так называемый «майнинг» (к этому термину мы тоже ещё вернёмся) — то есть производство, «добычу», с помощью электронно-компьютерной силы, новых биткоинов. Но вера его была, видно, недостаточно тверда: когда его девушка стала жаловаться на то, как раздражает её компьютерное гудение, он уступил возлюбленной и прекратил это занятие, о чём жалеет до сих пор. Впрочем, он полагал, что «намайнил» уже и так немало: семь с половиной тысяч биткоинов. Хранил он их на жёстком диске своего ноутбука марки Dell. В какой-то момент разобрал его на части, диск спрятал в шкаф. И надолго забыл о нём. Настолько забыл, что через несколько лет, при очередной разборке, машинально выбросил его в мусор вместе с прочим компьютерным хламом. И опомнился только в тот момент, когда цена одного биткоина превысила 500 долларов. Вот тогда он стал мучительно вспоминать, куда делись его электронные деньги, стоившие к тому моменту уже порядка четырёх миллионов долларов. И вспомнил! Но было уже поздно: на общественной свалке в районе города Ньюпорт за минувшие годы накопились тонны и тонны всевозможного мусора, похоронившего компьютерный диск и записанные на нём строчки — нанизывания большого числа букв и цифр. Это так называемые «ключи»

к электронным «кошелькам», в которых «хранятся» (видите, сколько слов приходится ставить в кавычки — ведь всё это лишь сравнения-уподобления чему-то известному нам из нормального быта) те самые строчки кода.

«Ключи» надо как-то записывать — либо электронно, либо на бумаге. Одно из железных правил, которым обучают новичков в мире криптовалют, гласит: «Если вы потеряли ваши частные ключи, вы потеряли и свои биткойны — необратимо и навсегда». Да-да, если вы уронили на улице бумажник или несколько банкнот, есть невеликий, но реальный шанс, что вам их вернут (особенно если вы в Скандинавии). Если вы потеряли кредитную карточку, банк вам её обязательно восстановит и даже, есть шанс, возвратит деньги, которые сумеют снять с неё злоумышленники. Но «ключи» восстановлению не подлежат, ваши электронные деньги будут или пожизненно погребены в эфирных безднах интернета или же похищены мошенником, если тот сумел найти ваши записи, хотя бы на мусорной свалке. Владеть биткойнами — значит просто знать невыносимо длинные комбинации цифр и букв.

КТО ЖЕ ОН?

Но вернёмся к создателю биткойнов. О Сатоши Накамото достоверно известно только одно — такого человека не существует, иначе многочисленные энтузиасты, перерывшие все мыслимые базы данных, давно бы его разыскали.

Он, вроде бы, позиционировал себя как американского японца, но при этом, видимо, давно уже живущего в англо-саксонском мире, стиль его письма и владение языком безупречны. Правда, ещё одна странность — первые его публикации написаны на американском, а более поздние — на британском английском. Из чего напрашивается вывод: это два разных человека. Как минимум, два...

В тот достопамятный день, 3 января 2009, условный Накамото опубликовал программу и создал первый, официально именуемый нулевым блок. («Генезис-блок»). Сотворил первые 50 биткойнов. Первая транзакция между ним и известным программистом Хэлом Финни в июне 2009 года была произведена по курсу 0,0001 — одна десятитысячная доллара (или одна сотая цента) за один биткойн. В блоке номер 70 последний «намайнил» себе 10 биткойнов. Несколько лет спустя он

так вспоминал о своём взаимодействии с Накамото, которого «живьём» так никогда и не видал: «Я понял, что имею дело с молодым человеком японского происхождения, очень умным и искренним. Мне повезло за свою жизнь познакомиться со многими блестящими людьми, поэтому я узнаю их по некоторым признакам».

Как считает кое-кто из знатоков, сам создатель биткоина успел обзавестись почти миллионом (!) электронных «монет». (По другим подсчётам, эта сумма несколько «скромнее» — около 700 тысяч биткоинов). По какому курсу пересчитывать это состояние? Если по декабрю 2017 — то это двадцать миллиардов долларов, по февралю 2021-го ещё почти в два раза больше. Но давайте посчитаем по цене биткоина в момент, когда я сам недолго занимался куплей и продажей электронных монет (исключительно в целях сбора материала для этой книги) девять с небольшим тысяч долларов за штуку. Умножаем, получается между шестью и девятью миллиардами долларов. Тоже неслабо. Но вот что интересно: биткоинов тех он так и не «отоварил» и ни на что не поменял. Ни по какому курсу. Сидел себе на них, как Скупой Рыцарь. Ни себе, ни людям...

Но так или иначе, примерно из 18 с половиной миллионов биткоинов, созданных на настоящий день, почти два миллиона считаются «заснувшими», то есть владельцы ими почему-то очень давно не пользуются, то ли потеряв частные ключи, то ли по каким-то технологическим или личным причинам. Есть и другие подсчёты: по ним получается, что чуть ли не четыре миллиона электронных монет «утрачены навсегда». Сам Накамото когда-то объявил такие утраченные биткоины «пожертвованием в пользу сети». Принято считать, что он и сам делал такие альтруистические дарения для поддержки своего проекта, не исключено, что и весь миллион — или 700 тысяч — тоже были им «усыплены», то есть фактически, уничтожены, во имя благородных криптоанархических целей.

Но даже если забыть о ранней эпохе становления биткоина и обратиться к 2014 году, то выясняется, что с тех пор владельцы 11 крупных «кошельков» не производили никаких оплат, накопив в них больше 270 тысяч биткоинов. Это, конечно, не миллион. Но даже по исторически не самым высоким ценам — миллиарды долларов. Если один из этих «китов» начнёт активно продавать криптовалюту, её цена резко пойдёт вниз, что может заставить включиться многочисленных ботов, которые тоже ринутся в быструю распродажу, потом начнётся общая

и обычная в таких случаях паника, и тогда уже курс биткоина упадёт катастрофически — вплоть до полного краха. Такого рода опасения, кстати, весьма распространены и заставляют пессимистов сомневаться в том, есть ли у криптовалют серьёзное будущее...

...Настал момент, и «Накамото» взял и исчез. Написал на форуме, что решил заняться другими делами. И вот с 2010 года о нём ни слуху, ни духу. Но зато его с тех пор усердно ищут другие. Множество людей. Кто с познавательными целями, из любопытства, а кто, возможно, и с корыстными. Охота за Накамото для многих стала чем-то вроде хобби, если не профессии. Каких только теорий и гипотез на этот счёт не выдвигалось! Какие только люди не объявляли себя создателями биткоинов, то есть «Накамото»! Всех перечислить — места в журнале не хватит.

Самое солидное и интересное расследование провёл, на мой взгляд, профессор журналистики Нью-Йоркского университета Адам Пененберг. Во-первых, он рассмотрел гипотезу Джошуа Дэвиса, пытавшегося доказать, что Накамото — это 23-летний Майкл Клир, и показал её безосновательность. Но он использовал кое-какой интересный материал, собранный Дэвисом. Например, интервью со знаменитым Дэном Каминским — великим, знаменитым антихакером. Свой талант тот использует для защиты компьютерных сетей от злоумышленников. Он находит слабые места, показывает, как ими могут воспользоваться мошенники, и помогает эти бреши заделать. Считается, что в своё время чуть ли не весь интернет спас, когда возникла опасность, что им может завладеть некий зловещий хакер. Каминский был уверен, что запросто взломает сеть Накамото, настолько на первый взгляд уязвимой казалась эта структура. После многих дней напряжённой работы с применением большого числа мощных компьютеров, Каминский нашёл девять слабых мест. Но когда он пытался туда вторгнуться, то каждый раз наткнулся на прочный заслон. А на экране монитора появлялись слова: «Нападение отбито». Каминский говорит, что это был шок: ни до, ни после он не встречал ничего подобного. И намекнул, что возможно, за созданием такой гениальной сети должны стоять несколько необычайно талантливых и умных людей. Ведь для того, чтобы сотворить нечто подобное, надо быть не только программистом высшего класса, досконально, до тонкостей, владеющим программным языком «C++», но и обладать глубочайшими по-

знаниями в области криптографии, экономики и строительства одноранговых виртуальных сетей. И ведь сколько лет прошло с момента создания сети биткоина, а взломать её так никому и не удалось, а уж в том, что лучшие хакерские умы трудились над этим долго и больно и продолжают трудиться и по сей день, можете не сомневаться. Удивительный феномен в зыбком виртуальном мире, где никто и никогда не чувствует себя в безопасности...

Профессор Пененберг вспомнил об этом намёке Каминского, когда перешёл к следующей стадии своего расследования. А именно: он стал выбирать отдельные, необычные, редко встречающиеся словосочетания из «Белой книги» и постов Накамото на форумах и так далее, и вбивал их в поисковик Гугла, причём ставил эти фразы в кавычки, чтобы поиск находил только буквальные совпадения. Надежда была на то, что Накамото мог выдать себя в какой-нибудь другой публикации, под другим, возможно, своим подлинным именем. Ведь людям свойственно повторять показавшиеся им удачными формулы в разных публикациях и жанрах. Долго ничего толком не находилось, кроме прямых или косвенных цитат из работ Накамото, касающихся биткоина, как вдруг... Бинго! Диковатая фраза «computational lyimpractical to reverse» («вычислительно практически невозможно развернуть в противоположную сторону») обнаружилась в документе, вроде как никак с биткоином не связанном — в описании патентной заявки, поданной, между прочим, 15 августа 2009 года, то есть за три дня до того, как был зарегистрирован накамотовский домен Bitcoin.org!

Авторами той заявки на изобретение «Обновления и распределения ключей шифрования» числились трое: обитатели Мюнхена Нил Кинг (Neal King) и Чарлз Брай (Charles Bry), а также живущий в США Владимир Оксман (Vladimir Oksman). Все они оказались очень замкнутыми людьми, не светящимися в соцсетях и избегающими публицити, про которых мало что можно было выяснить. Но в итоге все трое категорически отрицали свою причастность к биткоину. (Причём Нил Кинг даже высказал серьёзную критику самой концепции криптовалюты). Тем не менее Пененберг считает, что его изыскания указывают на весьма высокую вероятность того, что он нашёл людей, скрывавшихся за псевдонимом «Накамото». Вероятность гораздо более серьёзную, чем все другие предположения. Но вероятное — не есть доказанное. И, будучи в высшей степени ответственным расследова-

телем, он готов признать, что его гипотеза остаётся лишь гипотезой, хоть и весьма правдоподобной.

МЯТЕЖНИКИ И ПОДРАЖАТЕЛИ

1 августа 2017-го от Биткоина (с большой буквы) отделился Биткоин Кэш (Bitcoin Cash). Сепаратисты устроили «форк» (от английского fork — вилка, развилка, ответвление). Так называется использование кодовой базы одного программного проекта для создания другого. Или радикального изменения параметров программы с тем, чтобы она приобрела иные, устраивающие большое число пользователей свойства.

Они учинили мятеж и устроили настоящий, жёсткий «форк». То есть: от основного потока отделился достаточно мощный рукав, превратившийся в отдельную «реку». У которой оставался общий с главной водной артерией исток, но было уже совсем отдельное будущее и новое русло. Прошло не так уж много времени, и от Биткоин Кэш «отпочковалась» ещё одна криптовалюта Bitcoin SV. Организаторы этого форка претендуют ни много ни мало на то, что именно их детище в наибольшей степени соответствует тому видению криптовалютного будущего, которое должен бы разделять сам Накамото. (SV в названии расшифровывается как Satoshi's Vision).

Я поразился, когда узнал, что в мире сейчас уже... более пяти с половиной тысяч разных криптовалют с общей капитализацией, превышающей 250 миллиардов долларов. Зачем столько-то? Но если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, как писал Маяковский. Мало того, то и дело загораются новые. Уильям Макинтош на сайте medium.com опубликовал подробную инструкцию о том, как за десять минут создать свою собственную криптовалюту. Её монеты не будут стоить ничего, предупреждает он, но их можно продавать или дарить через Meta Mask — комбинацию электронного кошелька и расширения браузера, позволяющую совершать транзакции через блокчейн Эфириума. *(блокчейн — непрерывная цепочка блоков, содержащая все данные о сделках. Изменить или удалить данные невозможно, можно лишь добавить новые).*

В любом случае первопроходец Биткоин по-прежнему король, которому вольно или невольно отдают честь все остальные. Недаром они, эти остальные, не-биткоины, так и называются — Altcoin, альтернатив-

ные монеты. И недаром их курс колеблется в основном «в такт» колебаниям цены прародителя.

О всех о них рассказывать нет смысла, на мой взгляд, самые интересные — это Эфириум (Ethereum), Риппл (Ripple — XRP), Тезер (Tether) и Лайткоин (Litecoin).

Красоту и новаторство созданной Эфириумом криптоархитектуры невозможно отрицать. Кто же кудесник, сотворивший такое чудо?

Он родился в подмосковной Коломне, и зовут его Виталик Бутерин. Да, да, именно так, никакой не Виталий Дмитриевич, а только Виталик — под этим «домашним», ласковым прозвищем он неизменно фигурирует и в СМИ, и даже профессиональных и научных трудах. Нескладный, с глубоко посаженными глазами и оттопыренными ушами, одетый в джинсы, а то и чёрные тренировочные штаны и непритязательные футболки, он носит часы с пластиковым ремешком. В общем, мало похож на магната. Но всё это часть его имиджа — этакого простого, рубахи-парня, представителя поколения компьютерных гениев, каких-то чуть ли не хиппи, как бы не от мира сего. Но на самом-то деле впечатление обманчиво: Бутерин из породы прирождённых и достаточно жёстких лидеров, умеющих и денежки считать, и твёрдо держать в руках свои на первый взгляд богемные и даже слегка инфантильные коллективы. Иначе как бы они могли достичь такого колоссального успеха и, главное, не растерять его на протяжении многих лет? Но вряд ли можно ставить под сомнение и идеализм Бутерина, принадлежащего к числу так называемых «шифропанков» — ярых (иногда до фанатизма) приверженцев приватности электронных коммуникаций, а значит и идеи неприкосновенности частной жизни. Но в интервью Financial Times он с горечью говорил о том, что на смену идеалистам, считавшим создание криптовалют способом отобрать власть у корпораций и правительств и отдать её людям, всё чаще приходят меркантильные типы, которых не волнует ничто, кроме денег. Бутерин говорит, что с тревогой наблюдает, как его блокчейн заполнили такие охотники за лёгкой наживой.

Сам он, конечно, тоже далеко не беден, но поражает журналистов своим явным равнодушием к материальным благам. У него даже нет постоянного места жительства. «Сейчас я просто шатаюсь по свету», — цитирует его британская газета. А где он оставляет свои вещи на время разъездов? Бутерин показывает корреспонденту ярко-розовый вещевой мешок, набитый футболками. Но разве у него нет

книг? Ну конечно есть, как же без них, вот они — он показывает свой Android. Он шефствует над несколькими благотворительными фондами, которым жертвует немало денег, помогая голодающим Восточной Африки и «Фонду Мафусаила» Обри ди Грея, ищущему «лекарство от старения».

Бутерин создавал Эфириум не в одиночку, у него были соратники и кое-кто из них сумел заработать на этой криптовалюте больше него. Но и широкая публика, и инвесторы прочно ассоциируют Эфириум именно с ним. Доказательство этому нашлось, когда в соцсетях появились фэйковые сообщения, что Виталик... убит! В сообщения поверили — ведь, как у всякого феноменально успешного предпринимателя, у него хватает врагов. И что бы вы думали? Курс Эфира тут же катастрофически пошёл вниз, а капитализация всей системы упала аж на четыре миллиарда (!) долларов.

Разговоры о несостоявшемся покушении наводят на мысль о другом знаменитом шифропанке и криптоанархисте по имени Росс Ульбрихт. Бутерин явно расстраивается, когда слышит это имя: не исключено, что он видит в нём чуть ли не своё альтер эго, почти себя. Но себя, сбившегося под давлением неких обстоятельств или личных качеств с праведного пути. Собрата, вдруг уклонившегося в сторону от основной дороги и потерпевшего в результате полную жизненную катастрофу, да ещё и ставшего символом тёмных сторон мира криптовалют. А ведь начинал Ульбрихт с тех же позиций — горячей проповеди свободы частного выбора, защиты его от тяжёлой руки государства и корыстного диктата банков и больших корпораций. То есть шёл тем же либертарианским путём, что и Бутерин, и сам, может быть, не заметил, как устроил из своей жизни «жесткий форк»: создал печально знаменитый «Шёлковый Путь», виртуальный «чёрный рынок», скрытый в глубинах анонимного даркнета «Тор». На этой торговой платформе с помощью биткоинов продавались и покупались наркотики, в том числе и самые тяжёлые, и другие запрещённые в нормальных государствах товары и услуги. Например, фальшивые документы. И даже смертоносные яды.

Ульбрихт не только создал «Шёлковый Путь», но и активно руководил им, решая, чем можно там торговать, и беря с каждой сделки солидный процент. Когда кто-то захотел продавать рицин, у его помощника с ником «Иниго» возникли сомнения на этот счёт, у «этой штуки» сообщил он шефу, «дурная репутация». Ведь у рицина практически

нет иного применения, кроме тайного убийства человека (он в шесть тысяч (!) раз ядовитее цианистого калия).

За этим последовал такой диалог, обнаруженный ФБР на ноутбуке Ульбрихта:

УЛЬБРИХТ: *Я думаю, мы разрешим это... Это ведь (запрещённое) вещество, а нам лучше ошибиться в пользу разрешения, чем ограничения.*

ИНИГО: *Это, в конце концов, чёрный рынок.*

УЛЬБРИХТ: *Вот именно, и мы приносим туда порядок и цивилидность.*

ФБР практически случайно вышло на Ульбрихта. Причём сотрудники ведомства не до конца были уверены в том, что именно он — великий и ужасный Dread Pirate Roberts, творец «Шёлкового пути». Были лишь основания подозревать, что имеется связь между ним и нелегальной торговлей наркотиками в интернете. А сам Ульбрихт был уверен, что абсолютно надёжно зашифрован, скрыт под множеством слоёв так называемой «луковой маршрутизации» — анонимной сети виртуальных туннелей, протянувшихся через разбросанные по всему миру прокси-серверы, обеспечивающие надёжно закодированную передачу и получение данных. И что расшифровать его невозможно, а специально разработанная программа надёжно сотрёт все компрометирующие его записи на ноутбуке, да так, что никакие эксперты ничего восстановить не смогут. Для этого ноутбук работал постоянно в таком режиме, что стоило ему мгновенно, резко выключиться — для чего было достаточно просто захлопнуть его — и всё, ничего не прочтешь, сколько ни анализируй жёсткий диск.

Но специалисты ФБР догадывались об этом.

2 октября 2013 года Ульбрихт спокойненько работал, уткнувшись в свой ноутбук среди таких же безобидных по виду, как он, посетителей публичной библиотеки Сан-Франциско. Трудно было догадаться, что этот малоприметный молодой человек, пробегая пальцами по клавиатуре своего компьютера, управляет самым высокодоходным и самым одиозным порождением теневого интернета. Вдруг он услышал за собой звуки шумной, громкой ссоры. Не удержался от того, чтобы обернуться и посмотреть: кто это так разнузданно ведёт себя в прибежище тишины и знаний? И в то же мгновение пристроившийся рядом незнакомец молниеносным движением толкнул раскрытый ноутбук Ульбрихта в сторону соседнего стола, за которым находился

ещё один тоже ничем не выделявшийся посетитель, тут же подхвативший аппарат — половины секунды не хватило Ульбрихту, чтобы его захлопнуть и тем самым уничтожить все улики против себя!

С помощью данных, сохранившихся в ноутбуке и полученных с одного из серверов, ФБР удалось доказать, что Dread Pirate Roberts и Росс Ульбрихт есть одно и то же лицо. И что именно он и создал «Шёлковый путь», и управлял им. Биткоины играли ключевую роль в работе нелегальной платформы. Десятки тысяч биткоинов были конфискованы в несколько приёмов правоохранительными органами в результате ареста сайта. И ещё больше — 144 тысячи, принадлежавших лично Ульбрихту, было найдено на пресловутом ноутбуке. В тот момент они стоили около 87 миллионов долларов. (В наши дни эта сумма увеличилось бы во много раз и на пике могла бы составить более пяти миллиардов).

С февраля 2011 года по июль 2013 года на сайте было совершено около одного миллиона трехсот тысяч транзакций. Общая выручка от этих продаж составила девять с половиной миллионов биткоинов, а общая комиссия, собранная «Шёлковым Путём» с этих продаж — более шестисот тысяч биткоинов. По курсу того времени эти цифры эквивалентны приблизительно 1,2 миллиардов долларов и 80 миллионам долларов соответственно. Согласно информации, предоставленной пользователями при регистрации, 30 процентов из них были из США, остальные — из Великобритании, Австралии, Германии, Канады, Швеции, Франции и России.

Но юный миллионер-миллиардер жил более чем скромно — в съёмной комнате, в квартире, которую делил ещё с несколькими ничего не подозревавшими айтишниками. Те легко принимали его за своего — да он и был, в каком-то смысле таким же, как они. И одевался так же небрежно. И вообще мало интересовался материальными благами — ну прямо как Виталик Бутерин. А какое же было у Ульбрихта симпатичное лицо, какая открытая, искренняя, привлекательная была у него улыбка. Какие интеллигентные, милые и симпатичные, были у него родители. Они, кстати, долго отказывались верить, что их добрый, отзывчивый, доброжелательный сын мог оказаться одним из самых разыскиваемых в США преступников. Когда на суде адвокат от его имени признал его организатором «Шёлкового пути», со всеми вытекающими из этого выводами, они испытали острейший шок.

Суд приговорил его к двум пожизненным срокам тюремного заключения без права помилования за организацию преступного предприятия, торговлю наркотиками, отмывание денег и хакерство. Предъявлялись ему также и обвинения в попытке организовать убийство пяти человек, которые, судя по всему, так и не были осуществлены в реальности. Но именно эти обвинения особенно расстраивают Бутерина: как единомышленник, шифропанк, либертарианец мог дойти до такого — убийц нанимать? — поражается он.

«АМЕРИКАНЦЫ РЕВОЛЮЦИИ НЕ ДОПУСТЯТ»

Ни в одной из моих книг на экономические темы я не обошёлся без интервью с Мартином Вульфом — главным экономическим обозревателем лондонской «Файнэншл таймс», блистательным и всемирно известным экономистом. Мой самый любимый из его парадоксальных афоризмов звучит так: «Деньги — это самый коллективистский, самый «социалистический» институт, из всех, что придумало человечество». Хотя, говоря серьёзно, он вовсе не утверждает, что кто-то конкретный на самом деле деньги изобретал, это был долгий, сложный и стихийный процесс. То ли дело Биткоин...

Но Вульф признавать криптовалюту деньгами явно не собирается. Он видит возможность их практического применения в долгосрочном плане лишь в очень ограниченной области, да и то весьма сомнительной. А именно: крипто — удобный инструмент для анонимной торговли наркотиками, для отмывания нажитых преступным путём средств и так далее. Деньгами же в полном смысле этого слова ни биткоин, ни альткоины, убеждён он, стать не смогут никогда. Почему?

«Во-первых, они не могут быть общепринятым средством оплаты товаров и услуг — поскольку далеко не все готовы их принимать, большинство отказывается с ними связываться. Во-вторых, криптовалюты по сути своей нарушают главные банковские правила и прежде всего великое — «знай своего клиента». В-третьих, как store of value — то есть способ сбережения и накопления — криптовалюты тоже не работают из-за своей экстремальной волатильности и нестабильности. Четвёртое: их дорого и сложно производить, а значит, они не смогут служить растущей экономике. Пятое: Количество мошеннических операций и воровства, связанного с криптовалютами, неизбежно будет отпугивать от них законопослушных граждан. Шестое: отсутствие «естественной» (монопольной) стоимости, свойственной государственным

(фиатным) деньгам, означает, что криптовалюты не могут быть использованы для уплаты налогов и никогда не станут «*legaltender*», то есть не будут признаны законным платёжным средством».

Правительства, уверен Мартин Вульф, ни при каких обстоятельствах не позволят криптовалютам конкурировать с официально санкционированными деньгами и свободно работать на рынке. Таким образом, они обречены остаться незаконным, в лучшем случае полужуридическим, средством платежа, а потому ни банки, ни крупные компании никогда не согласятся признать их в этом качестве. Тем более, что, ко всему прочему, нет никакой прозрачности в том, как крипто работают.

Я спросил Мартина, а как насчёт замороженной и пока ещё далёкой от реализации криптовалюты Фейсбук — под названием Либра (*Libra*), переименованной недавно в *Diem*? Марк Цукерберг и его люди так здорово, вроде бы, всё это придумали. Проектом должен был руководить авторитетный орган (ассоциация), в состав которого вошли бы представители самых крупных и уважаемых компаний и корпораций. Предполагалось, что курс Либры-Диема будет прикреплен к корзине валют (доллары, евро, йены, фунты) а также подкреплен резервами казначейских облигаций США. Учитывая мощь этой крупнейшей в мире социальной сети, с её более чем двумя с половиной миллиардами активных пользователей, у её криптовалюты есть, разумеется, колоссальный потенциал. Видимо, даже слишком большой — по мнению Мартина Вульфа такой «*кит*» способен перебалламутировать весь мировой финансовый океан. «*Либры не будет*, — говорит он, — потому что она могла бы устроить на Форексе полный хаос — все правила будут подорваны, они утратят ясность». С другой стороны, рассуждает он, если бы Фейсбук превратил свою криптовалюту в платёжные токены, на 100 процентов привязанные к доллару, и держал бы при этом резервы в ФРС — американском центробанке, то Либра-Дием могла бы отлично функционировать — в качестве внутренней платёжной системы в сети. Китайская *Alibaba Group* имеет такую систему, привязанную к юаню, и она успешно работает. «*Такую Либру, ставшую фактически деноминацией доллара для использования внутри Фейсбука, американские власти могли бы разрешить*», — полагает Мартин.

Ещё один великан, пытавшийся создать свою собственную криптовалюту и собравший для этого огромные инвестиции — это мессенджер Телеграм (*Telegram*). У него более 200 миллионов активных пользователей, и он имеет репутацию самого удобного средства электрон-

ного общения, обмена информацией, публикациями и всевозможными файлами. К тому же сервис обеспечивает сверхнадежную анонимность и защиту от государственного вмешательства. Тот факт, что несколько государств, включая Россию, пытались Телеграм запретить, но потерпели в этом полное поражение, только укрепил почти культовый статус мессенджера. Понятно, что у его крипто в теории тоже был огромный потенциал. Недаром инвесторы выстраивались в очередь, чтобы заранее, ещё до запуска сети Тон и её электронных монет Грам, в них вложиться. Запросто, без особых усилий, создатель и владелец Телеграма Павел Дуров собрал 1,7 миллиарда долларов. Но инвесторов и самого Дурова ждало жестокое разочарование. Сила доллара США в нашем мире по-прежнему такова, что без благоволения американских финансовых властей столь крупному и важному проекту не преуспеть. Федеральная комиссия по ценным бумагам не дала отмашки, а суд и вовсе своим постановлением остановил появление сети ТОН на свет, а значит, не будет и токенов Грам.

Мартин Вульф не удивлён этому решению. Причина всё та же — угроза, которую подобная валюта представляла бы для американской, а значит, и мировой финансовой системы. «Власти США не допускают подобной революции», уверен он.

Но почему, в таком случае, миллионы людей верят в крипто? «Ответ очевиден. Во-первых, на протяжении всей истории человечества люди не могли отказаться от мечты быстро разбогатеть. Во-вторых, это — новая, интересная технология, она интригует любознательных, в-третьих, многих привлекает идея свободы от государства, одноранговой финансовой системы, основанной на взаимодействии равноправных участников», говорит Вульф.

Главный экономический обозреватель Financial Times приходит к выводу: «Пока государство существует — а оно не собирается никуда исчезать — его двумя главными функциями будут: во-первых, оборона и, во-вторых, поддержание финансовой стабильности. Государство ни за что не допустит, чтобы эта стабильность оказалась под угрозой. А ведь именно этим чревато широкое внедрение криптовалют».

Доводы Мартина Вульфа звучат, как всегда, убедительно. Да и не он один в числе скептиков, категорически не верящих в будущее криптовалют. «Пустое дело», так примерно, можно резюмировать позицию одного из самых уважаемых экономистов мира Нуриэля Рубини. Но, вдруг пришла мне в голову мысль: а что, если человечеству на роду

написана деволуция? То есть государство в его нынешнем виде начнёт постепенно растворяться, всё больше уступая функции управления местным органам власти и низовым общественным организациям? Ведь некоторые социологи предрекают нечто подобное. Разве не окажутся в таком случае криптовалюты, в первую очередь, Биткоин и Эфириум, идеальными кандидатами на роль межобщинных, децентрализованных денег? Даже не стал спрашивать об этом у Мартина Вульфа — всё же он известен, как не подверженный благостным фантазиям реалист, твёрдо стоящий обеими ногами на почве сегодняшнего дня, не доверяющий утопическому прожектёрству. А идея о превращении крипто в идеальную валюту будущего, «децентрализованного» человечества, пока всё же похожа на утопию.

С чем уж точно спорить сложно, так это с тем, что криптовалюты нельзя в их нынешнем виде считать универсальным платёжным средством, а значит, и полноценными деньгами. Но ведь напрашивается ещё одна идея, о которой многие уже пишут и говорят: что крипто и, в первую очередь, биткоин, начинают напоминать нечто другое. Не могут ли они стать заменой золоту в новую, цифровую эпоху?

На протяжении многих тысячелетий жёлтый металл служил инструментом обеспечения и гарантирования стоимости денег, а в новые времена стал прибежищем, укрытием для сбережений, напуганных войнами, экономическими кризисами и другими потрясениями людей. То есть часто исполнял, и по-прежнему исполняет, роль того самого сокровища. В последние годы, правда, всё чаще звучат голоса, утверждающие что золото — анахронизм. Его приходится перемещать и хранить в тяжёлых и громоздких слитках, занимающих много места и требующих дорогостоящей охраны. Самый знаменитый инвестор мира Уоррен Баффет смеётся над нелепым занятием: приходится «копать яму, вытаскивать из-под земли груды металла, вести эту груды за тридевять земель, там опять выкапывать яму, прятать туда этот металл и заставлять людей охранять ту яму днём и ночью».

То ли дело биткоин. Ни прятать, ни охранять его не нужно, всё это делается автоматически-криптографически, он делим и однороден, а уж портативность его настолько абсолютна, что ни с каким физическим предметом просто не сравнишь! Не имея физического тела, он и не может «портиться». Через компьютер он может существовать (мгновенно «нарисоваться») в любом уголке мира, где есть интернет. Количество этой криптовалюты тоже ограничено (ещё строже чем зо-

лота, но в этом, правда, есть и отрицательная сторона). Его тоже всё труднее и дороже «добывать». В общем, разве не обладает он всеми качествами, чтобы играть роль сокровища, хранителя богатства, стоимости-ценности в наши непростые времена? Есть все предпосылки для того, чтобы биткоин при всей волатильности продолжал расти в цене.

Теоретически его курс может уже при нашей жизни достигнуть астрономических высот. Очень многие в это верят, исходя из того, что количество монет строго ограничено. Когда их будет произведён 21 миллион, дальнейший майнинг станет невозможным. При этом, напоминают поклонники творения Накамото, в мире 36 миллионов миллионеров и миллиардеров, (по данным Credit Suisse), коллективный капитал которых колеблется в районе 130 триллионов (!) долларов. Эти богатеи часто не знают, куда вложить свои деньги. Если они решат держать всего лишь 1 процент средств в биткоинах, цена единицы этой криптовалюты может взлететь выше 60 тысяч долларов за штуку, а если 10 процентов — то и 600 тысяч. Но это в том случае, если большая масса людей будет свято верить в ликвидность биткоина, в возможность легко и быстро обменять его на другие денежные знаки. И ещё при условии, что государства, прежде всего США, не испугаются могущества криптовалюты и не решат её уничтожить.

Некоторые крипто, чтобы обеспечить себе стабильность и привлечь серьёзных и осторожных инвесторов, норовят прикрепиться к самым сильным традиционным валютам (так называемые «стейбл коинз», такие, как уже упоминавшийся Тезер). Но что, если биткоин, преодолев свою волатильность, действительно покажет себя достойной заменой золоту? Не может ли в таком случае произойти обратного: не криптовалюта будет привязана к фиатным деньгам государств, а наоборот, они — привяжутся к биткоину? По модели золотого стандарта, на протяжении многих десятилетий верой и правдой служившей мировой финансовой системе, обеспечивая её феноменальную стабильность, сдерживая инфляцию и содействуя развитию международной торговли. Ведь до сих пор немало экономистов, в том числе и весьма именитых, тоскуют по той стабильности и предсказуемости.

Большинство серьёзных экономистов убеждены, впрочем, что золотой стандарт — пережиток прошлых эпох, и что он сыграл роковую роль во времена Великой Депрессии. Жёстко фиксируя цены, он часто усиливал экономические колебания, в конечном счёте, в худшую сторону. Сторонники этого взгляда приводят в качестве доказательства

тот факт, что с 1880 по 1933 год Соединённые Штаты пережили как минимум пять полномасштабных банковских кризисов, а за последние 87 лет их было всего два. Считается, что в этом во многом был виноват именно он, золотой стандарт. Если они правы, то в новом эквиваленте подобного универсального эквивалента всех мировых валют нет нужды.

Криптоскептиком называет себя и другой всемирно известный экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман. Он считает, что цены на биткоин растут, потому что это «некая причудливая технологическая штука, которую никто на самом деле не понимает». И продолжает: «Ценность криптовалют не имеет никакой связи с реальностью. Она полностью зависит только от ожиданий, а это значит, что тотальный коллапс — реальная возможность. Если однажды спекулянты испытают коллективный момент сомнения, внезапно испугавшись, что биткоин потеряет всю свою ценность, то именно это и произойдёт».

Однако надо отдать ему должное: он соглашается, что может и ошибаться в своём анализе и отрицательном прогнозе. Цитата: «Могу ли я оказаться неправ? Конечно».

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

Я попробовал провести эксперимент на себе и купить и продать криптовалюту. Вложил я всего ничего — несколько сотен долларов. Перепробовал полтора десятка вариантов, под конец выдохся и чуть было не сдался. Всё дело в жёстких правилах и ограничениях, наложенных на торговцев криптовалютой международными финансовыми органами, а также в стремлении защититься от хакеров и мошенников. Судите сами: при попытках зарегистрироваться на сайтах популярных электронных бирж я из раза в раз получал отказ, хотя действовал вроде бы строго по инструкции. Часто возникала фраза: «Oops. Something went wrong on our side. Please try again». То есть извините, но что-то у нас пошло не так. Попробуйте ещё раз. И я пробовал и пробовал, и пробовал. С тем же результатом. На других сайтах получал ответ: not enough authority. Авторитет у тебя, мужик, дескать, недостаточен. Или можно перевести по-другому: у вас, сэр, нет права на запрашиваемые действия. Третий сайт торжественно сообщал мне: «выполняется вход». Кружочек вертелся равномерно и бесконечно, минуты шли за минутами, но ничего в итоге не выполнялось. Я отключался, начинал всё сызнова — с тем же результатом. И так много, много раз. Чет-

вёртый вроде бы меня зарегистрировал, но потом потребовал billing address — то есть адрес, по которому надо отправлять счета и инвойсы. Но когда я в соответствующем окошке этот адрес писал, то неизменно на экране появлялась странная фраза: «JWT token doesn't support there quired score». Она возникала снова и снова, и я уже в исступлении кричал на ни в чём не виноватый компьютер: «Но нет, нет у меня к чёртовой матери вообще никакого токена, ни то, что JWT — что бы это ни значило — а вообще никакого! Как же он может быть недостаточного масштаба, если у меня его просто нет — никто мне его не дал!».

Два дня спустя, потерпев полное поражение на солидных биржах и сайтах, я решился попытать счастья в так называемых «обменниках». Хотя понимал, что это дело, возможно, и стремное, ведь кто их знает... Вспомнил пословицу: «где родился, там и пригодился» и выбрал для начала российский, расположенный в Москве. Зарегистрировался, выполнив многочисленные, достаточно трудозатратные условия. Попытался перевести туда 300 английских фунтов стерлингов, сообщив для этого все данные своей британской кредитной карты. Опять крутился шарик. А потом появилась надпись: *Hi Andrei, Your GBP 300.00 order has been canceled until we receive your payment.* Дескать, ваш заказ аннулирован до получения денег. Но других способов, как оплатить дистанционно покупку, я не знал. Шарик покрутился ещё немного и известил окончательно и бесповоротно: ORDER CANCELED.

Я после этого волновался несколько дней: не снимут ли все же деньги с карты просто так, без всяких биткоинов — ведь могли бы. Но вроде бы не стали этого делать. Честные попались мужики... (Я проверял — владельцы того обменника — точно представители сильного пола). Честные, но несговорчивые.

После этого я решил виртуально переместиться в Германию. В одном из обменников от меня потребовали, чтобы я написал на листе бумаги чёрным фломастером, крупным шрифтом, что я знаком с правилами заведения и обязуюсь их исполнять. А потом снялся бы с этой надписью, а также своей кредитной картой в руках. Но достичь требуемого формата и качества фотографии мне никак не удавалось. Плюнул, перешёл к другому обменнику в той же стране. Там тоже требовалась надпись похожего содержания, плюс дата, а также паспорт. Только с шестой попытки удалось сняться так, чтобы паспортные данные ясно читались. Но этого оказалось мало. От меня потребовали, чтобы я чётко, ясно, с расстановкой прочитал перед камерой довольно

длинный текст по-английски (но обязательно без запинки), при этом я должен был держать в руках и паспорт, и кредитку. Я попробовал, это оказалось совсем непросто, какой-то акробатический этюд. Я подумал, что это уже чересчур, на достижение требуемого могут уйти часы, а потом от меня, возможно, потребуют чего-нибудь ещё более сложного, например, исполнить полонецкую пляску, бодро подбрасывая документы и платёжные средства в воздух, но так, чтобы все буквы и цифры были бы чётко видны. А потому я электронно откланялся.

На следующее утро решил сделать ещё одну, последнюю попытку — и если не получится, то сдаться, ну не судьба, что же поделаешь. Последняя попытка, впрочем, оказалась удачной. На этот раз я обратился к таллиннскому обменнику, там тоже не всё получалось с первого раза, но всё же до абсурда эстонские требования не доходили и, главное, если я в чем-то ошибался, то тут же получал доброжелательное и ободряющее электронное письмо, чётко объясняющее, в чем недостаток. И не успел я опомниться, как в одном из моих горячих кошельков засверкал оранжевым золотом исключительной красоты кружочек с наклонённой под углом 14 градусов заветной буквой «P». Купил я его по курсу 7656 долларов. Три майнера должны подтвердить транзакцию, чтобы она считалась действительной и была бы навсегда занесена в реестр блокчейна. Говорят, иногда этого приходится ждать часами, а то и днями: в моём случае это произошло минут через двадцать. Через три дня курс поднялся до восьми с половиной тысяч. А потом опять стал опускаться... Но я решил держаться твёрдо и довести эксперимент до конца — ведь я пустился во все биткоиновские тяжкие лишь ради обретения нового опыта. То есть, выражаясь на криптовалютном жаргоне, я решил ходить (HODL).

Интересно, что вложить деньги, не покупая биткоинов, а сделав ставку на рост его курса, оказалось гораздо, несравнимо проще. Почему-то таких кошмарных усилий для деривативной торговли не требуется. Заполняешь обычную анкету, адрес, имя, фамилию, паспортные данные, номер кредитки. Указываешь сумму, которую хочешь поставить — и готово. Минут за 10 можно управиться, а то и меньше, и никаких плясок и декламаций. Я сделал это сначала на одной бирже, но в тот момент курс стал стремительно падать и я, перепугавшись, поспешил закрыть позиции. А зря, курс вскоре выровнялся, а потом и пошёл вверх. Тогда я вложился с двукратным плечом в другую биржу и там много дней как загнипнотизированный следил, как каждые

несколько секунд перескакивали циферки, показывая, как размер вложения то падает, то растёт. Завораживающее зрелище!

И вот вдруг, когда я уже заканчивал эту главу, пришла сенсационная новость: Накамото вернулся! Ну или по крайней мере 40 монет, созданных в самые первые недели существования биткоина, вдруг были переведены из некоего кошелька (возможно, принадлежавшего отцу-основателю) в чей-то другой кошелёк. Правда, математически продвинутые криптовалютчики вроде бы сумели определить, что это скорее всё же не сам Накамото, а кто-то из его ранних соратников.

Но дальше — больше. По случайному совпадению или нет, но в тот же день известный австралиец Крейг Райт, представляющийся как Накамото, вдруг написал в своём твиттере страшные слова: «Я же вас, клоунов, предупреждал ещё в прошлом месяце, что сегодня буду сбрасывать свои монеты. Но никто не захотел мне поверить. Ну что же, лохи, держитесь, Сатоши вернулся! Сейчас я выброшу на рынок всё, что у меня осталось. Это законно. Это мои монеты».

Ранее он сообщал, что не может продать такое колоссальное количество монет, а потому будет раздавать их — каждому, кто согласится ретвитить его угрожающие посты, якобы достанется по 0,1 биткоину. Но при условии, что эти средства будут потрачены на приобретение других криптовалют. Похоже, что Райт смертельно разозлился из-за того, что ему отказываются верить, даже смеются над его претензиями на то, что он и есть Накамото. И вот в отместку решил обрушить биткоин, возможно, даже полностью его уничтожить. Другие крупные игроки призвали не верить Райту, утверждая, что это блеф, имеющий целью запугать легковверных и, глядишь, и вправду спровоцировать панические продажи. Трудно, очень трудно представить себе, что Райт и есть Сатоши Накамото. Такая грубая, примитивная лексика, и вообще, мелковато это для гения, для убеждённого идеалиста, криптоанархиста. Пользователь Aleebaba of Bitcoin написал: «Почему Крейг каждый раз позорится, снова и снова... Нам наплевать (я заменил нецензурное выражение — А.О.). И никакой ты не Сатоши».

Но авторы других постов отвечают на это: да не обращайтесь на него внимания, это он так развлекается. Нашлись, правда, и такие, что опубликовали подобострастные посты, буквально расстилаясь перед Райтом, поздравляя его с «триумфом» и называя его «королём» и «Сатоши».

И всё же, когда я, начитавшись ужасов, полез взглянуть на состояние моих биткоиновских активов, то увидел, что кое-кто дрогнул

и курс начал снижаться. Я и сам ощутил что-то вроде зуда: подспудное желание всё продать пока не поздно и закрыть позиции. Райт не Райт, а вдруг паникёры и в самом деле прикончат детище Накамото? А дело шло к полуночи. Утро вечера мудрёнее, думал я. Но, с другой стороны, проснувшись, можно обнаружить, что остался ни с чем. Да и удастся ли заснуть?

Удалось, хотя и не сразу. Утром первым делом полез в свой кошелёк — биткоин снизился, но не критично. Я по-прежнему был в прибыли.

...В итоге я всё же сумел зарегистрироваться на крупнейшей в мире криптобирже Coinbase (с помощью сотрудницы по имени Софи, она, что называется, взяла меня за руку — виртуально разумеется — и научила, как преодолеть все технологические сложности), и в итоге получил возможность покупать и продавать там биткоины.

Что касается сделанных мной ставок на рост биткоина, то они принесли мне в итоге ничтожную, но всё же прибыль. «Коротить» я в любом случае не был готов. Но имейте в виду: комиссионные солидные биржи берут большие, причём если инвестировал небольшую сумму, то они запросто могут «съесть» всю прибыль. Всё это, весь мелкий шрифт надо очень внимательно прочитать и если что-то непонятно, искать опытного советчика, чтобы всё до запятой разъяснил. А то вот ведь я читал, читал, а всё же ошибки совершил, к счастью, мелкие. Но всё равно стоившие мне денег. Например: если выводешь понемногу, минимальными суммами, то комиссионные «кусаются».

В начале лета 2020 года было заметно, что качельное движение цены биткоина приобрело регулярный характер. Она поднималась примерно до 9600–9700 долларов, а затем в течение нескольких дней, а то и часов опускалась до отметки в 9400–9500. (А в отдельные дни падала ещё ниже). Трудно было избавиться от ощущения, что качели эти кто-то умело раскачивает, снимая сливки. Покупаешь за девять с чем-то тысяч и тут же продаёшь с небольшим «наваром». Если масштаб вложений велик, если оперируешь тысячами монет, то и прибыли будут более чем значительны. Но если вы — мелкая рыбёшка, то много не «наварите», а риск, что этот рисунок может в любой момент разрушиться, нанеся вам чувствительные потери, тоже велик. Так ведь и случилось в очередной раз в середине марта. Затем, правда, начался новый период устойчивого роста — в марте 2021-го цена биткоина составила около 60 тысяч долларов за штуку. Но это вовсе не значит, что

отныне и впредь курс крипто будет только и делать что расти. О, нет, вложение в него остаётся делом высокорискованным.

Какой из всего этого вывод? Если нестерпимо хочется приобщиться к крипторынку, то подойдите к этому серьёзно. Надо разработать детальную стратегию-тактику. Решить, во-первых, какую сумму вы готовы будете вложить с тем, чтобы потеря её не означала жизненную катастрофу. Во-вторых, надо точно, заранее, предусмотреть, на какой нижней отметке вы постараетесь выйти из игры, если биткоин будет падать. И на какой верхней вы заберёте свою прибыль, если курс устремится вверх. И дисциплинированно соблюдайте принятые решения, не поддавайтесь эмоциям и хайпу. Будьте верны себе и своим продуманным решениям. Иначе ваша жизнь превратится в азартную игру, в казино. А это, как известно, в подавляющем большинстве случаев кончается плохо — жестокими разочарованиями. А ведь жизнь-то одна, и она коротка...

...Тут наверно пора сказать откровенно: в вашем кошельке будут лежать не сами биткоины, а лишь зашифрованное доказательство вашего права на владение ими. Ну а где же тогда они сами, монеты-то? Хоть на каком-нибудь свете, хоть в каком-нибудь виде они существуют?

Тут я позволю себе немного пофилософствовать, и если у вас для этого слишком практический склад ума, то несколько следующих абзацев лучше пропустить. У меня всегда вызывала сомнения теория французского философа Жана Бодрийяра о симулякрах и симуляции, при том, что я нахожу её без сомнения весьма эффективной и остроумной. Конечно, думал я, мы воспринимаем реальность сквозь призму наших умственных возможностей и обстоятельств, но так уж мы устроены, что ж тут такого? Но куда более точный ответ Бодрийяру дал модный израильский писатель Юваль Ной Харари.

Французский философ утверждал, что главные категории современного общества — лишь симуляция, подмена настоящих вещей и смыслов символами и знаками, моделями, зачастую утратившими всякую связь с реальностью. Как если бы кто-то составил карту страны и потом менял бы произвольно её границы, рисовал бы на ней новые города, дороги, реки, а население верило бы в выдуманную реальность и, исходя из неё, выстраивало свою жизнь. Но Харари предположил, что коллективно принимаемые большими массами людей мифы — есть как раз способ достижения социального прогресса, без которых мы попро-

сту жили бы ещё в пещерах. Примеры таких абстрактных мифов — это и организованные религии, и государства, и межнациональные объединения, такие, как ООН или НАТО. Мифы-то абстрактны, но их влияние на реальное поведение людей колоссально, они определяют и жизнь, и смерть, и трудовую деятельность миллионов, объединяющихся ради общей цели. Неважно, что это абстракция не имеет решающего значения, насколько она связана с кондовой реальностью. Главное, чтобы в эту абстракцию, в этот миф поверили большие человеческие массы. Вера в древнеегипетских богов и божественную сущность фараона построила гигантские, невероятные, величественные пирамиды. Буквальное прочтение христианской веры породило крестовые походы, миф коммунизма создал советскую империю, а абстракция либерализма — кампании за права человека. А сколько гениальных произведений искусства сотворено из коллективных верований и мифов...

«Настоящее отличие между нами и шимпанзе, — пишет Харари, — это мифологический клей, который склеивает друг с другом большое число индивидуумов, семей и групп, этот клей и сделал нас властелинами этого мира».

Впрочем, если термин «мифы» кажется вам несущим отрицательную коннотацию, то можно заменить его другим, сугубо научным: интерсубъективные реальности. Смысл от этого не меняется.

Таким интерсубъективным мифом, симулякром, абстракцией — называйте как угодно — являются, разумеется, и деньги. Харари пишет, что они — «единственная система доверия, созданная человечеством, которая способна проложить мосты через любую культурную пропасть; которая не допускает какой бы то ни было дискриминации, будь то различия в религии, поле, расе, возрасте или сексуальной ориентации. Благодаря деньгам даже люди совсем друг друга не знающие, и друг другу не доверяющие, могут тем не менее эффективно взаимодействовать».

То есть это универсальный клей, соединяющий индивидуумов, страны, народы. Симулякр? Ну пускай симулякр...

Тем более абстрактный характер носят электронные формы денег, и самая что ни на есть абстрактная абстракция, всем симулякром симулякр — это, конечно, криптовалюта. Но при этом не выходящая за пределы всё тех же коллективных мифов, помогающих большим сообществам людей «эффективно взаимодействовать». Тут даже не бумажки никчёмные, а нечто ещё более эфемерное, призрачно-

неуловимое, и мифическое — какие-то слабые токи, видите ли. Но тем не менее это тоже «социальный клей». Почти два миллиона человек со всех краёв земли договорились считать их носителями ценности. Какую цену согласовали — через механизм спроса и предложения в сети — такова она и есть на каждый отдельно взятый момент. Какая доля вам причитается по правилам этого коллектива — с которыми вы, вступая в этот «клуб», согласились — столько вы и получите. Вот этим условным правом на эти невидимые искорки, записанные в линии кода, вы и владеете. Ваши частные секретные ключи дают вам возможность перемещать линии кода из одного адреса в другой — так и осуществляются транзакции в сети Биткоина. Но вы можете его, это право, продать, обменять, частями или целиком на «настоящие деньги» — но только не забудьте, что и те, все эти доллары, евро и йены, тоже по большому счёту эфемерны и абстрактны и играют эту роль лишь потому, что назначены на неё каким-нибудь государством. Разница не так уж велика.

ОБ АВТОРЕ

Андрей Остальский — журналист-международник, востоковед, писатель.

Был корреспондентом в Ливане, Йемене, Ираке. С начала перестройки пришёл в газету «Известия», где в начале 90-х заведовал международным отделом. Был отцом-основателем совместного с британской The Financial Times проекта «Финансовые известия». Работа с британскими партнёрами привела его в Лондон, где в 1994 году он перешёл на Би-би-си. Создал несколько новых программ. В 2000 г. приехал ненадолго в Москву и работал заместителем главного редактора газеты «Ведомости». Вернувшись в Лондон, стал главным редактором Русской службы Би-би-си.

Сейчас он активно сотрудничает с «Радио Свобода».

Перу Остальского принадлежит десяток художественных и публицистических книг. Среди них «Контр-эволюция», «Синдром Л», «Английская тайна», «Жена нелегала», «Краткая история денег», «Нефть: чудовище и сокровище», «Иностранец Её Величества», «Судьба нерезидента»...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

«**ВЫСОКАЯ НОТА**»

М.: «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», 2020

Новый сборник поэзии и прозы Марины Тюриной-Оберландер, лауреата международной премии имени Леонардо, включил в себя стихотворения, рассказы и эссе, написанные автором за последние семь лет. Семь — число священное, число духовного порядка, призывающее подводить определённые итоги. Эта книга выглядит празднично благодаря оригинальным иллюстрациям Константина Фердинанда Вебер-Чубайса. Яркие рисунки перемежают тексты глубоко лирического характера, в результате чего возникает своеобразный цветовой и мировоззренческий «импрессионизм». Цветаста и сама жизнь: рыжее тонет в чёрном. В исполненном трагизма мире и закат не умиротворяет лирическую героиню, но ассоциируется с колюще-режущим предметом. И лишь любовь — вечное примирение дня и ночи — согревает и даёт надежду на завтра:

Закат забрал листву
и в окна
вонзался лезвием ножа
и вслед за тем
бессильно блёкнул
за солнцем преданно спеша
и канул в пропасть преисподней
во тьму задвинувшую ночь
послав любовь тебе сегодня
пространство сияясь превозмочь

Именно — превозмочь! С 2000 года автор живёт в Вашингтоне, и, находясь вне русскоязычной среды, вынуждена преодолевать и время, и расстояние, чтобы достучаться до русского читателя. Влияет ли это обстоятельство на творчество поэта? Разумеется, влияет. И текст, не скованный знаками препинания, и маленькие буквы в началах строк (что снимает значительную часть логических ударений) — всё это делает произведение цельным и немного замедленным, как глубокий вдох и затяжной выдох. От превращения в современный американский верлибр стихотворение удерживает простая, ясная русская рифма, которая выполняет текстообразующую функцию. Цементируя вербально-художественную информацию, именно она даёт нам понять, что перед нами — стихотворение нашей соотечественницы. Да, волею судеб она оказалась за океаном, но родилась — то в Ленинграде! И если созвучие «сегодня — преисподней» не столь распространено в русской поэзии, то «ночь — превозмочь» отдаёт русским романсом, протяжным, страстным, понятным без перевода. Впрочем, если брать верлибр, то написать его — задача не из лёгких, в том числе и формально. Необходимость блюсти единство формы и содержания вынуждает автора всё равно бессознательно стремиться к ритму. Единственное в этой книге свободное стихотворение «Одни сутки» кроме внутренней ритмики скреплено «говорящей» аллитерацией: если вечер, плавный и прекрасный — это «прикосновение/ притяжение/ поцелуй», то день приносит с собой зудящую суету — «завтрак/ заботы/ забвение». Так выглядит жёсткий ритм городской жизни: серьёзным отношениям в нём попросту нет места. Но это плата за жизнь в мегаполисе. Марина Тюрина-Оберландер откровенно препарирует сутки обитателя многоэтажки, и становится грустно от того, как быстро и бесцельно проходит ещё один — неповторимый — день. В свою очередь, когда лирическая героиня сидит на веранде с томом Верлена, рифмованная строка призвана усилить значимость и ценность описываемых событий:

в стакане парное дрожит молоко
и хлеба ломоть под тряпицей
я в юность сбегая
бездумно
легко...
но заново мне не родиться...

Жизненное кредо Марины Тюриной-Оберландер — принятие. Фатализм — не её путь, но и сопротивляться природе бессмысленно. Взяв время к себе в союзники, её героиня стремится к мудрости и гармонии, продолжает радоваться жизни и находить счастье в простых вещах. Поэзия утешает и поддерживает, закаляет и укрепляет, ободряет и направляет человека, решившего жить по закону любви:

и обожжённые в костре
 слова
 во благо и о благе
 угомонятся в декабре
 и выйдут книгой на бумаге

«Высокая нота» — книга о красоте и о любви. Проза — и та лирическая. Лайонел и Камилла в конце концов соединяют судьбы, в энный раз напоминая нам о том, что совершенная радость возможна лишь в любви. И не только между людьми. В этой книге братья меньшие разговаривают с человеком, а уж переезд из Японии в Америку они переживают ничуть не меньше, чем их хозяева. Это показано сжато, но краткость изложения не умаляет драматизма предстоящей разлуки. Вот как прощаются домашние кот и кошка в «Истории кошки Флешки, рассказанной ею самой»: «Ночь перед расставанием мы с Ючи провели в саду, в своей корзинке, которую Сашка услужливо вынес из дома. Понимал, наверное, как нам хотелось напоследок побыть вместе». А как трепетно автор относится к своей великой тётке! Эссе «Свидание с Мариной» приоткрывает нам Цветаеву-художника, к рисункам которой автору посчастливилось прикоснуться. Несколько ученических работ... и какой замечательный вывод завершает эссе, посвящённое этому короткому свиданию: «Но когда я слышу или читаю сентенции типа «этого не могло быть» или «это не стоит внимания, потому что...», мне хочется не то что сказать, но крикнуть в ответ: «а почему?» или «а кто дал вам право отказывать поэту в самой возможности проявить себя в другой ипостаси?»»

Каждый поэт отбирает из различных слоёв языка, из разнообразных языковых средств те, которые ему нужны для воплощения его замысла. Поэтическая речь Марины Тюриной-Оберландер исполнена на высокой ноте.

Ольга Ефимова

О НОВОМ РОМАНЕ АНДРЕЯ ОСТАЛЬСКОГО

Год назад, в номере 2 (14), журнал ВРЕМЕНА опубликовал главы из только что написанного Андреем Остальским романа, в основе сюжета которого — покушение на российского президента. Роман начинается таким пассажем: «О том, что его собираются убить, президент России узнал в четверг, в 20.12 по Гринвичу, во время прощального ужина с британским премьер-министром в лондонском Мэншн-хаус. Перед первым тостом президенту подложили тонкую пачку бумаги — с текстом заранее приготовленного короткого списка... Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил ещё один лист, отличавшийся от других по фактуре и по оттенку белого. На нём бледным шрифтом было набрано: «На Вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие три-четыре недели. Отмените все зарубежные поездки».

Такая вот интригующая завязка политического триллера, с 13-ю действующими лицами (случайно или нет у автора получилась зловещая «чёртова дюжина») — генералами разных спецслужб, женщинами-агентами и даже иммигрантом-осведомителем. С особым вниманием мы следим за двумя персонажами: Антоном Щегловым — начальником Спецотдела Федеральной службы, предупредившим президента о готовящемся покушении, и Игорем Аргуновым — командующим Национальной гвардией, имеющим прямое отношение к гибели президента в авиационной катастрофе. И никак не смущает читателей традиционная наивная уловка: «Эта книга — художественное произведение, все персонажи вымышлены и любое сходство с реально существующими людьми случайно и непреднамеренно». Читатели не дураки, они все понимают...

Уже тогда, год назад, было очевидно — в России роман этот никто не издаст. Причины объяснять излишне. Впрочем, одно известное издательство всё же рискнуло, однако в последний момент его владелец приказал уничтожить набор и прочее, связанное с выходом книги.

Небольшое отступление на ту же тему. В 2013-м в США вышел в свет на русском и на английском мой роман «Террариум». Он о России сегодняшней, названной в тексте Преклонией. По ходу действия главный герой, зашифрованный прозрачной аббревиатурой ВВП (Верховный Властелин Преклонии) погибает в вертолётной аварии. Речь шла о Пу-

тине, потому я и не совался с изданием в Россию. Тем не менее, моя надежда на то, что там роман обязательно прочтут — осуществилась. На то и существует интернет. Прочтут о том, как, мнится автору, страна отреагирует на конец властвования ВВП, — вздохом облегчения. «Вздох этот исторгали не только живые, одушевлённые обитатели огромной страны, но, казалось, почва, вода, воздух, деревья, строения, звери, птицы, рыбы, насекомые, у этого вздоха не было имени, пола, возраста, адреса, он был безымянным, принадлежавшим не кому-то отдельно, а всем вместе, он стелился по земле подобно туману, когда в нём не видать ни зги...»



У меня главный герой гибнет случайно — внезапно испортившаяся сибирская погода, вертолёт попал в снежный заряд и... У Остальского всё серьезнее — и страшнее. Его книга, сошлюсь на отзыв о прочитанном многолетнего сотрудника Русской службы Би-би-си Севы Новгородцева, — «гремучая смесь из аппаратных интриг, изодрённой взаимной слезки, миллионных взяток, страстей и политических игр, в которых ставки — больше чем жизнь. Мастерски нарисованная вереница портретов помогает понять тонкие пружины механизма московской власти...»

В стране объявлено чрезвычайное положение, улицы заполнили росгвардейцы в зловещей чёрной форме, так напоминающей эсэсовскую. Куда идёт страна, потерявшая правителя, поставившего войну во главу угла, в сумеречном сознании грезившего ядерным ударом по заклтому Западу?...

Прошёл год, книга Андрея Остальского вышла из печати. Не в России, а в Украине — благодаря усилиям известного харьковского издательства «Фолио». С чем я от души поздравляю автора. Уверен — роман «Чужой в Кремле» найдёт своего читателя. И в России тоже. На то и существует интернет...

Давид Гай

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – ПАМЯТЬ

ЗАМЕТКИ О СБОРНИКЕ Б. САНДЛЕРА

«ДЕНЬ ПАМЯТИ В ГОРОДКЕ «АМНЕЗИЯ»

(ПЕРЕВОД С ИДИША, ИЗДАТЕЛЬСТВО YIDDISH BRANZHE, НЬЮ ЙОРК, 2020)

Сборник рассказов Бориса Сандлера «День памяти в городке Амнезия» наконец-то пришёл к русскоязычному читателю. С отдельными его рассказами читатели уже знакомы, и всё же сборник — это поистине целый мир знакомых и незнакомых сюжетов, мыслей и характеров. Безусловно, своеобразие стиля Б. Сандлера отчётливее проявляется в оригинале, написанном на идише, но и в переводе ощущается этот лёгкий переход от добродушной насмешки к едкой сатире и гротеску, столь характерный для еврейской литературной традиции.

Художественная концепция памяти в сборнике в значительной степени опирается на идею «коллективной» еврейской памяти. Существует некая «общая» еврейская память, к которой душа приобщается до рождения, но после рождения — она утрачивает эту связь. Остановимся прежде всего на рассказе, давшем название всему сборнику.

Действие происходит в городке Амнезия. Жители его живут только памятью и заботами сегодняшнего дня. Хотя жизнь их вполне комфортна, они не помнят своего прошлого и не стремятся заглянуть в будущее. В городке существует праздник — День Памяти, когда можно посетить особый центр — «Мельницу памяти», где каждому помогают оживить его воспоминания. Лишённый памяти человек не способен узнать собственную жену, отличить друга от врага. Гротеск сюжета очевиден. Но за иронией в рассказе скрывается важная мысль: память бывает горька, воспоминания порой «изводят сердце», и в своих собственных воспоминаниях человек тоже не всегда может разобраться. Памяти нужна опора. Нужны какие-то общие ориентиры. И весь сборник рассказов — это такая копилка для «общей памяти», потому что чтение — это переосмысление своего личного опыта с некоторой дистанции — «писатель лишь напоминает читателю о вещах, о которых тот забыл или хотел бы не вспоминать».

Как уже отмечалось, идея «общей памяти» характерна для еврейской литературы. Автор подчёркивает причастность к литературной

традиции, когда в первом же рассказе напоминает о легенде из романа Ицика Мангера «Книга рая». Рассказ «Вокруг носа» начинается с предания о том, что при рождении младенец получает щелчок по носу и забывает о том райском саде, где обитала его душа до рождения. Обратим внимание на важный эпизод предания: ещё до рождения душа приобщается к Торе, то есть главному источнику общей еврейской памяти. И потому душа изначально наделена представлениями о добре и зле.

Главный герой рассказа — маленький мальчик, ещё не совсем забывший о пребывании в раю. Он часто во сне видит горы крылышек, которые при рождении люди теряют и вновь обретают после смерти. Не случайно и маму его зовут Генэндл, в переводе — райский сад. Этот мальчик воспринимает весь окружающий мир сквозь призму райских сновидений.

Где-то рядом с человеком существует и ад. Если ложбинка под носом напоминает об утраченном рае, то сам нос — посредник между «чёртом и нутром человека». Понятия «ада» и «рая» в рассказе нарочито снижены и лишены сакральности, что соответствует юмористической тональности. Но и в дальнейших рассказах образы «ада» и «рая» повторяются, приобретая культурно-историческое и этическое значение. Эти символы — своеобразный контрапункт, представляющие два полюса — добра и зла.

Противопоставление «ада» и «рая» создаёт художественное поле высокого напряжения. При сближении этих полюсов происходит как бы шоковый разряд, который разбивает защиту сознания от нравственной боли. Такой литературный контрапункт, безусловно, способствует более глубокому воздействию художественного текста на читателя. И этот же композиционный принцип положен к основе всего сборника.

Тема близкого соседства рая и ада настойчиво повторяется и в рассказах, посвящённых детским воспоминаниям. При этом часто из одного сюжета в другой переходит знакомый нам по первому рассказу герой, который в поисках утешения всегда зарывается в бабушкин фартук.

Похожий персонаж предстаёт перед читателем в рассказе «Фалик сизарь или история моей голубятни». Это один из самых лиричных и пронзительных рассказов, потому что герою придётся пережить

предательство самого близкого человека — бабушки. Мальчик мечтает о своей голубятне, но любящие родители не разрешают ему завести голубей. Даже бабушка, готовая от всех невзгод прикрыть внука своим фартуком, — даже она его не поддерживает. Именно она и причинит ему самую страшную боль, убив хромого голубя и сварив из него бульон. Потрясение мальчика тем страшнее, что голубь для него — посланец из космоса, возможно — от самого Б-га, пришелец из рая.

Неизвестно, к чему бы привела ребёнка душевная травма, смог ли бы он вообще вернуться домой, понять и простить эту жестокость родного человека, если бы не встреча с Фаликом. Именно Фалик Сизарь — далеко не самый положительный персонаж этой драмы — своим рассказом о голоде в гетто помогает ребёнку понять и простить взрослых. Не случайно самое яркое представление об ужасах Холокоста появляется у героя, когда он, слушая рассказ Фалика, мысленно видит горстку окровавленных перьев. Только пережив свою маленькую трагедию, герой понимает, какие страшные травмы вынесло старшее поколение из трагедии Холокоста. И символичен финал рассказа, где звучит тема возвращения голубя в рай: «Встав на ноги, я изо всех сил подбросил белую голубку в воздух. Несколько раз перевернувшись и хлопнув крыльями, она рванулась в небо, унося мою боль и разочарование высоко-высоко в космос, может быть, к самому Богу».

...В еврейской памяти живёт и образ весёлого карнавала. Сам еврейский юмор основан на главной карнавальная традиции — преодолении страха смерти. Карнавал — это всегда утверждение, что смертен отдельный человек, а народ — бессмертен.

Таков юмор рассказа «Вокруг носа», который уже упоминался в начале. Автор вводит читателя в атмосферу весёлого карнавала: мезузы в домах похожи на носы, носы, в свою очередь, не просто похожи на своих владельцев, но могут даже заменять важнейшие мужские достоинства. В соответствии с народными представлениями «нос — посредник между чёртом и нутром человека». Носы словно оживают, они как бы обладают своим «лицом» и даже умеют разговаривать. Ну как тут не вспомнить гоголевский рассказ «Нос», в котором так полно выражен ужас Гоголя перед тем, что нос может вытеснить из жизни своего хозяина. Подобный страх неведом еврейскому народному сознанию. Если у Песи-сиротки умер муж, то никого не пугает тот факт, что именно мужнин нос и заменяет Песе мужа по ночам... Именно так и торжествует жизнь над смертью. Еврейское сознание, в отличие

от христианского, одобряет телесную близость во всех её проявлениях, особенно — во имя продолжение жизни.

Без веры в бессмертие еврейского народа было бы невозможно заглянуть в ту бездну еврейской трагедии, которую пытается осмыслить Б. Сандлер в своём творчестве.

Композиционный центр всего сборника — рассказ «Призрак села Пятранешты». По существу, это не рассказ, а исторический эпос, потому что в центре повествования — не судьба отдельной личности, а целого народа, исчезнувшего в пожаре Холокоста.

Пятранешты — одно из многочисленных местечек в Бессарабии, которые пережили неоднократно и погромы, и пожары. Жители также многократно видели смену власти, но жизнь евреев от этого не становилась счастливее. С приходом фашизма евреи исчезают почти полностью. Их «исход в пещеру» — по существу символ тысячелетних еврейских скитаний. Страшный призрак, который после войны пугает жителей села, — то ли тень Реба Ирмэ, погибшего в последнем пожаре, то ли страшное напоминание о преступлениях тех, кто так или иначе наживался на страданиях евреев. Не совесть, а страх заставляет жителей села выкинуть из своих стен камни, украденные с еврейских могил. И потому тень Реба Ирмэ — напоминание о неизбежности Высшего суда.

Исход — вечная тема еврейской памяти. Неслучайно в рассказе «Под звуки джаза» память ассоциируется с бесконечным движением каравана по пескам. Особенно характерно, что сновидения о прошлом сопровождаются протяжной мелодией Дюка Эллингтона «Караван». Это словно напоминание о сорокалетнем блужданиях по пустыне. Тема эмиграции из Советского Союза предстаёт как бы частью этого бесконечного исхода.

Из отдельных рассказов, как из фрагментов мозаики, складывается большое историческое полотно — послевоенное пространство Советского Союза эпохи застоя и распада. И символом всей этой системы, обречённой на разрушение, является городок в рассказе «Катафалк». По масштабу сатирического обобщения рассказ сопоставим с сатирой М. Е. Салтыкова-Щедрина, потому что городок с говорящим названием Холуевка-Холоймевка откровенно напоминает город Глухов.

Хрущёвские времена, идёт окончательное наступление на религиозные пережитки. Запрещены похороны по религиозным обрядам —

и еврейские, и христианские. Главный городской изобретатель Захар Приблуда соорудил катафалк, похожий на «чёрную зверюгу». Теперь похороны проходили по новому торжественному обряду — под девизом: «Коммунизм — наша конечная цель». После арабо-израильского конфликта, когда развернулась антиизраильская пропаганда, Захар Приблуда ещё успел скрестить антенну с веником, чтобы вырваться из сетей советских глушителей вражеских радиоволн. Но и этой победы ему показалось мало, переоборудовав свой катафалк в вездеход, он сбегает на нём в направлении румынской границы...

Мудрость, основанная на памяти, помогает героям ориентироваться и в новых обстоятельствах, на новой родине — в Америке.

В рассказе «Диковинки из саквояжа» герой, приехав в Нью-Йорк, сначала поселился в Боро-Парке. Перед ним как бы оживают картины и персонажи из книг Шолом-Алейхема. Многие посетители книжного магазина, в котором герой подрабатывает, напоминают ему смешных фантазёров и неудачливых предпринимателей из Касриловки. Реб Симха, бедный и непутёвый торговец, носит потёртый саквояж, в котором хранит коробочки, бутылочки, камушки — вроде бы обладающие чудесными свойствами. По слухам, у него богатый брат, владеющий бриллиантовым магазином в Матхэттене. Симха рекламирует сомнительные капли любовного приворота — рассказы его так же фантастичны, как и деловые контакты с богатым братом. Трагический финал напоминает печальное наблюдение Шолом-Алейхема о глубоком расслоении американского еврейства.

Печальная история Реба Симхи ещё одно предупреждение тем, кто рассчитывает сразу обрести райскую идиллию на новой родине. В Америке тоже существует антисемитизм, есть богатые и бедные, есть неудачники.

Иммигранту трудно сразу осознать глубину и опасность тех трещин и разломов, которые скрываются за нарядными фасадами американских городов. В один из таких разломов автор предлагает заглянуть читателю в рассказе «Морлебмен».

В нём показана та стена враждебности, которая отделяет еврейскую общину от окружающего мира. Герой — чернокожий мальчик Пит. Он, как и многие другие чернокожие обитатели бруклинского квартала Краун Хайтс, враждовал с еврейскими мальчишками и дразнил их прозвищем «кайк» — жид. Случайно он знакомится с мальчиком из хасид-

ских евреев. «Морлебмен» — сокращённое имя нового друга — Мордхе-Лейб-Залмен. Детская дружба постепенно крепнет и проходит через серьёзные испытания. Героям удаётся помириться после серьёзной ссоры, но прежде Питу придётся осознать нравственную ущербность своей родной семьи и всей социальной среды. В финале чернокожие обитатели Краун Хайтс с глубоким сочувствием переживают трагическую гибель хасидской семьи в Израиле.

«Американская» тема, как это часто можно наблюдать в творчестве Б. Сандлера, раскрывается как с трагической, так и с комической стороны. И этой многоплановостью обусловлено жанровое разнообразие рассказов, вошедших в сборник. Реалистические повествования как бы дополняются сатирой. Блестящим образцом такой сатиры является рассказ «Шлимазл и красный кадиллак». Он особенно интересен тем, что ирония в нём направлена одновременно и на персонажей, и на социальные отношения, но главное — на идею. Сложной иронии соответствует и многозначный образ-символ — «красный кадиллак». Это и символ американской мечты, и символ глупо и бессмысленно растраченной жизни. Харитон сотрудничает с нечистоплотным политиком Нудельмэном, несмотря на то, что тот когда-то стал причиной его неприятностей в институте. Но «шлимазл» не учится на своих ошибках. Забыв старые обиды, он снова идёт в услужение к бывшему приятелю — Сёмке-жиртресту в Америке. Только в самом конце решает он порвать с Нудельмэном. Но красный кадиллак, который стоит теперь только 1 доллар, пригодится герою лишь для последнего маршрута. Так весёлая сатира приводит к мысли о том, что в жизни непременно наступает момент, когда нужно делать выбор между подлинными ценностями и мнимыми.

Философские размышления — неотъемлемая часть большинства произведений Б. Сандлера. Важная для писателя тема — соотношение реальности и художественного вымысла. В рассказе «Эхо запоздалое» герой изучает сложные переплетения событий реальной жизни и вымысла в романе Мойше Альтмана «Медреш-Пинхес». Сюжет романа был вдохновлён историей, «похожей на сказку. И всё же именно жизнь дописывает финал истории, уже после создания литературного произведения. Автор приходит к заключению, что жизнь «намного трагичнее и глубже», чем литературный вымысел. Но, может быть, провидческий дар Мойше Альтмана заключался именно в том, что он изначально в реальных событиях увидел ту красоту и глубину чувств,

которая в дальнейшем способствовала как бы саморазвитию сюжета. И потому сама жизнь дополнила литературный вымысел.

В рассказе «В погоне за бабочкой» — наоборот — литература играет более важную роль. Героиня сознательно обращается к роману еврейской писательницы Блюмы Лемпэл в поисках выхода из тяжёлой депрессии. В рассказе психологический анализ усложняется: прослеживается диссонанс между сознанием и подсознанием героини. Она преодолевает этот диссонанс, сопереживая вымышленным персонажам и как бы заново переживая свою потерю. Героиня именно в книге ищет и находит точку опоры для преодоления своей болезни и сомнений. Таким образом художественный вымысел оказывает непосредственное влияние на жизнь.

Нужно отметить замечательную работу переводчиков. (Ю. Рец, М. Хазин, Е. Сарашевская). Им удалось сохранить и передать не только точный смысл оригинала, но и особый аромат еврейской речи — неповторимый стиль как самого автора, так и его героев.

Художественное оформление сборника великолепно. Работа художника Михаила Глейзера отличается безупречным вкусом. Иллюстрации как бы подёрнуты патиной времени и потому словно размыты. В них надо взглядеться, напрячь память и — вспомнить!

Людмила Гозун

НОВИНКИ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

БОРИС ПАСТЕРНАК, ГЕНДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВРЕМЯ»:

Начну, как обычно, с того, что мы готовим к выходу в свет очередной том Собрания сочинений Александра Солженицына. Из 30 запланированных изданы уже 22 тома. Наталия Дмитриевна Солженицына с помощниками завершила работу над второй книгой мемуарной прозы — «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Книга уже вышла в свет.

Сдали новые романы наши постоянные авторы: Елена Катишенок («Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лахшиной»), Андрей Дмитриев («Тот берег»), Борис Минаев («Площадь борьбы»), Елена Минкина-Тайчер («Время обнимать»).

Будут и новые имена (хотя и знакомые издательскому миру). Светлана Лаврова, врач-нейрофизиолог, погрузила нас в повседневную жизнь нейрохирургического отделения онкоцентра. Получилась увлекательная и на редкость жизнеутверждающая книга «Смерть приходит с помидором». Алла Лескова, известная многим как блогер, собрала свои тонкие, мудрые и острые миниатюры в книгу «Что-нибудь такое».

И о «многофигурном» проекте. Выходит третья книга в серии, которую мы называем «коллективной памятью» — «Дочки-матери, или во что играют большие девочки». Двадцать один автор, удивительные исповеди и берущие за душу истории. Из аннотации: «Почему часто их взаимная любовь бывает так похожа на военные действия? Почему к безусловной дочерней любви часто примешивается отчётливое раздражение? Почему материнская любовь воистину способна на подвиги и самопожертвования в форс-мажорных обстоятельствах и порой бывает невыносима в обычной жизни?»

«ЭШЕЛОН НА САМАРКАНД». АВТОР: ГУЗЕЛЬ ЯХИНА

Изд. АСТ «Редакция Елены Шубиной»

Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина снова возвращается в советскую эпоху. Действие происходит в 1923 году, пять сотен беспризорных детей эвакуируют из Казани в Самарканд на одном из «поездов Дзержинского». Роман-путешествие длится шесть недель и четыре тысячи вёрст. Дорога опасна, случиться может всё что угодно. На кону — жизни детей.

«СМЕРТИ.NET». АВТОР: ТАТЬЯНА ЗАМИРОВСКАЯ

Изд. АСТ

Татьяна Замировская родом из Белоруссии, с 1997 года занималась музыкальной журналистикой в Минске и писала необычные и странно чарующие рассказы. А сейчас живёт и работает в Нью-Йорке, где окончила писательские курсы и довела умение сочинять завораживающе тексты до совершенства. Её сборник рассказов «Земля случайных чисел» вошёл в 2020 году в лонг-лист премий «НОС» и «Национальный бестселлер», а в 2021 выходит её первый роман «Смерти.net» о цифровом воскресении и интернете для мёртвых. Впрочем, рассказы Татьяны Замировской, в конечном счёте, тоже об этом — о тонкой грани между миром мёртвых и миром живых.

«КЛАРА И СОЛНЦЕ». АВТОР: КАДЗУО ИСИГУРО

Изд. «ЭКСМО», INSPIRA

Свежий роман нобелевского лауреата вышел в марте 2021 года на английском, но русский перевод тоже не заставит себя ждать. Уже известно, что главная героиня, Клара – робот, точнее, искусственная подруга, с выдающимися наблюдательными способностями. Она следит за покупателями, которые каждый день заходят в магазин, и надеется, что и её однажды выберут, но служба робота, очевидно, будет мало похожа на мечты. Исигуро умело рассказывает истории любви тех, кто давно превратился в функцию и кому чувства не положены, будь это вышколенный дворецкий, как в «Остаток дня», или предназначенные на заклятие клоны, как в «Не отпускай меня». Можно ожидать, что и новая его книга будет про открытие любви и связанные с ней страдания, теперь уже в электронном сердце.

«SEX AND VANITY». АВТОР: КЕВИН КВАН

Изд. «АЗБУКА-АТТИКУС», перевод с английского — Наталья Власова

Кевин Кван, автор культовой трилогии «Безумно богатые азиаты», возвращается с новой историей. Комедия «Sex and Vanity» — современная романтическая история, действие которой происходит на шикарном острове Капри и в гламурном Нью-Йорке. В центре сюжета молодая женщина, которая разрывается между двумя претендентами на её сердце.

«ПЕРЕПИСКА, 1926–1969». АВТОРЫ: ХАННА АРЕНДТ И КАРЛ ЯСПЕРС
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА»

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО — ИРИНА ИВАКИНА

Переписка между Ханной Арендт и Карлом Ясперсом началась в 1926 году, когда двадцатилетняя Арендт училась философии у Ясперса в Гейдельберге. Она прервалась с эмиграцией Арендт и «внутренней эмиграцией» Ясперса и возобновилась сразу же после окончания Второй мировой войны. Отношения учителя–ученицы со временем развились в тесную дружбу, к которой вскоре подключились жена Ясперса Гертруда и муж Арендт Хайнрих Блюхер.

Авторы не предполагали, что письма будут опубликованы. Получился очень откровенный разговор обо всём на свете: об Америке и Германии, о политике и антисемитизме, о коррумпированной журналистике и самоубийствах, о философии и наследии прошлого.

«ИЗБРАННЫЙ». АВТОР: БЕРНИС РУБЕНС

Изд. «Книжники», перевод — Юлия Полещук

В 1970 году уэльская писательница и сценаристка Бернис Рубенс получила Букеровскую премию за книгу *The Elected Member* и стала первой женщиной, удостоившейся этой награды.

«Избранный» — саркастичная семейная сага о наркомане среднего возраста, его отце-раввине и сестре, вышедшей замуж за гою.

«КОКА». АВТОР: МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ

Изд. АСТ «Редакция Елены Шубиной»

Это — психоделическая эпопея. Главный герой нового романа Михаила Гиголашвили — молодой грузинский наркоман Кока, знакомый читателю по «Чёртову колесу». Амстердам, Париж, Россия и, конечно же, Тбилиси — Кока легко перемещается по миру как наяву, так и в сновидениях.

Социальное и криминальное дно, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и глубокие евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы, а язык потрясает своим невозможным многообразием — всё это вы увидите в новом романе Гиголашвили.

«У МЕНЯ К НЕМУ БЫЛ НЬЮ-ЙОРК». Автор: Ася Долина

Изд. АСТ «Редакция Елены Шубиной»

Ася Долина — журналистка, прозаик, активный блогер — переехала в Нью-Йорк из Москвы почти пять лет назад, в 32 года. Её книга «У меня к нему был Нью-Йорк» дала старт новой серии «Русский иностранец», в которой современные мировые столицы (и не только) показаны глазами молодых русских, сохраняющих свою национальную идентичность в иных декорациях. Книга Аси Долиной — из текстов о любви и нелюбви, о насилии, о психологии, материнстве, феминизме, детстве, перемежающихся нежными и точными зарисовками будней Большого яблока.

«СОРОК ОДНА ХЛОПУШКА». Автор: Мо Янь

Изд. «ЭКСМО», INSPIRIA, перевод с китайского — Игорь Егоров

Один из самых популярных современных китайских писателей Мо Янь в 2012 году был награждён Нобелевской премией по литературе за «галлюцинаторный реализм, объединяющий народные сказки с историей и современностью».

Его новый роман «Сорок одна хлопوشка» — это история, полная метафор и тайн. Девятнадцатилетний Ло Сяотун решает стать монахом в храме неподалёку от его родного городка, где все жители без ума от мяса. Но прежде он хочет рассказать о своей жизни старому мудрому монаху. Причём здесь мясо? Узнаете.

«СНЫ ДЕРЕВНИ ДИНЧЖУАН». Автор: Янь Лянькэ

Изд. «Синдбад», перевод с китайского — Алина Перлова

«Сны деревни Динчжуан» — запрещённый в КНР роман знаменитого писателя. Это история о масштабной эпидемии ВИЧ, разразившейся в Китае в 1990-х годах, когда множество крестьян стали массово сдавать кровь, чтобы заработать деньги.

...Я совсем перестал писать о мужчинах. Я перестал их понимать и чувствовать. Я уже не знаю, чем они отличаются. Чем оппозиционер отличается от педофила, а православный радикал — от гомосексуалиста. Они все для меня на одно лицо. У всех одно и то же содержание — немного Путина, немного русской литературы, немного вечного русского самоуничтожения и много тяжелой мужской спермы, которой нет выхода наружу...

Игорь Яркевич

...Мне рассказывали, что, когда начался штурм, Фанни Давыдовна добровольно осталась прикрывать отход защитников Белого дома. Я более чем уверен, что никто ей этой миссии не поручал. Когда загрохотала стрельба и в холл хлынули спецназовцы, Фанни Давыдовна дико закричала что-то невразумительное — на русском, английском или идиш, ковыляя на клюке, кинулась наперерез, подняла свой зонтик и ударила им одного из солдат... Он застрелил её...

Михаил Гончарок

*Может быть, это конец времён. Но если в свечах,
и в шелках, и в золоте
может ещё отразиться мир совершенно другой,
грязный, опасный, нищий —
чёрт побери, делайте что-то, бейте в колокола,
организовывайте,
ибо лодка одна, и если она окажется
кверху дном...*

Виталий Мамай

...В 11 штатах Конфедерации было от 20 до 25 тысяч евреев. Когда Южная Каролина и вслед за ней другие южные штаты объявили о выходе из состава Союза, еврейюжане остались верными гражданами своей земли. Евреи служили в пехоте, кавалерии, артиллерии, в военно-морском флоте. Те, кто не был военным — большинство — вступали в армию добровольно, не дожидаясь призыва...

Алексей Орлов

...Куда девалось знаменитое американское свободолюбие? И как его можно возродить? Кто сдует пену, кто соскребёт ядовитую накипь демагогии, лицемерия, интеллектуального убожества, нетерпимости и ненависти? Накипь, которая, подобно ржавчине, всё глубже просачивается в общественный организм? Власти это не под силу, будь она даже семи пядей во лбу...

Владимир Фрумкин

...О том, что его собираются убить, президент России узнал во время прощального ужина с британским премьер-министром в лондонском Мэншн-хаус. Перед первым тостом президенту подложили тонкую пачку бумаги с текстом заранее приготовленного короткого спича... Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил ещё один лист... На нём бледным шрифтом было набрано: «На Вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие три-четыре недели. Отмените все зарубежные поездки»...

Андрей Остальский